РАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6

ИЮНЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

★
ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГРАФИИ ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Валовая улица, 28.
Главлит А-39045. П. 13. Гиз 32335.
Заказ № 1519. * Тираж 13500 экз.

Дом Черновых.

(Отрывки из романа.)

Скиталец.

Валерьян поехал в Вилла-Франку не к началу эмигрантского вечера, а гораздо позднее.

Подойдя к воротам угрюмого здания, он был приятно удивлен: небольшой садик бывшей тюрьмы, — а теперь русской зоологической лаборатории, — освещался разноцветными бумажными фонарями, во всех окнах горели огни, и слышен был гул многолюдного собрания.

В дверях его уже поджидал Евсей в своем неизменном сером костюме и с махровым цветком распорядителя в петлице. Вид у него был трогательно самодовольный.

— Каково? — спросил он, подхватывая художника под руку. — Иллюминацию видел? Это я изобрел! Сам со студентами фонари клеил и сам развешивал в саду! Все моих рук дело! А стены! Посмотри на стены!

Стены аквариума убраны были гирляндами морских водорослей. Необычайно длинный, как манеж, каменный сарай с черным сводчатым потолком и истертым каменным полом, переполненный публикой, освещался большими стенными лампами. Толпа почти вплотную наполняла сарай. Кроме приехавших из России для занятий в лаборатории студентов и студенток, главную массу составляли политические эмигранты — беглецы из России и Сибири, деятели первой революции, претерпевшие ссылку, тайгу, русские тюрьмы, сибирскую каторгу. Странным казалось, что вечер бывших обитателей тюрьмы происходил тоже в бывшей тюрьме.

С подмосток, размахивая руками, что-то выкрикивал какой-то человек. Стоявшие близко к нему отвечали иногда густым гулом одобрения, но задние, которым плохо было слышно, шумели, двигались, разговаривали, входя в смежные комнаты и возвращаясь оттуда.

— А что, Владимир будет сегодня? — спросил Евсея кто-то из проходивших в толпе.

— Обязательно!.. Специально приехал с вечерним поездом!

— Хорошо! Послушаем!

— Вот это — оратор! — обернулся к Валерьяну зоолог. — Слышал я его еще в пятом году в Петербурге, в Харькове и в Крыму. Везде

фурор производил. Только выйдет, поднимет руку, скажет: «Граждане!» — и готово дело. И ведь странность какая: ничего и нового-то как будто не говорит, то же самое скажет, что и все партийцы говорят, а совсем другой коленкор выходит!

— Голос у него такой! — заметил человек, стоявший рядом.

— Не голос, а сила в нем особая! — возразил другой.

— Говорил он раз в Ялте, на митинге в парке, — продолжал Евсей.— Внизу, под горой, почти за полверсты, мы стояли на крыше и слушали: слышно было каждое слово, а ведь и голос-то у него только во время речи является! Так — на улице его, бывало, встретишь, — маленький, худенький, плечи подняты, руки в карманах, а выйдет говорить — высокий сделается, голос гремит!

— Было тогда у нас в Харькове шествие по улице с флагами. И мы несли его впереди, на стуле, надо всей толпой. А он, миляга, без шапки, в блузе, распоясанный, сидит и высоко держит наше знамя! А народ поет! Так веришь — если бы он тогда сказал: «Идите и умирайте!» — пошли бы и умерли! Вот какая душа в человеке!

— Не в душе дело! Волевой человек!

— Неистовый!

— Его не собьешь: твердокаменный!

На эстраде показалась новая фигура, одним своим появлением вызвавшая добродушные улыбки.

— Это кузнец Федор! — заговорили в толпе. — Федора выпустили!

Федор был неуклюж, коренаст, в рабочей блузе, загорелый, с длинными, свешенными вниз хохлацкими усами.

— Да здравствует революция! — сказал он густо, но спокойно, как привычную поговорку.

— Не ждите, братцы, — начал он с южнорусским акцентом, сильным и резким басом, — не ждите, чтобы я сказал вам что-нибудь красноречиво, как предыдущий оратор! Нет, я — рабочий, кузнец, и красно балакать не умею! Только скажу: я из тех сознательных рабочих, которых в России начальство нагайками да пулями угощает. Мы — сознательные, а нас, сознательных, девятого января у царского дворца картечью встречали... Мы — сознательные, а нас на Ленских приисках...

— Остроумный кузнец! — улыбаясь, сказал Евсею художник. — У него бессознательный юмор!..

— Вот и говорю, братцы: не только у нас, на родине, а даже и здешние европейские люди, будто никак нельзя без того, чтобы нас не давить, потому — так уж на свете все зроблено, як лестница, або пирамида: наверху — министры, буржуи, дворяне и всякое начальство, а в самом-то низу, значит, — мы! Оттого нас все и давют! Нам, рабочим, одно только остается: колы у нас на плечах та бисова пирамида, то мы — визьмемо да из-под низу-то зараз посунемся, — воны уси и посыплятся!

Толпа густо засмеялась. Раздались аплодисменты и крики «б-раво!»

Когда все утихло, кузнец с прежней серьезностью, расставив ноги циркулем, сказал:

— Усе!

И, пожелав доброго здоровья революции, стал спускаться с подмостков.

Толпа затихла. Тщедушная, маленькая фигура человека в поношенном костюме появилась на эстраде. Лица у всех сияли. По сараю прошел густой, сдержанный гул.

— Вот он! вот! Вышел! Владимир!

Владимир был еще сравнительно молод, но очень худ и бледен. Коротко остриженные каштановые волосы торчали вихрами на круглой голове с большим, выпуклым лбом и голубоватыми глазами, смотревшими пронзительно.

С легким полупоклоном он протянул вперед дрожащую, бледную руку, потом сразу поднял ее и выпрямился так, что, казалось, сделался выше.

В зале наступила тишина.

— Товарищи! — раскатился вдруг гремучий, страстный голос, отчетливо прозвучавший по всему громадному зданию.

Толпа сразу замерла и так затихла, что Валерьяну стало слышно глубокое, хрипящее дыхание чахоточного Евсея, стоявшего рядом и не спускавшего глаз с выпрямившейся фигуры Владимира. В привычном, коротком слове все вдруг почувствовали необыкновенную властность, убежденность, стремительную напряженность всех душевных сил этого невзрачного человека: казалось, что он произносит страстную клятву.

— Товарищи! — повторил он в новом тоне, тише, но глубже, с непередаваемой выразительностью и жаром. — Близко время великой русской революции, за которой последует потрясение всего мира! Я не буду говорить о признаках ее близости: признаки эти вы скоро почувствуете сами. Я буду говорить о том, что предстоит нам делать, когда начнется революция. Она не должна застать нас неготовыми. У нас должны быть твердые, ясные тезисы, и они уже есть в нашей программе...

Он снова поднял руку и, как будто все еще вырастая на глазах у всех, обводя толпу горящим взглядом, стал бросать ей отрывистые, повелительные слова:

— Вот наши тезисы!.. Захват власти пролетариатом!.. Захват фабрик и заводов!.. Захват банков!.. Арест капиталистов!.. Террор!..

Каждое из этих слов, взлетая в воздух, разряжалось, словно обжигая всех.

— Диктатура пролетариата!.. — гремел жгучий, клокотавший голос. — Уничтожение частной собственности!.. Социальная революция!..

Эти слова казались раскаленно-взрывчатыми: они жгли, ослепляли, оглушали толпу, казались громовыми.

— Вот тезисы!

Рыжевато-каштановая голова с широким, выпуклым лбом как бы горела, полная кипящих, взрывчатых мыслей. Взрывами разряжался голос. Стальные, синие глаза то загорались, то гасли. Валерьян видел, как огнем жгучих слов накалялась и заряжалась толпа, жаждавшая верить в осуществление тезисов... Она сама тянулась навстречу очарованию.

Перечислив тезисы, оратор вернулся к началу и заговорил о каждом из них отдельно. И опять взрывами взлетали отрывочные, волнующие, ошеломляющие слова.

— Капиталистический строй ненавистен всему миру, всем, кроме самих капиталистов!.. Он не может существовать вечно!.. Он должен погибнуть: в прошлом человечества много раз погибал устарелый строй... заменялся новым!.. Погибнет и отживающее, дряхлеющее царство капитала!.. Его заменит социализм! К этому идет история, и нет тех сил, которые могли бы остановить ее! История — за нас!

Валерьян слушал и смотрел на оратора с тревогой и изумлением. Это был пафос пророка или — кто знает? — быть может, гения, который уже и теперь покоряет и зажигает толпу.

До сих пор он думал, что русские революционеры хотят одни — только конституции, другие — республики, но теперь впервые услышал страстную, вдохновенную речь о социальной мировой революции. Тщедушный человек покоряющим голосом, полным несокрушимого убеждения и пламенной веры, рисовал отрывочными, тяжелыми словами, — как бы в трансе или вдохновенном наитии, — громадную, невероятную картину, притягательную, как бездна.

Валерьян видел, как стоявший рядом с ним Евсей как бы глотал на-лету слова Владимира, как вся толпа была загипнотизирована пронзительными, горящими глазами оратора, его отрывистым, не допускающим сомнения голосом, бросавшим мысли, как камни. Когда он кончил, зал долго грохотал аплодисментами, стонал от криков. Протестовала и негодовала лишь незначительная часть публики, некоторые пожимали плечами, язвительно улыбались.

На смену ему вышел пожилой человек, по-европейски элегантно одетый, с лысеющим лбом и сильной проседью в подстриженной, острой бородке. Жидкие аплодисменты встретили его. Зал еще не успокоился под впечатлением только что слышанного. Когда шум затих, новый оратор начал говорить, но его плохо слушали. Говорил спокойно, уверенно, с видом опытного бойца.

— Ну, опять начнет разбирать по косточкам! — рычали в задних рядах. — Живого места не оставит!

— Что же!.. Известно, победить его невозможно! Вооружен всегда, как чорт!..

— Конечно, эрудиция, но нам дорого наше настроение! Лучше бы сегодня не выходить ему!..

— Я утверждаю, — доносились сквозь гул собрания отдельные фразы оратора, — я убежден, как социалист и марксист, что перестроить

общество на социальной основе можно, но увы, не во всякое данное время! Социалистический строй предполагает два непременных условия: первое — высокую степень развития техники, и второе — весьма высокий уровень сознательности в трудящемся населении страны! Там, где отсутствуют эти два необходимых условия, не может быть и речи об организации социалистического способа производства!

— Слышали! Старо! Довольно! — волновались слушатели.

— Наши разногласия — во взглядах на ближайшие судьбы капитализма!.. Вредно обманываться упованием на его дряхлость: европейский капитал еще достаточно силен, и до известного момента русская революция вынуждена будет итти с ним в контакте!.. Мировая буржуазия...

— Долой буржуазию! — взревела толпа. Самое это слово вдруг обожгло ее, как раскаленным железом. — Да здравствует революция!

— Товарищи! — напрягая тонкий голос, взывал к толпе старый оратор. — Вы можете меня не слушать, но не можете заставить мыслить иначе! Во имя революции, которая мне так же дорога, как и вам, заклинаю вас: бойтесь преждевременной социальной революции! Несвоевременно захватив власть, рабочий класс не совершит социальной революции!

— Совершит! а-а! а-а! о-о!

Невообразимый гам заглушил его голос.

— Эти тезисы — теоретическая отвлеченность!.. Бред!.. Безумие!..

Казалось, что будет рукопашная свалка.

— Ну, началось! — сказал Евсей, беря художника под руки. — Больше слушать нечего! Пойдем в буфет!

— Я лучше в сад пойду! — возразил Валерьян.

— Только не удери совсем! Скандал сейчас кончится безо всяких результатов!..

— Всегда у вас так бывает?

— Всегда!.. Дело привычное!.. Покричат, а потом как ни в чем не бывало пиво пить будут!

— Но кто же из них прав?

— А уж это мать-революция рассудит! Кто победит на баррикадах, тот и будет прав! Ведь победителей не судят!

Валерьян долго сидел в садике на скамейке. Там, «во глубине России» — великая тишина, а здесь... Как взвыли они от одного только слова: «буржуазия»! Какая ненависть и вместе — какая вера! Странно и ново, что о новой, будущей революции здесь говорят как о деле давно решенном... готовы к ней. А он-то думал, что они здесь только бьются с нуждой, как зоолог Евсей: нет, они тут делают что-то! Что же будет с Россией? Она молчит, как ночное спящее море, и лишь на поверхности ее мелькают и гаснут немногие огни мечтаний и гнева...

Лунный столб серебряной чешуей, бесконечно дробясь и сверкая, плыл по тихому, едва дышавшему морю. Художник засмотрелся на огненные блики, словно без конца выплывавшие с морского дна. Они поминутно гасли, но тотчас же сменялись новыми огнями. Редкие звезды, окружая

прозрачную, круглую луну, алмазными брызгами горели в глубоком зеленоватом небе. Недоуменная тоска охватила душу Валерьяна.

Когда он вернулся в зал, там уже не было прежней толпы, — она растеклась по всем комнатам. В зале стояло несколько больших столов с бутылками и кружками пива. Сидящие за столами люди галдели, спорили, смеялись. За небольшим столиком сидел Евсей в компании нескольких человек. Он представил им подошедшего художника, потом пододвинул стул и бокал с темнокрасным напитком.

— Ну, как вам понравились речи? — спросил Валерьяна некто чернобородый.

— Удивлен! — признался художник. — Неужели в самом деле возможен социализм в России? Можно ли быть уверенным, что русская революция вызовет революцию во всем мире?

— Мы верим! — твердо сказал темнобородый.

— Верить можно и в чох и в сон! — язвительно вмешался рыженький, крючковатый человек ехидной наружности. — В политике нужна не вера, а расчет, учет и умение угадывать события!.. Предвидеть можно, но — блажен, кто верует: тепло тому на свете!

— Товарищи! — воскликнул Евсей, поднимая кружку. — Я поднимаю тост за светлое будущее России, но прекратите же, наконец, «наши разногласия»! Мы все здесь верим, — да, верим, — что наш народ и наша страна не погибнут.

Чернобородый встал с кружкой в руке и, утопая в черной, курчаво-пушистой бороде, запел недурным, простонародным, русским тенорком:

Славное море — священный Байкал!
Славный корабль — омулевая бочка!..

Песню тотчас же подхватили за другими столами. Она ширилась и росла от все новых, вливавшихся в нее голосов. Для бывших ссыльных и каторжан это была родная, любимая песня, будившая в них романтику воспоминаний о тюрьмах, цепях, побегах и революционных приключениях.

Долго я звонкие цепи носил,
Долго бродил по горам Акатуя...
Старый товарищ бежать пособи-ил...

Песня вразброд перекатывалась под старинными закоптелыми сводами средневекового здания, переливаясь из одной комнаты в другую.

В раскрытые узкие, длинные окна, в растворенные настежь полукруглые тюремные двери было видно безграничное море, тихо плескавшееся под светом заходящей красной луны и мерцающих далеких звезд.

В Давос приехали Пироговы, вызванные Силой Гордеичем из Лондона для родственного свидания и совместной поездки в Париж.

В тот же день старик пригласил обеих дочерей с их мужьями отобедать вместе в ресторане кургауза.

Валерьян с Наташей спустились из комнаты Силы в маленькую столовую, где в назначенный час никого кроме них не было.

Через несколько минут пришли Пироговы. В дверях показалась Варвара в черном, гладком платье, в гладкой прическе, похудевшая и постаревшая, с походкой театральной герцогини, с лорнеткой и вопросительной улыбкой на тонких губах. Лицо ее выражало готовность разыграть родственную встречу. За ней вошел Пирогов, все такой же, как и прежде, с неподвижным, бритым лицом, с достоинством и непринужденностью знаменитого человека.

Разговор сразу разбился на две группы. Пирогов с деланной английской флегматичностью рассказывал Силе и Валерьяну об Англии и англичанах.

Сестры сидели отдельно, на диванчике в уголку, — и разговаривали вполголоса.

— Понимаешь? — смеясь и играя лорнеткой, говорила Варвара. — Все наши английские друзья думают, что русский депутат сэр Пирогоф — богатый человек. Миссис Пирогоф — урожденная русская графиня, дочь графа Чернофф, помещица и миллионерша. Отец наш миллионер, — это, конечно, правда, — но чтобы дочь миллионера жила, так сказать, по-пролетарски, это в их головах не укладывается. А между тем папа высылает только сто рублей в месяц, и это главный наш фонд. Зато мы приняты в высшем английском свете. Очень приятно и любопытно, но приходится, попросту говоря, врать и разыгрывать какую-то рискованную роль. Пирогов, разумеется, известное имя, но ведь он теперь только эмигрант!.. Если не скрывать нашу бедность, все эти английские деятели и на порог бы не пустили бедняка-эмигранта, будь он хоть тысячу раз знаменит: они ни за что не поймут и даже не поверят, что русский студент из крестьян каким-то чудом прошел в депутаты Государственной думы! Бываем в таком чопорном обществе, какого ты себе и представить не можешь. Но к себе никого не приглашаем и даже адреса настоящего не даем: если бы только знали великосветские друзья русского депутата, в какой дыре живет он со своей графиней!

Наташа молча слушала, опуская глаза.

— Я там больше с англичанами, чем с эмигрантами, — разглагольствовал Пирогов. — Ведь наши везде в собственном соку варятся, европейцы сторонятся от них... Чтобы быть принятым в английской семье, нужно что-нибудь особое. Мне помогло депутатское звание. Там думают: если депутат, так само собой разумеется — денежный человек. Ну, мы их и оставляем в этом приятном заблуждении, пускай!

— Фасон держите? — подсказал Сила, беззвучно смеясь.

— Всю неделю работаешь где-нибудь на заводе, а потом фрак, манишка, записная книжка — и уже мы на званном вечере! Кругом роскошь, затянутое общество, известные имена... Знаете, я начинаю ценить английскую аристократию; там чувствуются традиции, порода лучших, умнейших и красивейших людей нации! Английская аристократия нисколько не вырождается, она все еще — мозг страны. Такую аристократию невольно приходится ценить и с ней считаться, хотя я и работаю теперь неофициально в рабочей партии.

Сила Гордеич слушал с тактичной, умной улыбкой. Видно было, что ему, ненавистнику русской аристократии, лестно отношение английской аристократии к его дочери и зятю.

— К сожалению, — отозвался Валерьян, — о русской аристократии нельзя сказать, чтобы она была породой лучших, умнейших и красивейших людей нации! Может, это было когда-нибудь, но теперь тип русского дворянина всем известен: брюхо толстое, ноги тонкие, лоб атлета!

Пирогов и Сила засмеялись. В особенности долго смеялся последний. Посыпались остроты; зятья не давали друг другу спуску, состязаясь в остроумии.

За обедом Пирогов вспомнил о тех временах, когда он еще студентом впервые эмигрировал за границу.

— Очутился я без языка, без денег, без знакомств в Париже... Жили мы тогда вдвоем с одним скульптором в Латинском квартале, на чердаке. У двоих — одна шляпа, один костюм. Когда одному надо итти, — другой сидит дома. Великолепно жилось! Скульптор лепил маленькие статуэтки, а я носил по улицам Парижа продавать, на этакой, знаете, доске с ремнем через плечо. Ничего, покупали бойко, скульптор-то хороший был, знаменитостью стал теперь. Я усиленно изучал язык, выучился, стал работать в газете.

— Значит, вы французским языком владеете? — спросил Сила.

— Как природный француз. Париж знаю как самого себя! Да! Потом перекочевал в Берлин, — немецкий язык я и прежде знал, — поступил в университет. Заделался этаким заядлым немецким буршем! Пиво пил, на рапирах дрался, а на заводе по химии работал. С рабочими был как свой. Потом в Англии... и уж здесь основался. Люблю эту старую, добрую страну! Отшлифовался так, что многие меня и сейчас за настоящего англичанина считают! Выучился боксу, могу пить все ихние напитки. Дайте мне сейчас джину — выпью! Сода-виски, дегтем пахнет — выпью!

— И ничего? — юмористически поднял брови Сила.

— Ни-че-го!

— Отшлифовался, нечего сказать! Хе-хе-хе!

Рассказав несколько забавных случаев из своей жизни, Пирогов незаметно перешел к серьезным рассуждениям о европейской политике. Здесь он сел на своего конька. Этот незаурядный человек легко захватил внимание слушателей. Привыкнув выступать то на рабочих митингах, то в аристократических салонах и обладая блестящим даром слова, он искренно и, может быть, преувеличенно верил в себя и свои силы, — верил, что так кратко мелькнувшая звезда его снова засияет в те дни, когда придет вторая революция. Пирогов не причислял себя ни к одной из русских политических фракций, думал, что революция принесет парламентский строй, подобный английскому. Все его политические симпатии принадлежали английской рабочей партии. Ее сила, организованность и лойяльность казались ему идеалом для будущего строя в России.

Сила Гордеич насквозь видел этого ловкого краснобая, который и соврет — недорого возьмет. Давно учел авантюризм его натуры, способность сделать при удаче политическую карьеру, но не верил в его устойчивость. Ведь обманул же когда-то Пирогов Силу Гордеича, баллотируясь в думу: обещал отстаивать интересы торгово-промышленного класса, а как проскочил в депутаты — запел другое! Как на такого человека положиться? Будет выгодно — пойдет с социалистами, или как их там еще называют? Отчасти из таких соображений Сила не давал Варваре более ста рублей в месяц, боялся, чтобы из его кармана не перепало на революцию, а повторения ее Сила Гордеич совсем не хотел. Опасался он и теперь, как бы знаменитый зять не вздумал просить у него денег, причем твердо решил отказать. Проедутся с Варварой на его счет по Европе — и то хорошо. Затем и вызвал, — нужны они Силе. По купеческой привычке расценивал Пирогова не как депутата, а как бедняка.

Когда после обеда все пошли в комнаты наверх, Пирогов удержал Валерьяна за рукав:

— Пойдем в курилку, покурим!

Усевшись в плетеные кресла, вынули трубки.

— Знаешь, Валерьянушка, что я тебе скажу, — совсем другим, задушевным тоном начал Пирогов. — Ты не удивляйся, что я так много о моих друзьях — аристократах говорил и себя хвалил: это для дедушки — честолюбивый старик: все-таки лестно ему, что я и в эмиграции — все-таки Пирогов!

Он затянулся из коротенькой трубки, выпустил дым и, помолчав, продолжал:

— Придется мне взять у него взаймы немножко, — так, пустяки какие-нибудь, тысченки три! Так вот! как ты думаешь? Даст ли? Неужели решится отказать — Пирогову?!.

Валерьян неопределенно развел руками.

— Не знаю, — пробормотал он, запинаясь. — Мне лично никогда не приходилось иметь с ним денежных дел. Я бы не сказал, что он скуп, но тут психология богатого человека: попросить у него денег без гарантии отдать, значит почти оскорбить его! Деньги — больное место для таких людей...

В комнату вошли давосские друзья Валерьяна: Абрамов и зоолог Евсей. Валерьян представил их Пирогову.

— Мы к вам по делу! — сказал Абрамов. — Есть у вас время поговорить?

Они уселись с деловым видом, держа шляпы на коленях.

— Очень приятно, что случай свел нас! — сказал Евсей Пирогову.

Бывший депутат с важным видом наклонил голову с английским пробором.

— Дело в том, — продолжал Абрамов, — что мы, наконец, получили субсидию для открытия русского журнала — с условием, чтобы во

главе журнала стояло ваше имя, Валерьян Иваныч! Вот мы и пришли к вам просить принять редакторство художественного отдела!

— А вас, — обратился зоолог к Пирогову, — будем просить давать статьи по отделу европейской политики! Ваше имя, конечно, очень ценно в политической литературе.

— Просим вас обоих, — заговорил опять Абрамов, — пожаловать сегодня вечером на редакционное собрание. Соберемся здесь же, в кургаузе. Передайте приглашение и вашему тестю: может быть, он заинтересуется нашими начинаниями?..

Организаторы журнала тотчас же встали и ушли. Депутат и художник, оставшись вдвоем, переглянулись.

— Ну, что, Валерьянушка, возьмешь журнал?

— Обязательно! Ведь они моим именем получили субсидию, хлопотали с моего согласия. Присылай и ты статьи.

Пирогов печально улыбнулся. При посторонних у него был важный, высокомерный вид, но теперь перед Валерьяном сидел грустный, измученный эмигрант.

— Откровенно скажу тебе, но только между нами, Валерьянушка: иметь постоянный заработок, хотя бы на сто, на двести франков в месяц, в моем положении — это якорь спасения! Мы ведь на занятые гроши приехали сюда — в надежде, что тесть поддержит, но если он откажет, положение будет трудное. Только тебе одному, по секрету, по душе говорю: живем мы с Варварой в бесконечной, неизбывной, эмигрантской нужде. В Лондоне, как ты уже знаешь, я выдаю себя за состоятельного человека, каким у них полагается быть всякому члену парламента, но по этой же причине я не могу обращаться с просьбами о заработке. Пишу в Россию корреспонденции, получаю гроши — и часто ничего не получаю! Вот как живет бывший депутат Государственной думы Пирогов! Ты еще не знаешь, что значит быть эмигрантом: это проклятие! Жена вся извелась, изозлилась!.. Отец, само собой, не сочувствует ни революции, ни эмиграции!.. Ведь только поэтому он и жесток с нею! Я это понимаю, но что же будешь делать? Выхода нет! Даже эти несчастные сто рублей, которые она получает, для нас являются богатством! Я — революционер-эмигрант! Какого же сочувствия можно ожидать от купца, от банкира, когда мы революцию против них подготовляем? Остается взять нахрапом, нахалом, мертвой хваткой, хоть раз, но хороший куш.

— Не даст! — со вздохом возразил Валерьян.

— Добром не даст, так Варвара вытянет у него из глотки. Не слезами, так хитростью, все равно! Я понимаю, что это — отчаянье, бред затравленного зверя, но что делать? Что делать, Валерьянушка?

Голос Пирогова дрогнул. Знаменитый человек протянул руку художнику и, крепко пожимая, прошептал:

— Дай хоть ты мне в твоем журнале какую ни на есть работишку! Вот как подошло!

Пирогов взял себя за горло.

В комнате Пироговых Варвара и Наташа встретили их смехом.

— Куда вы запропастились? — спросила Наташа. — Здесь столько народу было!

— И все просители, — саркастически прибавила Варвара. — Все хотят выпросить денег у нашего отца, взаймы без отдачи. Целая депутация была от «русского общества», весь эмигрантский Давос зашевелился; богатый буржуй приехал! Говорят, что если у него зятья такие знаменитые и, конечно, идейные люди, значит и он не может не сочувствовать эмиграции! Ха-ха!

Вошел Сила.

— Хотел заснуть после обеда! — добродушно сказал он. — Нет, никак не засну! Воздух здесь, что ли, такой, на нервы действует?

— Папа! — брякнула вдруг Наташа, не поднимая опущенных глаз. — Дайте мне полтораста рублей!

Сила поднял брови:

— Зачем тебе? Ведь Кронид, надеюсь, аккуратно высылает?

— Мне нужно!

— А у меня и денег-то с собой нет никаких! — Сила Гордеич с сожалением развел руками. — Все в Париж через банк перевел, оставил только на дорогу! Если уж очень нужно, телеграфируй Крониду — переведет!

Он подозрительно и вместе проницательно посмотрел поверх очков на обеих дочерей.

Варвара зло усмехнулась:

— Да она не для себя! С благотворительной целью! Эмигранты приходили просить: пронюхали, что у вас деньги есть!

Сила Гордеич вскочил:

— Эмигранты? Ну, уж для кого-кого, а для эмигрантов у меня денег нет! Эмигранты! Ха-ха! Это, которые революцию хотят сделать, что ли? Ну, нет! Я, правда, очень добр, в моей жизни мухи не обидел, но этих своими бы руками повесил, а не то, чтобы им денег давать! Да и нет у меня ничего, все по простоте моей в долг роздал! На своих кровных нехватает! Уж не говоря о том, что все больны, всех надо лечить! Ты у меня эти штуки брось! — строго сказал он Наташе. — Думал, что здесь, у своих, отдохну душой, хоть на время забудусь! Так нет! Кажется, на край света убеги — и там за карман схватят!

Валерьян, чтобы замять неприятный разговор, начал говорить о журнале и передал приглашение на редакционное собрание.

— Что ж, притти послушать можно! Все-таки коммерческое дело! Погляжу, что вы там затеяли. Не пришлось бы вам, Валерьян Иваныч, своих докладывать, будьте осторожней!

Вечером, в гостиной кургауза, состоялось редакционное собрание. Кроме Абрамова и Евсея пришел еще длинный, смуглый студент. Семова сопровождали Пирогов и Сила Гордеич.

Абрамов произнес вступительное слово:

— Пока у нас имеется оборотный капитал в три тысячи франков. Этого, разумеется, мало, но для начала хватит. Очень важно участие в журнале таких известных русских имен, как художник Семов и депутат Пирогов. Редакция обращается к ним с просьбой дать журналу не только свои имена, но и принять в нем активное участие. Валерьян Иваныч живет здесь, в нем мы уверены, но вас, уважаемый товарищ Пирогов, мы просили бы для первого номера дать нам статью. Может быть, успеете здесь написать?

Пирогов принял напыщенно-высокомерный вид. Медленно цедя слова сквозь зубы, отвечал свысока:

— Э... э... гм!.. гм!.. Я, конечно, весьма сочувствую и сделаю с моей стороны все возможное, чтобы поддержать ваши начинания, но редакция должна помнить, что я — Пирогов! Я завален другими, более важными и ответственными делами общеполитического и государственного масштаба! Повторяю, я очень занят, но может быть, что мои обязанности перед рабочей партией в Англии все-таки позволят мне уделить внимание вашему маленькому, но симпатичному журналу! Весьма возможно, что я смогу, э... э... уделить часть моего доро-го-го времени и поддержать дело, во главе которого стоит мой друг! В настоящее время я даже в дороге занят серьезной статьей для большого английского журнала, но через месяц постараюсь прислать...

Валерьян был поражен внезапным перерождением Пирогова, всего два часа назад робко просившего у него «какой-нибудь работишки в журнале».

Сила Гордеич слушал эти речи с непроницаемым видом.

— Мы очень благодарны вам! — в тон Пирогову отвечал Абрамов. — Ваше имя украсило бы не только наш скромный, начинающий журнал, но и всякий другой. Мы приглашаем вас к регулярному участию в журнале, а пока будем ожидать, что вы уделите нам часть вашего дорогого времени!

Тут Абрамов тонко, ядовито улыбнулся.

— К сожалению, средства наши пока маленькие. Наша задача — расширить их, заинтересовать журналом и других русских людей, — Абрамов искоса взглянул в сторону Силы Гордеича, — имеющих возможность оказать материальную поддержку аполитическому, беспартийному, чисто художественному журналу...

Абрамов говорил долго, но Сила Гордеич не дослушал его речь до конца. На него вдруг напал припадок старческого, продолжительного кашля. Добрый старичок старался сдержать и заглушить кашель носовым платком. Однако ему стало неловко нарушать собрание: встал и, продолжая кашлять, на цыпочках вышел в коридор. Оттуда еще долго доносился мучительный, затяжной кашель. Больной вынужден был удалиться в свою комнату, откуда так и не вернулся.

———

В погожее октябрьское утро солнышко светило почти что по-летнему: на небе ни облачка, воздух не шелохнет, тенета летали. Ведряная, на редкость теплая осень выдалась.

Сидел Сила Гордеич по нездоровью — вместо прогулки — на лавочке у ворот собственного дома: доктор Зорин велел на воздухе больше быть. Сильно пошатнулось здоровье: плохо спалось, совсем измучила бессонница, думы одолевали, а перед глазами все какие-то черные точки плавали, как мухи. Слабость во всем теле, ноги чуть двигаются, мелкими шажками по земле шаркают.

Начавшаяся война сильно тревожила Силу Гордеича: еще до войны по совету Крюкова положил он большой капитал в заграничный банк на случай революции, а теперь, поразмыслив, покаялся, послал письмо о переводе ему вложенных денег обратно. Что именно заставило его так поступить, он никому не говорил, но повидимому, кроме присущей ему осторожной дальновидности, тут имели значение соображения государственного порядка. Сказалась и отеческая любовь к собственным деньгам, — для него они были живым существом, созданием всей его жизни: никак не мог расстаться с ними Сила Гордеич, нежно, ревниво любил их, пуще детей родных, — так пусть они вернутся к его любящему сердцу!

Война началась небывалая. По мнению Силы Гордеича, ставилось на карту самое бытие Российского государства. В деревнях остались только стар да мал, да бабы: запасных гнали на войну бесчисленными поездами. Опустели дворянские гнезда, многие соседи-помещики — бывшие военные — оказались на фронте, а некоторые немедленно по прибытии туда сложили свои головы на полях брани.

Не осталось в стороне и купечество. Крюков, как бывший офицер, сбрил бороду, закрутил усы, надел форму, уехал в кавказскую армию. Пишет теперь из Баку: состоит командиром гарнизона, заведует продовольствием, получил повышение в чинах. Этот не сложит головы, в тылу отсидится, да еще, пожалуй, около продовольствия заработает.

В земскую организацию поступил Константин, уехал в Киев: иначе ведь в действующую армию заберут.

Зять Валерьян сдал жену родителям на хранение и укатил в Москву, тоже на фронт собирается: военные картины хочет рисовать, деньги заработать, а иначе — кому теперь нужны художники? Думал Сила: не отпустит его Наташа, — нет, отпустила! Пошли темные сплетни по городу, что, дескать, нелады у них, будто бы Зорин к Наташе примазывается — конечно, из-за денег! Да не бывать этому, чтобы и вторая дочь от мужа к другому ушла. А уйдет — ни копейки не получит, как с Варварой было! Зорин-то не дурак, чтобы без денег чужую жену взять, да еще больную... Ежели на наследство рассчитывает, так он, Сила, тоже не глуп, такое устроит завещание — комар носа не подточит! Тоже и Варвара смерти его ждет не дождется! Собиралась все к мужу, а тут война, границу закрыли: оно и лучше, чем в эмиграции-то горе мыкать, шобоны — лохмотья трепать!

Казалось Силе Гордеичу, что все дети смерти его хотят. Когда думал о Варваре, ненавистнице своей, революционерке, когда вспоминал, что Зорин лечит его, а сам Наташке голову крутит, — невольно сжимал костлявые кулаки, сердце колотилось, голова кружилась, и черные мухи сильнее мелькали в глазах. Ехал мимо извозчик — что за чудо? Двоится извозчик! Лошадь и пролетка в двойном виде кажутся! Люди идут мимо, собака ли пробежит — все в двух экземплярах, рядышком, боком к боку или друг над дружкой мерещутся! Встал Сила Гордеич со скамейки, хотел в дом воротиться, но тут земля под ногами закачалась, завертелась, как мельничный жернов, в глазах потемнело, — и упал миллионер Сила Чернов лицом в грязь у ворот собственного дома без чувств и сознания: погасло солнце, белый свет черной тьмою покрылся.

Что потом было, Сила Гордеич не помнил; очнулся в дверях своего дома: кучер Василий с Кронидом под руки его вели и потом на диван в кабинете положили. После этого опять впал в забытье. Приехал Зорин, заставил выпить микстуру, — и пришел в себя Сила Гордеич. Рассказали ему, что Василий, выйдя за ворота, нашел его в бесчувствии, лежащим на земле у калитки. Долго ли он так лежал, никто не знал: в доме народу много — жена, дети, внуки, прислуга, но никому невдомек было присмотреть за больным стариком. Посоветовал доктор водочку бросить и режим жизни изменить.

— Дело ваше стариковское! — улыбаясь, сказал ему Зорин. — Организм изношен, сердце потрепано, за графинчиком с приятелями засиживаться перестать придется. А режим вот какой надо: вечерком легкого чего-нибудь покушать, «Четьи-минеи» почитал — правильные старики обязательно на ночь «Четьи-минеи» читают, — а как девять часов — в постельку и бай-бай!

— Никогда еще не было, чтобы ни с того, ни с сего в глазах двоилось! — оправдывался Сила. — Разве что когда случалось рюмок тридцать выпить!

— Нет, уж насчет рюмочек и думать забудьте! Режим станете соблюдать — до девяноста лет доживете, а иначе — бойтесь кондрашки, серьезно вам говорю!

Сила покрутил головой, помолчал и вдруг спросил:

— А как вы скажете, доктор, могу ли я считаться сейчас в здравом уме и твердой памяти?

— Вполне и очень даже!

Сила, хитро улыбаясь, протянул ему руку:

— Ну, спасибо! Очень вам благодарен!

По уходе доктора долго сидел один в кабинете, перебирая бумаги, и вдруг велел позвать сверху Кронида. Тот пришел, по обычаю своему, с веревочкой в руках и, шагая из угла в угол по кабинету, спросил, ухмыляясь в седеющую бороду:

— Что прикажете, дядюшка?

Сила Гордеич сидел, понурясь, в кресле у письменного стола. На столе, как всегда, стояла большая серебряная чернильница в виде шкуры медвежьей — давнишний подарок Валерьяна и Наташи в день их свадьбы. Опираясь морщинистыми руками в иссохшие колени, хрипло прошептал:

— Прежде всего сядь, не мотайся перед глазами и брось веревку! Разговор будет серьезный!

Кронид послушно сел, сунул в карман заплетенную плеткой веревочку.

— В животе и смерти бог волен! — начал Сила внушительно. — Все под богом ходим! Однако после этого случая чувствую: подходит конец моего земного странствия... недолго наживу!

— Как знать, дядя? Чего вы испугались? Доктор говорит: безусловно ничего опасного!

— Что мне доктор? Сам чувствую. А посему желаю я пересмотреть и вновь завещать мою последнюю волю. Умирать-то не сейчас собираюсь, может и не один год проживу еще! А все-таки, пока нахожусь в здравом уме и твердой памяти, решил привести свои земные дела в окончательный порядок!

Помолчал, крякнул и добавил низко:

— Позвони пойди нотариусу, чтобы сейчас же беспременно ехал... чтобы все дела бросил!.. Нынче же и напишем! Да гляди, чтобы ни одна душа в доме не знала!

Кронид пошел в прихожую, а Сила, кряхтя, вынул из несгораемого шкафа большой лист синей гербовой бумаги.

Минут через пятнадцать приехал нотариус — давнишний приятель, осанистый, грузный человек с красным лицом и большой седой бородой, расчесанной по груди на две стороны.

Все трое заперлись в кабинете.

— Опять переделывать? — потирая руки, спросил нотариус. — В третий раз уже, Сила Гордеич!

— Ничего! Время такое... изменчивое! Ты, друг, извини за беспокойство. Теперь уже в окончательном виде!

— Что ж! Составим предварительный проект!

— Проект приблизительно прежний! — кряхтел Сила, опустив голову и жуя губами. — Кое-что добавить да изменить придется!

Нотариус сел к столу, придвинул лист простой бумаги и обмакнул перо.

— Пиши, как полагается по всей форме!

Поскрипев пером, нотариус прочел вслух вступительные строки завещания и вопросительно посмотрел на завещателя.

Сила Гордеич вздохнул.

— Волчье логово попрежнему — старшему сыну Дмитрию, Березовку — младшему. Дома продать и вырученную сумму включить в общий капитал... Денежные суммы — тоже без изменения: сыновьям — по сто

тысяч, младшей дочери — сто, а Варваре — тридцать... Жене моей — пятьдесят тысяч!

— Воля ваша, дядя! — прервал Силу Кронид. — Но позвольте за Варвару слово сказать! По-моему, напрасно ее обижаете!

Сила Гордеич стукнул костлявым кулаком по креслу.

— А тебе какое дело? — вдруг взвизгнул он. — Это враг мой! Ненавидит меня! Социалистка!.. Кабы не дети у нее, ни гроша не дал бы!

Сила сам испугался своего волнения и громкого крика, сдержал душившую злость, отдышался и добавил низким шопотом:

— Дети-то, конечно, не виноваты!

— То-то и есть, что дети! — вздохнул нотариус.

Завещатель помолчал, пожевал губами и, вдруг ослабев, махнул рукой:

— Ладно уж! Пишите и ей!.. Поровну с Натальей!..

— Вот хорошо! — обрадовался Кронид, пряча в карман веревочку.

— «Хорошо»! — передразнил его Сила. — Плакали мои денежки! Сам на себя дивлюсь: смягчился я что-то под конец жизни моей! Все-таки дочь ведь!

Засопел носом, задышал, стараясь удержать слезы, навернувшиеся на глаза.

— Только вот что я обдумал и решил! — успокоившись, продолжал он. — Из денег, завещанных сыновьям и дочерям, выдать наличностью по двадцать тысяч каждому на воспитание детей, а остальные положить в банк на двадцать четыре года. В случае смерти моих детей капитал переходит к внукам через указанный срок.

— Здорово! — удивился Кронид.

— И мудро! — одобрил нотариус.

— ...Предоставляя, конечно, право пользоваться процентами! — закончил Сила и юмористически посмотрел на Кронида. — Племяннику моему Крониду — десять тысяч наличными и хутор в Алатырском уезде! Довольно, чай, Кронид? У тебя ведь ни жены, ни детей!

— Покорнейше благодарю! — сухо ответил племянник.

— За двадцать лет управления, полагаю, что ты, чай, скопил себе малую толику?

— Ничего не скопил, дядя!

— Ну, если не скопил, сам виноват! Душеприказчиком назначаю тебя же!

Сила покряхтел, повозился в кресле и, посмотрев на собеседников поверх очков, продолжал внушительным, торжественным тоном:

— Теперь — последнее и самое главное: все остальное мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, исчисляемое приблизительно около или более миллиона рублей в деньгах, закладных и процентных бумагах, завещаю после смерти моей...

Старик остановился, взволнованно перевел дух и повторил с расстановкой:

— Завещаю после смерти моей — в пользу го-су-дарст-ва!

Скрипевший пером нотариус поднял голову и уставился на завещателя. Кронид побледнел и замер посреди комнаты с разинутым ртом.

— Не по-ни-маю! — протянул он недоуменно. — В пользу государства! Куда именно? На какой предмет?

— В государственное казначейство! — твердо ответил Сила. — На предмет устроения жизни! Такова моя воля!

Кронид переглянулся с нотариусом.

— Насчет нормальности моего ума будет свидетельство доктора! — угадал их мысли Сила.

— Удивительно! — пожал плечами Кронид. — Отнять у наследников большую часть капитала!

Сила улыбнулся.

— Не удивляйся, Кронид! Мои взгляды на капитал тебе известны... Все это годами обдумано мной! Детей и внуков я обеспечил, а от больших денег только одна погибель им будет! Потому и решил: сделать дар государству, которое, как вам известно, находится сейчас в чрезвычайной опасности!

Кронид забегал по комнате, дрожащими пальцами расплетая веревочку.

— Где это видано? — остановился он вдруг от волнения. — Чтобы купец... почитай весь капитал — государству? Дико!

— По правде сказать, — с расстановкой отозвался нотариус, — такого случая не запомню! Случалось — жертвовали на Афон, на церковь, на странноприимные дома, на сирот, за последнее время больше на школы отказывают и уж совсем не завещают на колокола! Но чтобы государству — и почти весь капитал — этого не упомню: не было!

Он обмакнул перо.

— Что ж! Запишем пункт последний... Всему народу и потомству в поучение! В Америке, говорят, миллиардеры иногда так поступают! Размахнулись вы по-американски, Сила Гордеич!

— Нет, это по-русски! — крикнул Кронид, пряча веревочку. — Это... это... я не знаю что: подвиг или безумие?

— Писать? — спросил нотариус.

— Пиши! — махнул рукой Сила и с трудом поднялся с кресла. — Ох, устал! Пойду, полежу покуда! Потом, Кронид, позови меня — подписать-то!

Сила Гордеич удалился, совсем по-старчески семеня мелкими шажками: было ему уже семьдесят четыре года.

Кронид, проводив нотариуса, поднялся по внутренней лестнице наверх. Долго шагал из угла в угол по большой, низкой, неуютной комнате антресолей, кое-как обставленной старой, облезлой мебелью, крутил в пальцах веревочку. Но вот скрипнула дверь, и вошла Варвара в черном платье с гладко причесанными, черными волосами.

Кронид искоса посмотрел на нее и продолжал ходить, как маятник.

Варвара заискивающе улыбалась вымученной улыбкой, от которой у Кронида сразу стало тяжело на душе.

— Кронид!

— Что?

— Опять завещание писали?

Она устало опустилась на расшатанное, полинялое кресло.

— Да, опять писали.

— Не скажешь ли чего-нибудь — вообще? а? Кронид?

Кронид молчал, сутуло расхаживая с веревочкой, низко опустив голову, как всегда. Ему было жаль Варвару. Знал всю ее несчастную, незадачливую жизнь. Как она изменилась со времени своего второго замужества, после возвращения из эмиграции! Муж, мечтавший о министерском портфеле, бедствует теперь в Лондоне, все надежды погибли, а она из блестящей салонной львицы катастрофически быстро превращалась в мещанку, в приживалку в доме ненавистного отца. Приехала не только лечиться, хотя и больна действительно, а главное — за деньгами для мужа... Но просить их — безнадежное дело. Вот разве наследство после отца поправит ее дела: плох стал дядя. Хотелось обнадежить ее, сказать, как по его совету отписал ей отец сто тысяч, но не считал Кронид себя вправе говорить, да и как знать, не вздумает ли Сила опять переделывать завещание?.. Ведь вон он какой: государству отвалил миллион, а ему, Крониду, за верную двадцатилетнюю службу — десять тысяч. Уверен, что Кронид «скопил», то есть украл, «малую толику», и его же дураком считает, если не крал, когда, действительно, можно было красть сколько угодно.

— Кронид? — умоляюще повторила Варвара.

Кронид остановился и, не глядя на нее, плел веревочку.

— Ничего не скажу, Варя, не имею права!

Варвара усмехнулась саркастически:

— Да ведь в коридоре слышно было, как он визжал про меня!

— А ты подслушивала?

— Так, случайно мимо проходила!

Она тяжело и грустно вздохнула.

— Вижу, не на что надеяться мне!

— Напрасно так думаешь!

Кронид распустил сложно заплетенную веревочку и начал заплетать ее снова.

— Напрасно! — повторил он и опять большими шагами заходил по комнате.

Сказать ей, что ли? То-то обрадуется! Поймет, что не такой уж злой человек отец у нее, каким она всю жизнь считала его. Может быть, произойдет примирение отца с дочерью после многолетней борьбы и вражды! Характеры-то одинаковые — нашла коса на камень! Она, пожалуй, еще бессердечнее — от матери! И мстительна, как дьявол!.. Вместо бла-

годарности у нее, пожалуй, совсем другая обнаружится психология! Догадается старик, что Кронид строгий секрет выболтал, и нагорит Крониду. Нет, ничего не следует говорить Варваре: придет время — сама все узнает!

Кронид продолжал ходить, заплетая веревочку и ухмыляясь тайным мыслям своим.

Странная психология в доме Черновых: двадцать лет он ее разбирает и никак разобрать не может. Взять хотя бы отношения Варвары с отцом! Ненависть у обоих друг к другу лютая, а вот смягчился же Сила, отписал ей сто тысяч и даже прослезился: если бы только она могла видеть его в эту минуту! Да и она: ненавидит его, а отними у нее эту ненависть, так ей жить будет нечем, некого тогда обвинять во всех несчастиях ее жизни, в которых только она одна и виновата, непокорный ее характер! Всю жизнь промахивалась из-за честолюбия и собственного нахрапа: одним прыжком, как тигрица, всегда норовила добычу сцапать и — всегда неудачно!

А старик — деспот великий и эгоистище! Всех детей своих, можно сказать, передушил из-за проклятых денег, но нет человека несчастнее, чем он, когда и капитал-то, из-за которого жизнь всей семьи стала адом, взял, да и завещал государству, а детей, хоть всю жизнь скандалил с ними, — любит, страдает за них!..

С виду будто ненавидят друг друга, а в последний момент, пожалуй, окажется, что ненавидят и любят одновременно! Эх! Отцы! Деспоты — отцы!.. ...Иудушки Головлевы, Карамазовы, Иваны Грозные!.. Жестокие, отвратительные, а потом рыдающие над загубленными во имя ложной идеи собственными детьми! И есть во всех отцах старого поколения что-то такое русское, отцовское, родное, несмотря ни на что! Отцы и дети, проклиная и ненавидя друг друга, все же, как каторжники, связаны одной веревкой, которая так заплелась, так запуталась, что и не распутаешь! Дети рвутся в разные стороны, не хотят итти с отцами, но веревка-то одна для всех, все связаны, все похожи, одинаковы, все родные, ненавидящие и любящие, надо всеми тяготеет одно общее заклятие...

— Да будет тебе вить твою проклятую веревку! — контральтовым стоном зазвенел вдруг яростный Варварин голос. — Повесишься ты когда-нибудь на ней! Несчастный ты старший дворник дома Черновых! Бессмысленная твоя жизнь!

Кронид поднял глаза и остановился: перед ним стояла Варвара с побелевшим, искаженным лицом и ненавидящим, пожирающим взором, горевшим зеленым огнем. На голову Медузы походила теперь голова Варвары: столько внезапной ненависти было в лице и глазах ее.

Кронид испугался.

Она схватила его за тщедушные, худые плечи цепкими, как когти, тонкими, длинными руками с холодными, бледными пальцами и, приблизив к его лицу свое, Медузье, закричала повелительным тоном:

— Говори! Говори же! Говори всю правду: лишили меня наследства? ограбили? обездолили? Н-ну? Говори, домовой!..

— Говорю, а ты не веришь! — растерянно пробормотал Кронид, отводя ее руки. — Чего взбеленилась?

Руки Варвары опустились безнадежно. Углы губ скорбно сложились в насильственную улыбку, глаза налились слёзами. Она тяжело перевела дыхание и сказала тихо, дрожащим, прерывистым голосом:

— Хоть бы сдох он скорее, изверг, мучитель, обидчик мой!.. Ну, если... уж я ж ему!.. Уж я ж ему!..

— Варя!.. Напрасно ты! Больше сказать ничего не могу, одно скажу: напрасно! — волнуясь, мямлил Кронид.

— Из-за него большой человек, муж мой, без помощи пропадает! Коли могла бы для такого человека украсть или ограбить, — украла бы и ограбила!

— Варя!

— Что «Варя»? Будь хоть раз искренним, скажи правду, намекни хоть, я пойму!.. Да и так понимаю, сама слышала!.. До того довели, что либо на себя руки наложить, либо...

И вдруг ласково, льстиво, с кошачьим мурлыканьем прильнула головой к плечу Кронида:

— Кронидушка, вспомни!.. Ведь мы вместе росли, вместе в детские игры играли... Покажи завещание... издали... только одно место, одну строчку...

— Да нет у меня его!..

— Где же оно? У нотариуса?..

— У дяди... В несгораемый шкаф положил, а ключ всегда у него...

Варвара откинула голову и долго молча смотрела в белесые, скрытные глаза Кронида, никогда не смотревшие прямо. Кронид не выдержал ее взгляда, опустил голову. Какая-то неясная, тайная, невероятная мысль прошла между ними. Бледное лицо Варвары окаменело, зеленовато-серые глаза сузились, бескровные тонкие губы крепко и решительно сжались. Кронид и сам не знал, почему ему вдруг сделалось страшно, и руки его с запутанной веревочкой начали дрожать мелкой дрожью.

Варвара, тяжело дыша, с раздувающимися ноздрями и все с тем же окаменевшим, бледносерым, помертвевшим лицом медленно и молча вышла из комнаты. Кронид посмотрел ей вслед, вытер пот с лысеющего лба и вдруг почувствовал слабость в ногах.

Тогда он сел в кресло, вынул веревочку и долго расплетал и заплетал ее худыми, бледными, все сильнее дрожавшими пальцами.

Москва была полна отзвуками войны.

Уличная пресса неустанно разжигала патриотическую ненависть к немцам. Возникло множество листков и журнальчиков с кроваво-кра-

сочными рисунками, с портретами и изображениями легендарного подвига Кузьмы Крючкова.

На Тверской несколько раз в день выставлялись телеграммы, написанные крупными буквами на огромном плакате: около него всегда стояла уличная толпа.

Кареты и автобусы Красного креста каждый день развозили с вокзалов раненых по лазаретам. Лазаретов учредили много, но поездов с изувеченными людьми ежедневно прибывало еще больше. Злобой дня для Москвы были раненые.

Почти ежедневно на улицах устраивались патриотические шествия; под открытым небом перед уличной толпой выступали оперные певцы и певицы. Сделался модным романс «Два великана». В театрах и Благородном собрании давались многолюдные концерты в пользу раненых: публика была сплошь в блестящей военной форме, в эполетах и аксельбантах, дамы — в бриллиантах, — а с эстрады декольтированные исполнительницы романсов пели о «мужичке».

В одно солнечное, не по-осеннему теплое утро цирк Чинизелли устроил уличную демонстрацию в древнерусском стиле: в нескольких экипажах по Тверской шагом ехали ряженые, загримированные боярами и шутами, окружавшие видную, дородную женщину в атласном сарафане и кокошнике. Около тротуаров шли «великаны» на высоких ходулях, бежала уличная толпа, а впереди всей процессии ехал на большом, тяжелом коне древнерусский витязь в кольчуге, железном шлеме, желтых сафьяновых сапогах, с тяжелым мечом сбоку, с деревянной палицей, окованной железными шипами. Всадник был подстать коню — рослый, широкоплечий красавец с пушистыми, белокурыми усами, известный всей Москве цирковой силач.

Хотели произвести впечатление силы, создать бутафорский, ходульный патриотизм, показывали силачей и великанов, наряженных в костюмы прошлого.

Когда демонстрация, сопровождаемая пестрой толпой, удалилась, — по Тверской вскоре после нее прошел полк солдат в серых шинелях, с ружьями на плечо. Это вряд ли было продолжением демонстрации: солдаты шли без музыки и песен, хмуро, озабоченно, с суровыми, бородатыми лицами. В их необычном молчании и суровости, в тяжелом, размеренном шаге, от которого вздрагивала мостовая, чувствовалась спокойная, серьезная сила.

Они прошли серой массой и оставили тяжелое, мрачное впечатление: в то время когда немецкие войска в Берлине маршировали с развернутыми знаменами под музыку медных оркестров, сопровождаемые ликующей, возбужденной толпой, — серое русское войско шло умирать молча, без речей, без трубных звуков, без приветствий толпы, одиноко и мрачно, затаив свои мысли и чувства.

Снизу, от Охотного ряда по мостовой шагал долговязый мужик в ватном пиджаке, в сапогах «бураками» с твердыми голенищами,

в высокой бараньей шапке. За ним бежала толпа ребятишек, с любопытством на него глазевшая. Но вблизи становилось очевидно, что за мужиком бегут не дети, а взрослые, а кажутся они детьми — в сравнении с необыкновенно высокой фигурой: вся толпа была ей по плечо. Великан с котомкой за спиной и с посохом в руке, не обращая никакого внимания на сопровождавших его зевак, шел гигантскими шагами и скоро скрылся за Страстным монастырем.

Все эти странные уличные явления наблюдал Валерьян с балкона третьего этажа гостиницы «Люкс».

Он с любопытством проводил глазами цирковую демонстрацию, потом тяжелую массу солдат и, наконец, нелепую фигуру великана, шагавшую серединой улицы.

Валерьян не чувствовал патриотизма, не ощущал ненависти к немцам, но думал, что война, так внезапно и грандиозно начавшаяся, повлечет обвалы в неуклюжей, обветшалой постройке Российского государства. Думал о том, как должны быть громадны последствия этой войны независимо от того, кто останется победителем: все проклинали небывалую бойню, в которой целиком исчезали полки, корпуса и отдельные армии.

Тем не менее художник приехал в Москву с целью хлопотать о командировке на фронт: хотел видеть войну ближе, своими глазами, занести на полотно впечатления, хотел погрузиться в это море всеобщего бедствия и в нем забыть личные страдания, казавшиеся теперь ничтожными в гуле войны: этот гул чувствовался даже здесь, далеко от нее, в самом сердце страны.

Вся интеллигенция — писатели, артисты, художники — объединилась в группы и работала по приему раненых на вокзалах. Валерьян тоже заявил о своем желании участвовать в группе добровольных санитаров Красного креста, надеясь таким путем скорее попасть на фронт в качестве военного корреспондента и художника.

В дверь постучали.

Вошел приземистый, бритый молодой человек в шляпе и широком пальто с повязкой Красного креста на рукаве. Он хромал на правую ногу, тяжело, как копытом, стуча железным каблуком.

Это был скульптор, которого ждал художник. В больших, выпуклых глазах вошедшего чувствовалось что-то птичье, как и в бледном, тонком лице с прямым, острым носом. В кружке художников он был известен под прозвищем «Птицы». Хромал оттого, что на правой ноге ему нехватало пятки, давно потерянной им совершенно случайно. Пятку заменял железный каблук, и потому так тяжел был его шаг, что, однако, не мешало его проворным и ловким движениям.

Он еще на-ходу весело крикнул:

— Все в порядке, сэр! Ты зачислен в нашу дружину на Брестский вокзал! Эге?

«Птица» хитро подмигнул и, распахнув пальто, бухнулся в кресло.

— Аж вспотел! Ковылял за этой дурацкой демонстрацией!! Бездарно и глупо, антихудожественно, по-балаганному! А Святогора — «живую колокольню» из цирка Чинизелли — видел? На войну, говорят, собрался, на вокзал его провожают! Не понимаю, что обозначает такое торжественное шествие: шут ли это гороховый, которого, может быть, наняли купцы для потехи, или в этом есть какой-то нечаянный смысл — например символ проснувшегося другого Святогора, тысячу лет лежавшего в закованном гробу?

— Дались им эти великаны! — с неудовольствием заметил Валерьян.

— А между тем, — с воодушевлением продолжал хромой, — где у нас настоящие большие люди? Создаст ли война хотя бы больших мастеров этого, по совести говоря, грязного и страшного, преступного дела? Ну, у немцев Гинденбург, а у нас — кто? В прошлом такими мастерами были Суворов и Наполеон, да и те добивались удачи главным образом умением воодушевлять людей, умиравших по их воле, умели внушить веру в определенную идею! Была у нас, например, турецкая война, так ведь народ воспринимал ее как войну религиозную, шли добровольцами, умирали и замерзали на Шипке! Были у нас настоящие великаны, был Достоевский, который сумел зажечь толпу своей знаменитой речью! А теперь? Воинственных или патриотических идей ни в нижних слоях народа, ни в верхних — в серьезном смысле — ни тинь-тилили! За веревочку! Везде сознательное или бессознательное пораженчество, — вот идея, которая носится в воздухе! Кто же победит? Конечно, идея!

— Неужели ты думаешь, что целая коалиция не сможет немцев победить?

«Птица» усмехнулся и, посмотрев на друга своими немигающими, птичьими глазами, сказал тихо, как бы про себя:

— Ихняя идея — это Германия! Их распирает от силы! Сорок лет готовились! Верят, мерзавцы, в бронированный кулак! А у нас после японского позора даже и в молебны перестали верить! Этой войны народная стихия не понимает, не приемлет, не сочувствует ей! Нет и великанов! Величайший-то наш великан всю жизнь занимался тем, что наносил сокрушительные удары не внешним врагам России, а — церкви и государству! О! Он многое разрушил, ибо, дорогой мой сэр, наша церковь и наше государство во многом достойны разрушения! И уж, конечно, не благословил бы теперь новых Дмитриев Донских великий отшельник, а сказал бы новое: «Не могу молчать!» — Скульптор взволнованно вынул трубку и, набивая ее табаком, со вздохом закончил свою речь. — Вот это был настоящий наш Святогор!.. Покурим, сэр! Все равно, не вылезет Россия из этой ямы, в которую попала! А пока — будем раненых принимать! Есть даже надежда отправиться тебе на галицийский фронт для иллюстраций! Советую поехать! Напишешь массу эскизов, а потом такую картинищу двинешь! Поехал бы и я, да не пустят с моим копытом!

«Птица» постучал каблуком, посмотрел на карманные часы и засвистал.

— Я ко всякой войне отношусь отрицательно! — промолвил Валерьян, закуривая трубку. — И все-таки поеду!..

— Сэр! — перебил его скульптор. — Одевайся! Пора на вокзал! Поезд придет через час, но нужно быть на месте заблаговременно! С нынешнего дня начинаем! Дай-ка я тебе приколю повязку: специально для тебя достал!

Вытащил из кармана повязку Красного креста и засуетился, стуча своим копытом.

Площадь перед внушительным белым зданием вокзала была занята расположившимся «вольно» полком солдат, только что прибывшим для отправки на фронт. Плотной, густой массой они сидели как попало — на земле, на ступеньках подъезда, вдоль изгороди сквера, в полном вооружении и амуниции. Эта громада вооруженных людей с окладистыми бородами, крупных, сильных, производила внушительное впечатление. Казалось невероятным, что все они в самом скором времени превратятся в убитых и калек.

Около бокового входа стояло несколько автомобилей и карет, приспособленных для перевозки раненых. В обширных комнатах вокзала сновала разнообразная толпа, собравшаяся встретить ожидаемый поезд, а у буфета каланчой стоял и закусывал Святогор, окруженный зрителями его необычайной наружности. Великан, повидимому, давно уже привык быть предметом удивления, жевал бутерброды, ни на кого не обращая внимания.

«Птица» подошел к нему дружелюбно:

— Здравствуйте, сэр! На фронт?

— На фронт! — с набитым ртом глухо отвечал Святогор и, улыбнувшись, добавил. — Елки зеленые!

Скульптор протянул ему руку, и она, как рука младенца, исчезла в чудовищной лапе великана. Худое лицо с небольшой клочковатой бородой добродушно осклаблялось.

— Для устрашения немцев? — деловито приставал «Птица», смотря в это лицо снизу вверх.

— Не! Теплые вещи сопровождаю во Львов!

Святогор был очень худ и нескладен. Длинные, как у гориллы, руки внушали невольный страх.

— Сколько в вас росту, сэр?

— Три аршина и три вершка! — скучным голосом, не глядя на собеседника, равнодушно отвечал колосс, видимо тяготясь разговорами.

— Да в шапке шесть вершков, да каблуки! Итого три аршина десять вершков.

— Настоящий Святогор! Пусть знают немцы, каких людей родит русская земля! А? Скоро поезд?

— Не! — медленно тянул мужичьим говором Святогор. — Опаздыват, елки зеленые! Только к ночи придет!

Скульптор увлек Валерьяна к группе людей с повязками Красного креста: это были артисты и художники, большею частью знакомые. Начался общий разговор о «распределении ролей», как выразился живой и вездесущий «Птица».

В сумерках раздался звонок, возвещавший о приближении поезда. Толпа хлынула на перрон.

Поезд подошел не так, как подходят обыкновенно поезда: чрезвычайно тихо, медленно, торжественно и — печально. В толпе многие отирали слезы. Едва двигаясь, почти беззвучно проплывали теплушки с открытыми, широкими дверями сбоку и, наконец, остановились. Было несколько вагонов с пленными австрийцами и один с немцами в железных шлемах. Австрийцы, — большею частью молодые, белобрысые ребята, некоторые совсем еще безусые, — радостно улыбались толпе, как будто приехали в гости к родственникам. Немцы, наоборот, выглядели с суровым достоинством и отчасти с презрением. Казалось, они хотели сказать и, вероятно, говорили на своем языке: «Так вот она, Москва, знаменитый азиатский город! Это ничего, что мы попали в плен: нет сомнения, что скоро наша непобедимая армия будет у ворот вашей Москвы!»

— Д-да-а! — как бы на выражение их лиц ответил высунувшийся из толпы мещанин в новом картузе с лаковым козырьком, с длинным клином бороды, загнувшейся вперед. — Это вам не австрияшки! Хе-хе! Сурьезный народ!

Валерьян и «Птица» принялись за свое дело: подходя к каждому вагону, спрашивали вожатого о числе раненых и тут же ставили цифру мелом на стенке вагона.

Когда они прошли вдоль всего поезда и вернулись обратно, из передних вагонов люди с повязками уже выносили раненых на носилках. Толпа, теснясь, жадно заглядывала в раскрытые двери вагонов: многие ожидали встретить родных и близких. «Птица» исчез в толпе.

Двое санитаров несли пожилого солдата с полуседой бородой и желтым, исхудалым, закоптелым лицом. Для соблюдения очереди санитары остановились у решетки, отделявшей перрон от площади, где уже «грузили» раненых в приготовленные фургоны. Санитары подняли носилки. Раненый перекрестился широким крестом. Валерьяна поразили серьезность и торжественность его обветренного, закоптелого лица, словно из дыма и пламени выхваченного: на этом первом лице с войны, которое он увидел, был особенный отпечаток, вероятно отличавший всех, побывавших «там», в горниле ее.

Приковылял хромой скульптор, стуча по асфальту своей железной ногой.

— Сэр!! Все в порядке! Наша миссия кончена! Идем на вокзал: сейчас поведут пленных! Ну и рыла у некоторых, сэр! Скульп-ту-ра!

Обширный зал освещался сверху большой электрической люстрой. Белый свет электричества был невыносимо ярок. Половину зала диагональю занимала толпа зрителей, стоявших неподвижно и тихо, как в церкви. Художник и скульптор, присоединившись к толпе, встали впереди. Взоры всех были устремлены на внутренние двери, выходившие на перрон.

Вдруг вся толпа нечленораздельно зарычала:

— А-а-а-а!

В гуле этого, почти звериного, рычания чувствовалось враждебное злорадство.

Из дверей с перрона через весь зал, наполненный ослепительным светом, медленно шли к выходу пленные германцы, человек сорок. Их сопровождали, идя по бокам всей группы, несколько солдат с обнаженными саблями. Немцы двигались медленно, колонной по четыре человека в ряд, коренастые, в серых мундирах, в черных стальных шлемах. На два шага впереди шел их предводитель — германский лейтенант. Он был выше всех ростом, молодой, стройный, прямой, с длинными, вытянутыми в стрелку, как у Вильгельма, белокурыми усами. Шлем на его голове, опущенной на грудь, был обтянут серым суконным чехлом, и лишь блестело золоченое копье на верхушке. Длинные ноги были в рейтузах и твердых крагах из желтой кожи. За плечами до земли висел стального цвета плащ. Звенели шпоры. В этом костюме его воинственная, гордая — хотя и печальная — фигура напоминала средневекового рыцаря.

Когда толпа зарычала, он еще ниже опустил голову, но осанка попрежнему осталась воинственной и гордой.

Казалось, что он испытывает позор и стыд плена, этот тевтонский рыцарь. Может быть, ему вспоминалась голубоглазая, светловолосая девушка, оставленная им в Германии, ожидающая его победного возвращения. Может быть, вспоминалась Германия, синие волны родного Рейна. Изменило военное счастье, — суждено испытать постыдный плен в ненавистной Московии.

Остальные были простые солдаты. Толпа, порычав, утихла и продолжала стоять неподвижно, глазами провожая немцев.

Высокий, белый зал, сияющий нестерпимым светом в наступившей странной тишине, неподвижная, дико смотревшая толпа московского народа и эти медленно идущие пленные воины с высоким рыцарем впереди, — все показалось художнику как бы фантастическим видением или живой картиной.

Фарфоровый город.

(Роман.)

А. Перегудов.

(Продолжение.)

Часть вторая.

1.

Фриц Карлович Беренс жил одиноко и замкнуто. Возвращаясь домой после занятий на фабрике, он обедал, после обеда полчаса дремал на кушетке, потом зажигал на письменном столе маленькую электрическую лампочку и, шагая по кабинету, курил и думал. Ровно в восемь рябая Степанида приносила в кабинет самовар, чайник и стакан в серебряном подстаканнике. Фриц Карлович садился к письменному столу, читал и пил крепкий до горечи чай.

После пожара завода вечерами вместо чтения химик занимался расчетами вновь конструированных аппаратов машинного отдела. Его всецело поглощала мысль: в новом отделе поставить дело так, чтобы выпуск фарфоровой массы был увеличен в полтора или даже в два раза. Для этого необходимо ускорить размол шпата и кварца и поставить два лишних пресса. Упорная мысль, как заноза, раздражающая больное место, с каждым днем настойчивее твердила: «Да, это можно сделать». И «это», еще неуловимое, но с каждым днем оформлявшееся более и более, заставило Фрица Карловича несколько изменить строго установленный порядок жизни. Он уже не позволял себе получасового послеобеденного отдыха и просил подавать самовар не в восемь часов, а в семь. В вечерних размышлениях и расчетах все казалось таким простым и понятным. Правда, опыты с увеличением выпуска фарфоровой массы химик пытался делать и раньше, но они проходили неудачно, масса получалась недоброкачественной, плохое качество массы Фриц Карлович объяснял несовершенством старых аппаратов. Теперь же во вновь построенном корпусе он покажет, как нужно работать. Но более всего занимала Фрица Карловича мыль о коренном переоборудовании точильного отдела. Сейчас в точильном отделе чайники, чашки, блюдцы, тарелки формуют на гончарных кругах. Этой работой занято до пятисот точильщиков. Два

года назад Беренс задумался над вопросом: нельзя ли формовку изделий заменить механическим литьем. Для этого нужно было изобрести какую-то литейную машинку. Два года упорной работы довели дело до конца. На многих чертежах были набросаны детали этой сказочной машины. Просматривая чертежи, внося в них исправления и дополнения, Фриц Карлович видел эту машину так ясно, как будто она была уже сконструирована и работала в точильном отделе. Устройство ее несложно: на бесконечной ленте закреплены гипсовые формы, над ними — краны: автоматически открываясь, они заполняют формы жидкой массой. Лента медленно движется, масса, определенной толщины слоем, налипает на стенки форм, остаток ее выливается. Затем формы поступают в сушилку, где масса, затвердевая, образует чашку. Толщина стенок изделий может быть различной в зависимости от скорости движения ленты. Эта машина должна будет произвести переворот в фарфоровой промышленности. Она будет производить товар во много раз быстрее точильщиков. Несколько таких машин сократят число рабочих точильного отдела втрое. Мысли бурно проносились в разгоряченной голове Беренса. Откидываясь на спинку кресла и прихлебывая из стакана горький чай, химик мечтал о том, что фабрикант, вернувшись на завод, будет поражен и очень обрадован достигнутыми результатами. В том, что рано или поздно Аким Никитич вернется, химик не сомневался. Русские — взбалмошные головы, увлекающиеся натуры, мечтатели. Они не умеют или не хотят трезво смотреть на жизнь. Они витают в облаках, не обращая внимания на то, что делается у них под носом. Они задумали поиграть в революцию, — ну что ж, пусть поиграют. Опасная игра обожжет их, десятками лет они не оправятся от ожога. Пусть, пусть!.. И вот когда с изумлением и болью будут смотреть они на исковерканную игрушку, будут чесать затылки и обвинят не себя, а тысячи причин, помешавших им довести революцию до конца, — вот тогда он, Фриц Карлович Беренс, вместе с Карпухиным возьмется за работу.

Закуривая папироску, Беренс продолжал мечтать...

...Фарфоровое производство в России замерло в своем развитии: на заводах и фабриках работают так, как работали десятки лет назад. Взять хотя бы горны: сколько тепла улетает в небо в огненных этих факелах! На сотни тысяч рублей! А разве нельзя это тепло утилизировать, разве нельзя усовершенствовать обжиг фарфора? Затем, как несовершенна переброска товара из одного отдела в другой: женщины таскают фарфоровую посуду на руках, корзинами и ящиками. Разве нельзя придумать какие-нибудь конвейеры? Сколько тогда будет съэкономлено труда, времени и средств!

Но сокровеннейшими мыслями Фрица Карловича было:

У Акима Никитича Карпухина есть дочь, наследница всех его фабрик и капиталов. Правда, ей уже под тридцать, она некрасива, непомерно толста и, как говорят, глупа. Но... — улыбка трогала тонкие губы химика, — глупая жена — самая удобная: она будет много спать, много

есть, сидеть дома, окруженная уютом, и не будет мешать своему мужу в работе и в личной жизни... Фабрики, тысячи рабочих, автомобили!.. О, тогда Фриц Карлович богатством и яркостью новой жизни окупит тяжелые годы труда, упорной работы, бессонных ночей... Аким Никитич — не дурак: под грубой и мужиковатой его наружностью спрятаны хитрость, практическая сметка, напористость. Он поймет, — когда увидит, что может сделать Беренс с его фабриками и заводами, — что иметь такого человека компаньоном и зятем — сущий клад. А после смерти старика, — брови химика сходились над переносьем, — столетняя фирма, известная всему миру, перейдет к Фрицу Карловичу Беренс...

Ослепительно яркие перспективы будущего приятно волновали заведующего машинным отделом, но мечты его неожиданно приняли другое направление, когда через неделю после совещания в конторе Степанида подала ему перед вечерним чаем зеленовато-серый конверт. На конверте размашистым почерком крупно написано было: «Инженеру-химику Фрицу Карловичу Беренс, лично». Рассматривая конверт, химик спросил:

— Кто принес?

— Какой-то человек, незнакомый.

— Что сказал?

— Ничего не сказал, отдал и ушел.

— Так. Ступай.

Фриц Карлович сел к столу, аккуратно обрезал ножницами конверт и заглянул на последнюю страницу письма. Внизу мелко исписанной страницы стояла знакомая неуклюжая подпись: «А. Карпухин».

Беренс плотнее пододвинулся к столу, ближе придвинул лампу. Прочитав письмо, долго сидел в кресле, барабаня пальцами по сухому и острому колену. Потом встал и, заложив руки за спину, ссутулясь, прямыми привычными шагами заходил по мягкому ковру от книжного шкафа к двери и обратно. Сдвинутые над переносьем брови не расходились, тонкие губы были плотно сжаты. Чай, остывая, покрывался сизой пленкой. Тихо ворчал самовар и за окном настойчиво стучала о стекло ветка тополя. Фриц Карлович долго ходил, потом резко повернулся к столу, закурил и на догорающей спичке сжег письмо.

2.

Пока в бетонных подвалах лежал запас фарфоровой массы, вертелись в точильном отделе машинки, полыхали факела горнов, и казалось невероятным, что придет день — и громады корпусов будут пустынны и немы. Но очень быстро придвинулся этот тревожно ожидаемый день, когда из подвалов выгрузили последнюю тонну массы.

Терентий Силин с двенадцати лет пошел в точильный отдел, и тридцать лет работы сделали его лучшим мелочником завода. Из его рук

выходили различных фасонов чашки: манжетные, дулька, бадейка валиком, бадейка винтом, рафаэльские. Терентий Силин сжился со своей машинкой; повинуясь его воле и привычным движениям рук, вертелась на кругу гипсовая форма, мягко шлепался в нее ком глины, наклонялся приклон, и шаблон формовал чашку. Низенького роста, с тяжелым горбом на спине, Терентий стоял у машинки на специально сделанной скамеечке. После пожара он экономил каждую горсть глины и недовольно ворчал на молодых точильщиков, разбрасывающих массу по прилавку и полу. Он наивно верил, что эта экономия даст пищу его машинке на один лишний день, и для него неожиданнее и жесточе, чем для остальных рабочих, прозвучала фраза смотрителя:

— Ну, ребята, кончай!.. Больше нету массы, доработали!

Терентий слез со скамеечки, отер руки о пыльные штаны и криво усмехнулся:

— Доработали?

— Доработали. Вся.

— Так. А что же теперь будем делать?

— А уж это я не знаю, идите к управляющему, какую-нибудь работу даст.

Силин тщательно вычистил и протер свою машинку и присел на скамеечку, опустив голову на руки. В мастерской галдели и ругались точильщики. Солнечный свет широким потоком бил в окно, и в этих потоках золотистыми облаками плавала фарфоровая пыль. Теплое пятно солнечного света упало на горб Терентия и ласково грело. Так сидел он до тех пор, пока не опустела мастерская. За высокими «хорами» уборщицы мели пол и громко разговаривали. Одна из них, босая, с высоко подоткнутой юбкой, подошла к Силину и тронула его за плечо:

— Дядя Терентий, ты что сидишь? Уж все разошлись.

Не поднимая головы, точильщик смотрел на ее босые ноги, густо запудренные белой пылью. Очень усталым было его тело, и было тяжелое предчувствие, что вот этой мастерской, этих машинок, «хор» и низенькой скамеечки, истертой от долгого употребления, он больше не увидит. Никогда больше не увидит! Кто знает, на сколько лет заглохла точильная мастерская. Бархатная пыль покроет стены, окна, полы, прилавки; в углах и «хорах» пауки натянут свои мудреные сети, — пыльное паутинное царство будет в точильной мастерской.

— Дядя Терентий, уж не заболел ли ты, что сидишь-то?

Босая нога ближе придвинулась к точильщику, и он заметил на ней под слоем пыли красную царапину. Посмотрел в лицо уборщицы и неожиданно спросил:

— Где ногу-то оцарапала?

Уборщица нагнулась, тронула пальцами царапину, ответила:

— А пес ее знает где! Весь день то туда, то сюда, — не хошь, нацарапаешься. Что домой-то не идешь?

— Домой-то? — вдруг засуетился Терентий. — Надо итти... И верно: все разошлись. Сел вот отдохнуть на скамеечку и задумался. Пойду...

Нагнув голову и неуклюже выпятив горб, Силин торопливо зашагал к выходу.

Вечером Терентий с железной лопатой вышел за рабочий поселок. У березового перелеска, отдыхая, долго сидел на кочке. За перелеском уходящее солнце раскалило небо, над перелеском тепло золотели облака. На золотых этих облаках и голубом небе рассыпалась огромная галочья стая. Пахло землей, гниющими травами, молодой березовой листвой. Отдохнув, успокоив хрипящие легкие, Терентий вдавил лопату в мягкую коричневую землю. Он был первый из рабочих, которые, почувствовав гибель завода, пришли за помощью к земле, С того вечера у березового перелеска ежедневно копошились люди: рубили тоненькие березки, заносили изгороди, разбивая кочковатое поле на множество кривых, различной величины клеток; в каждой клетке был огородик одной рабочей семьи. Одиночки сбивались по-двое, по-трое, а сорок человек подавальщиков всем общежитием зашли за березовый перелесок и занесли огромный огород.

С каждым днем больше и больше высыпало людей за рабочий поселок. Как у больного, разбитого параличом, у завода отмирал один отдел за другим. Уже не рвались в небо из высоких серых труб буйные огни и дымные дороги не чертили небо. Угасли горны, и завод как-то сразу притих, омертвел. Работали только живописные мастерские, раскрашивая запасы белья, и отдел готового товара, пакуя в бочки фарфор. Рабочие «ординарцы», не порвавшие связи с землей, уехали в деревни, принялись за крестьянство. А заводский пролетариат из умолкнувших мастерских вышел в поле сажать картофель.

3.

Борис переселился из казарм на второй этаж конторы в гостиную бывшей квартиры фабриканта. Несколько дней, проведенных на заводе, убедили его, что в маленькой тесной каморке отца невозможно работать: негде положить чертежную доску, нельзя сосредоточиться, уйти в чертежи и расчеты, — казарма долго и надоедливо шумела. Но больше всего мешала болезнь отца. Иван Семеныч тихо лежал в постели, но одно сознание, что отец страдает, комкало мысли и рассеивало внимание. Присматриваясь к отцу, инженер видел: не одна только болезнь мучит отца, что-то иное заставляет болеть не только тело, но и душу. Иван Семеныч был угрюм, мало говорил с сыном, ночами ворочался в постели и шептал бесконечные молитвы. В этих ночных, горячих шопотах инженер чувствовал безысходную тоску.

Здесь же, в гостиной Карпухина, застланной большим поглощающим стук шагов ковром, работалось легко и плодотворно. В квартире была глубочайшая тишина, нарушаемая лишь солидным гиканьем

старинных часов; тишиной, казалось, были пропитаны стены, картин в широких позолоченных рамах, мебель и тяжелые складки портьер Иногда вечерами, отдыхая от чертежей и смет, Борис ходил из угла угол по мягкому ковру и думал о той жизни, которая билась в этой соседних комнатах. Он знал, что Аким Никитич жил скупо, рассчетливо отказывая себе даже в необходимом. Ходил в старинном длиннополом сюртуке, ел щи и кашу, молился богу. Бог был для него невидимым помощником, тайно помогающим воздвигать новые корпуса, увеличивать текущие счета в банках; бог смирял рабочих, заставляя их жить в сырых казармах, грязных общежитиях, работать в пыльных мастерских. Бог Акима Никитича был очень удобен, нетребователен, заповеди его казались мудрыми и тоже очень удобными. В благодарность за помощь бога Карпухин строил ему на фабриках церкви и, начиная новое — постройку корпуса, установку машин и аппаратов, — всегда служил торжественные с водосвятием молебны. Два раза в год — на Пасху и Рождество — староверский поп Иван обходил с управляющим мастерские и кропил «святой» водой стены, машины и фарфор. Тусклой, окутанной дурманом религии, за которым прятались эксплоатация труда и жажда наживы, казалась Шумову прошлая жизнь фабриканта. Скрывая внутреннее убожество, она резко била в глаза показным богатством московских домов и этой вот квартиры. Общественное положение Акима Никитича заставляло его, скрепя сердце, тратиться на дорогие ковры, мебель, на плохие копии картин в богатых золоченых рамах.

Инженер знакомился с жизнью завода. Раньше ему казалось, что он хорошо знал ее, но теперь каждый прожитый день убеждал его в том, что знал он не скрытые пружины ревниво оберегаемого хозяином механизма, а поверхность ящика, в котором спрятан механизм. Знал: рабочих, казармы, процесс выработки товара. Не знал: детальной работы аппаратов, секрета приготовления массы, расценки товара, причин брака и множества встречающихся на каждом шагу мелочей. Его очень заинтересовала идея химика: рационализировать производство и увеличить выпуск продукции. Безумно смелыми, необычайного размаха и яркости показались ему мысли Фрица Карловича о машинизации завода и утилизировании пламени горнов. Вот над чем стоит поработать! Революция открыла широкие перспективы для этой работы. Инженер сознавал, что сейчас, в тревожное время ломки старого, нельзя приступить к воплощению в жизнь этих идей. Сейчас Россия похожа на огромнейшие заброшенные лесоразработки: рабочие навалили деревьев и ушли. Деревья высохли под знойным солнцем, сочатся смолой, и малейшая неосторожность — костер пастуха, брошенная неряшливо спичка или умышленный поджог — и лесная площадь вспыхнет невиданным пожаром. Но Борис верил: наступит время, когда придут рабочие, расчистят валежник, уберут гнилье и на расчищенной, строго распланированной местности посадят новые корни крепкого строевого леса. И одним из этих работников, насадителей нового будет Фриц Карлович Беренс. Шумов видел в нем человека, чуж-

дого стране, но готового помочь ей своими знаниями, опытом, энергией, и за это был благодарен ему, бескорыстному и честному. «Побольше бы таких людей,— думал Борис,— и мы показали бы Западу, что можно сделать из темной и забитой России».

В тот вечер, когда пришла к нему Катя, инженер сидел над одним из проектов Фрица Карловича. Молочно-сизый полукруг в потолке заливал комнату мягким светом. На стенах тускло поблескивала позолота рам, и матовые отблески лака на мебели напоминали радужные пленки нефти на воде. На стук в дверь инженер, не оборачиваясь, ответил:

— Входите, можно.

Кто-то встал у порога, не решаясь шагнуть в комнату.

— Входите, можно, — повторил Шумов и повернул голову.

У двери стояла Катя. Неуверенно шагнув к столу, она спросила:

— Не помешала?

— Нет, нет... — быстро поднялся с кресла Борис. — Конечно, не помешала. Я рад, что ты, пришла. Садись. Чаю хочешь? Сейчас устрою.

— Нет, не хочу, спасибо... Все работает, все занимается! Засел дома и никуда не показывается... А вечер такой хороший... Может быть, гулять пойдем?

Борис заметил: Катя чем-то смущена и не знает, «ты» или «вы» говорить ему. Сел рядом и, осторожно положив руку на колено девушки, сказал:

— Ты, Катя, зови меня по-старому, по-товарищески Борисом и на «ты». Ведь я каким был, таким и остался.

Улыбка тронула ее губы:

— А кто тебя знает, может загордился, — инженером стал. Пойдешь?

— Пойдем, пойдем... От чаю отказываешься?

— Отказываюсь.

— Ну вот что: пойдем сейчас гулять, а вернемся — будем пить чай. Хорошо?

— Ладно.

За поселком у березового перелеска копошились согнутые фигуры рабочих. Темными пластами лежала взрытая земля. Женщины в подолах и корзинах таскали картошку, сажали ее в гряды.

— Картошку сажают, — тихо проговорила девушка. — Одна надежда — на картошку, паек-то вон как урезали. Завод встал, почти все отделы встали, на-днях и живописный встанет. Чем жить? Ну, куда же мы пойдем?

— Куда хочешь. Пойдем в лес.

Свернули вправо на узкую тропку, бежавшую по полю к мохнатой и влажной еловой чаще. Мягко оседала под ногами земля, в лужицах между рыжих кочек цветными стеклышками отражались темнеющее небо и мутно-алые отблески зари. Под тихими лапами елей было темно и сыро. Тропка терялась в густой пахучей хвое.

Зеленые сумерки леса, запахи земли и хвои напомнили инженеру последнюю встречу с Катей. Четыре года прошло с тех пор, а как будто все еще продолжается тот вечер: лес, как и тогда, такой же тихий, и Катя такая же странная, — как будто чем-то взволнована, что-то хочет сказать и не решается. Борис осторожно взял девушку под руку; от волос Кати пахнуло полузабытым запахом скипидара. И вдруг Шумов почувствовал, что этот запах раздражает его и необъяснимо волнует. Он отнял свою руку и пошел сзади, рассеянно слушая, что говорит Зорина:

— Время-то какое наступило! Все вверх дном перевернулось. Я часто об этом думаю, и такая тоска подступит к сердцу — не знаешь, куда деваться. Как все изменилось!.. Раньше я учиться хотела, думала: вырвусь из своей каморки, новым человеком сделаюсь... Эх, как я завидовала дочерям механика, и тебе тоже завидовала: счастливые — учатся! Ты знаешь, мне все казалось, что я какая-то особенная, непохожая на других девчонок. Может быть, потому это, что без матери выросла, что подруг у меня не было... Читала много, вот и испортила себя книгами.

— Как испортила? — недоумевая спросил Борис.

Как будто не слыша его вопроса, девушка продолжала:

— Вся беда в том, что я четыре года в школе училась. Учительница (помнишь Марию Павловну?) за что-то полюбила меня, книжки давала читать, на дому у себя занималась со мной. Придешь, бывало, к ней вечером, зимой, на дворе мороз или метель, а в комнате тепло, уютно. Затопит учительница лежанку, сядет перед ней на полу, а я рядышком притулюсь. Долго сидим, на огонь смотрим. Мария Павловна рассказывает что-нибудь: о городах, странах, о людях разных... Хорошо она рассказывала... А потом уехала, поманила чем-то необыкновенным, раздразнила и уехала. Что молчишь? Тоску я на тебя нагнала.

— Ты не права, Катя: теперь для каждого открыты такие возможности...

— Это ты о революции... Знаю, мне не раз об этом говорил Павел... А пока-то: картошку сажаем... А жизнь-то уходит.

Девушка наклонила голову и долго шла молча.

Темная чаща хвои расступилась, между пиками елей грязно-синими кусками засветлело небо, тропинка побежала вниз на сырое дно оврага. Седыми космами растрепался туман по кустам. В тумане призраками белели стволы берез; казалось, они медленно переходят с места на место, ворожат в наступающей ночи над землей и травами. И как будто не ручеек журчит где-то поблизости, а неугомонно и страстно сыплются слова дремучей лесной ворожбы.

— Куда же мы зашли? — спросил Борис.

— В овраг. Сейчас будет Гремучий ключ.

— Гремучий ключ?!

Катя стояла в двух шагах от инженера, ее ног не было видно, темная юбка сливалась с землей, и только белым пятном застыла у куста кофточка, и над этим пятном еще туманнее и неразличимее виднелось лицо.

— Гремучий ключ? Ты помнишь... помнишь, четыре года назад?..

Девушка закинула руки за голову, хрустнув пальцами. Светлое пятно почудилось белой птицей, взмахнула птица крыльями, хотела улететь, и не было сил оторваться от земли, и опять бессильно упали крылья.

— Ну, конечно, помню... — Катя шагнула к Борису. — Боря, а ведь я все еще верю в свое будущее, верю, только стыдно сознаться в этом. Пойми: если буду я говорить о том, что уйду с завода, как-то... какой-то иной будет моя жизнь... и вдруг, ничего не получится? Не вырвусь, здесь застряну, замуж выйду... В пеленках да горшках радости мало. Ведь засмеют тогда, издеваться будут. «Ага, — скажут, — ты лучше нас хотела быть, — так вот, гнись над корытом, ублажай мужа...»

В торопливом ее шопоте чувствовались сдерживаемые рыдания.

— Я свою веру и надежды свои ото всех хороню, никому не показываю. Ты первый... тебе первому созналась. Ты поймешь, не посмеешься...

Борис обнял дрожащие плечи девушки и, наклонившись, поцеловал ее волосы.

— Не надо, — шепнула Катя и подняла голову. В темных впадинах глаза казались необыкновенно большими, в полуоткрытых губах смутно белели зубы.

— Катя, родная, если бы я мог помочь тебе... Ты самый близкий человек... Ведь я тебя... — и, не договорив, запрокинул ее голову и жадными губами искал ее губы.

— Не надо... Что ты делаешь?

Она оттолкнула инженера и быстро отошла к тонкому стволу березки.

— Какая я... нехорошая... Ну зачем это?

— Катя, подожди...

— Нет, нет, пойдем... Холодно... И поздно уже... Пойдем.

Она быстро зашагала вверх по берегу оврага. Инженер шел сзади, его лицо горело, мысли путались, обрывались, как гнилая пряжа:

«Нехорошо я делаю по отношению к Павлу... Я оскорбил Катю... Чепуха!.. Я люблю ее... Люблю ли?..»

До поселка шли молча. Когда свернули в узкий переулок, Борис спросил:

— Ну, что же... пойдем ко мне пить чай?

— Нет, нет, — быстро ответила девушка. — Как-нибудь после... Я на-днях зайду к тебе... может быть, завтра зайду...

И пошла быстрее, как будто хотела убежать от идущего сзади инженера.

4.

Иван Семеныч поправлялся, он уже выходил — с палкой и в валенках — из каморки в казарменную кухню, где вечерами у куба собирались кучки рабочих. Смотрителя встречали ласковыми улыбками и, потеснив-

шись, давали ему место, поближе к топке. Иван Семеныч садился на кирпичи торфа, осторожно клал между колен палку и, смотря неподвижно остановившимися глазами в огонь, слушал, о чем беседуют рабочие. У куба он узнавал все новости. На заводе крепнет ячейка большевиков. Рушнов, Никитин, Самохвалов записались в партию. Березкин больше и больше забирает власть. Его не любят, боятся, но выступать против него не решаются. У Березкина один ответ: «Ага, так ты контрреволюцию разводишь? Смотри, товарищ! За это знаешь: раз — и к стенке!» Рабочие обвиняли друг друга в том, что выбрали табельщика председателем совета.

— Посадили чорта на шею, попробуй-ка стряхни теперь!

— Говорят, и большевики им не довольны.

— Вот Никитина выбрать бы, это мужик правильный.

Кривой ожигальщик, Ефим Дудкин, зло высмеивал новую власть:

— Что, товарищи, власть — наша? Управляете?.. Ха-арошее дело!.. Правьте, правьте... Завод-то закрыли? Очень хорошо! Семьи на паек посадили? А-атлично! Слыхал я, что и паек-то скоро прекратится. Ха-арошее дело! Вот жисть-то нажили: хлеба нету, работы нету, — ложись да помирай... А начальства насажали — не проворотишь. Раньше был у нас один управляющий, а теперь — три, да еще Березкин в придачу. Этот — самый главный: во все дыры нос сует, к каждой бочке гвоздь...

Замечая сочувственные улыбки на лицах некоторых рабочих, Ефим говорил громче, смелее:

— Толкуют вон: генералы на нас войной идут... Корнилов, Дутов, — они вам покажут! Голыми руками заберут. Кто воевать-то супротив них пойдет, кому смертоубийство не надоело? Эх, то-ва-ри-щи!..

Когда Дудкину возражали, он вскакивал, и, сверкая единственным своим глазом, размахивая руками, кричал:

— Молчи!.. Больше тебя знаю. Одним глазом поболе твово вижу. Пока рот не заткнули, всегда правду скажу... Эх, дьяволы! Што вы нам головы крутите? Што вы нас завтрашним днем маните? Вы нынешним ублаготворите. Ага-а!.. А я вам прямо скажу: к погибели идем! Вы думаете, построят машинный отдел? Как же, построили! Держи карман шире! Много вам напоют, — уши развешивайте, слушайте.

Сухое лицо Ефима покрывалось багровыми пятнами, судорожно передергивалось, широкий рот с сизыми потрескавшимися губами брызгал слюной:

— Ду-ра-ки!.. Несмышленыши!.. Журавля в небе ловите, а синицу из рук упускаете. Говорить-то с вами тошно!..

Сердито плюнув, широкими вихляющимися шагами уходил из кухни.

В словах ожигальщика Иван Семеныч чувствовал близкую ему правду; смотрителю казалось: все — и завод, и рабочие — идут к погибели, и нет впереди ничего светлого, утешающего. Его волновали слухи о походе генералов на рабочую власть. Он верил: придут войска, усмирят бунтарей, установят порядок и — вот что самое важное — на заводе вновь

появится Аким Никитич. При нем не зашалишь! Все еще надеялся старик, что сокровеннейшие мечты его воплотятся в жизнь. Закроет глаза и видит в широком кожаном кресле грузную фигуру хозяина, слышит его голос: «Вернусь я — и все по-старому пойдет». Плакал тогда Аким Никитич и перекрестился — не обманет.

Иногда были другие мысли:

«А вот сын не верит слухам, не верит, что хозяин вернется. Кончилось,— говорит,— их время, капут. Самим надо свою жизнь строить. Кто прав: Борис или Аким Никитич? Кому верить?»

Однажды вечером в кухню казармы пришел инженер Шумов, пожал руки сидевшим у куба рабочим, присел на грудку торфа.

— А я было к тебе, отец, пришел, да сказали — ты на кухне. Ну, о чем беседуете?

— Да, так вот, толкуем, что на ум взбредет,— ответил старик.

— Может ты, Борис Иваныч, нам что расскажешь? Как у вас дела-то идут? Скоро строить начнете?

Инженер закурил папиросу и, размахивая дымящейся спичкой, ответил:

— Скоро начнем строить. От Нечаева получил письмо. Пишет, что закупил цементу, железа, лесу. Несколько платформ уже отправил. Сейчас идут подготовительные работы. А мне удалось закупить в Москве всю трансмиссию для отдела. Часть уже получена.

Рабочие ближе пододвинулись к инженеру.

— А построите, как ты думаешь, Борис Иваныч?

— Будут материалы и рабочие руки — построим, не будут — на несколько лет работа затянется.

Старик Шумов тихо спросил:

— Ну, а ты сам-то... ты сам-то... веришь, что завод пойдет... без хозяина?

— Верю,— твердо сказал инженер,— без веры нельзя работать... Ну, я пошел, на минутку забежал.

— Так, значит, построите отдел?

— Будем строить. Прощайте, товарищи.

«Вот, сын верит,— с тоской подумал Иван Семеныч,— ему легко с верой-то... А мне... Мне-то каково?..»

5.

Сначала в казарме, а потом по заводу пошли слухи: Маня Петрова беременна. Женщины, встречая девушку, с любопытством оглядывали ее фигуру, некоторые с усмешечкой говорили:

— А ты, Манька, как будто поправляешься?.. Ну, дай бог, а то с хворью-то совсем извелась.

Маня вспыхивала, торопливо уходила от назойливых расспросов и взглядов.

Мать была молчалива, угрюма, часто вздыхала, сокрушенно качая головой. Эти вздохи и молчаливое горе матери раздражали девушку. Как-то вечером она не вытерпела, спросила зло:

— Ну, что ты все охаешь, тоску нагоняешь?

Анисья, перебирая пальцами складки юбки, молчала.

— Что молчишь? Говори.

— Что говорить-то, — вздохнула мать, — словами горю не поможешь. От позора словами не закроешься. Послушай, что говорят в казарме-то...

— А ты слушай больше!.. Плюнь на всех. Кому какое дело?

— А стыд-то?

— Стыд не дым, глаза не выест. Подумаешь, какое горе,— забеременела. Внучонка тебе принесу.

— Молчи уж, непутевая... Поправилась, опять сорванцом стала, бесстыжие твои бельмы! В скит тебя отправить,— там присмиреешь! Схожу вот к матери Таисии.

Девушка прищурила глаза и, наклонившись к старухе, зашипела ей в лицо:

— Вот что, мать: ты об этом оставь... Не доводи меня до греха... И так на улицу показаться нельзя: везде насмешечки... да усмешечки. А доведешь: руки на себя наложу, или... или не знаю что сделаю...

— Што ты, што ты?..— всполошилась Анисья.— Опомнись, что говоришь-то... Господь с тобой!..

А дочь уж выбежала из каморки, громко хлопнув дверью.

В мастерской Маня ловила на себе любопытные взгляды подруг, замечала их перешептывания; наглые улыбки парней вызывали в ней злобу. Ей казался подозрительным каждый брошенный на нее взгляд. Прищурив глаза и раздувая ноздри, она спрашивала:

— Что смотришь?.. Ну, беременна я, а дальше что?

Ее стали избегать, живописки замолкали, когда она подходила к ним, работали нарочно прилежно. Пожилые женщины отворачивались, когда Маня присаживалась к ним. Отовсюду — от стен казармы и мастерской — веяло на девушку холодом и неприязнью. И она была даже обрадована, когда вышел запас белого товара и живописные мастерские кончили работать. В каморке Маня все дни валялась на кровати, не хотелось показываться в коридор, на улицу. Везде люди были странно изменившимися, чужими, очень неприятными. Только Катя была попрежнему приветлива и ласкова. Впрочем и Катя изменилась, но по-иному: чаще звенел ее смех, ярче сверкали ее глаза и зубы в улыбке.

В один субботний вечер Анисья ушла в баню, Маня сидела у окна, смотрела на серые трубы умерших горнов. Она не слыхала, как в каморку вошла Катя.

— Одна?

— Ой, ктой-то? — вздрогнула Петрова.— А, это ты!.. Ну, рассказывай, что нового. Павел-то пишет?

Катя села в темный угол каморки.

— Одно письмо получила.

Мане почудилось, что подруга тихо засмеялась.

— Ты что смеешься?

— От радости.

— Ишь ты... Куда ни посмотри,— люди стонут, а у тебя — радость. Где ты ее разыскала, может, мне скажешь?

Подойдя к стене, шарила по ней ладонью, ища выключатель.

— Подожди,— быстро проговорила Катя,— не зажигай свет. Иди сюда, я хочу кое-что сказать тебе.

— Письмо, что ли, принесла от Павла?

— Нет. Садись ближе.

В темноте слышалось порывистое дыхание Зориной. Маня почувствовала, что подруга хочет сказать ей что-то небудничное и важное. Она чутко насторожилась, когда Зорина, волнуясь, заговорила о своей любви к инженеру Шумову. Давно, с детства эта любовь. Все время о нем думала... А Павел считает ее своей невестой. Как быть? Что сделать, чтобы Павла не обидеть?

Крепко стиснув руку Петровой, Катя горячо дышала ей в лицо:

— Маня, родная, посоветуй что-нибудь... Заплуталась я, как в лесу... Может быть, не встречаться больше с Шумовым, может быть, он играет мною?.. Так, от скуки... Уехать бы с завода, а куда уедешь в такое время?.. Посоветуй.

По мере того как говорила Катя, лицо Петровой странно изменилось: брови скорбно сошлись над переносицей, а губы кривила злая усмешка. В ее сознании мелькнуло: «Вот Зорина инженершей будет, а я рожу ребенка без отца, как гулящая девка... Зориной — почет и уважение, а мне — насмешки да издевательства... А чем я хуже ее?..» Внезапно ей захотелось выплеснуть из сердца все, что накопилось в нем за эту весну, захотелось унизить и оскорбить подругу, и, не скрывая своей злобы, Маня громко и фальшиво рассмеялась.

— Ты что? — отшатнулась Катя.

— И-ишь ты!.. Сладкого захотела?.. С Нечаева много не возьмешь — рабочий, а Шумов-то — в шелка нарядит, барыней сделает... Ну, что ж: лови, лови инженерика!

— Манька, что ты говоришь?!— вскочила Зорина. Ее лицо густо покраснело; грудь, туго обтянутая кофтой, порывисто поднималась.— Как тебе не стыдно!

Петрова, прищурив глаза, продолжала смеяться:

— Ловко ты придумала: одного — по боку, а другого...

— Манька!.. Я пришла к тебе... Я тебе доверяла, а ты... Какая ты... гадина!

И, резко повернувшись, выбежала из каморки.

— Лови, лови! — крикнула ей вслед подруга и вдруг испуганно замерла, почувствовав мягкий толчок внизу живота. Широко раскрытыми

глазами Маня изумленно смотрела на дверь каморки, потом медленно подошла к кровати и легла. Вцепившись пальцами в волосы, долго и неутешно плакала, подушкой заглушая рыдания.

6.

Вечерами за письменным столом Борис Шумов не мог попрежнему уйти в работу; смотря в чертежи, он видел в них не строгий план машинного отдела, а темный лесной овраг. Голубые линии водопроводных труб казались ему ручейком, текущим во мхах, под лапами елей. Тщательно вычерченные барабаны, пресса мерещились необычно подстриженными кустами и деревьями. Инженер вставал с кресла, ходил по комнате, стараясь прогнать надоедливые думы. Но в тишине комнаты чудился скрытый смех девушки, шорохи напоминали о ее голосе. Ему казалось: вот если осторожно подойти к портьере и быстро распахнуть ее, — по комнате прозвенит спрятавшийся за портьерой смех Кати; если, насторожившись, прислушаться к ночным шорохам, в них можно понять шопот девушки.

«Ведь Катя — невеста Павла,— думал Борис,— Павел любит ее. Чего же мне ждать? Я не могу совершить бесчестного поступка по отношению к другу детства. А потом: люблю ли я ее? Может быть, родной завод, казарма, лес всколыхнули в памяти прошлое: детство, неспокойную юность, прошлые мечты и настроения. Может быть, только этим можно объяснить мое влечение к Зориной?.. Нужно поговорить с ней, извиниться за свой поступок в овраге... Зачем смущать девушку...»

Он не встречал ее с того вечера, когда ходил с ней в лес. Живописный отдел не работал. Что она делает? Копает землю, сажает картофель? Как проводит вечера? Что пишет ей Павел? Почему она не заходит?

Чувствуя, что мысли о Кате волнуют его и это волнение и напряженное ожидание чего-то мешают работе, инженер послал ей записку, прося зайти к нему вечером.

Все его рассуждения оказались скомканными и отброшенными неожиданной волной радости, затопившей сознание в тот весенний ветреный вечер, когда Катя пришла в гостиную фабриканта.

На ней были те же белая кофточка и короткая темная юбка, и так же, как и в первое свое посещение, девушка нерешительно остановилась у двери, держась рукой за тяжелую портьеру.

— Ну вот и хорошо, что ты пришла... Нам нужно серьезно поговорить.

— О чем говорить? — спросила Катя и, осторожно ступая по ковру, подошла к кушетке.— Лишнее все это... Я даже и приходить не хотела. К чему?

Она села на кушетку, подобрала под себя ноги, прикрыв их юбкой. Ее лицо было печально, стиснутая бровями морщинка сурово лежала на переносье. Борис заметил: Катя старается не смотреть на него, и ее

взгляд торопливо скользил по стенам и ковру, будто искал что-то позабытое в этой комнате.

«Должно быть, сердится... Какую глупость я сделал в прошлый раз...» — и, желая отдалить тяжелое объяснение, бестолково засуетился у стола, хватал и бросал на зеленое сукно расчеты и сметы.

— Ну вот... Ну вот и хорошо, что пришла... Будем пить чай, а? Подожди, я сейчас принесу. У меня есть хорошие конфеты, московские.

В кухне долго стоял держа в протянутых руках чашки, потом усмехнулся, подумав: «Ну, что я, ребенок что ли...»

Когда он вернулся, Катя спросила:

— О чем ты хотел со мной говорить?

— Подожди, сейчас... Вот конфеты,— достал из письменного стола коробку.— Бери... Ну вот...— Сел рядом.— Ты на меня не сердишься?

— За что?

— За мой поступок в лесу... Ты прости, если я тебя обидел.

Усмешка разомкнула губы девушки:

— Ах, вот ты о чем... Оставь...

— Мне не хочется, чтобы ты обо мне дурно думала.

— Перестань об этом... Перестань, а то я уйду... Давай лучше пить чай.

— Подожди... Мне нужно выяснить, все нужно выяснить... Ты не скрывай, говори правду: ты любишь Павла?

— Нет,— резко ответила Катя, и между ее бровями глубже втиснулась морщинка. — Ну?

— Но ведь ты выходишь за него замуж?

— Кто это тебе сказал?

— Павел.

— Напрасно он так думает.

Пальцы девушки, развертывая бумажку конфеты, дрожали, ее тело казалось напряженным, как туго свернутая пружина. Резко отбросив на стол конфету, девушка наклонилась к Борису, пристально смотрела в его лицо. Он видел, как пылали ее щеки и в глазах вспыхивали и гасли беспокойные огоньки. Смущенный пристальным взглядом спросил:

— Ты что так смотришь?

Она не сразу ответила:

— Так... Что же, смотреть на тебя нельзя?

Инженер встал, заходил по комнате.

— Не понимаю я тебя... Странная ты какая-то... Не такой я думал тебя встретить. Ты как будто не доверяешь мне, боишься высказать, что у тебя накопилось за эти годы... А я-то думал: вот приеду на завод, встречу тебя, и опять мы будем хорошими друзьями, как в детстве...

Чувствуя, что он говорит не то, Борис швырнул в пепельницу недокуренную папиросу и, подойдя к Кате, тронул ее за плечо.

— Ну, проснись... О чем ты думаешь?

Перед его лицом туго затянутая кофточкой порывисто поднималась девичья грудь. Не поднимая головы, Катя скользила пальцами по темной юбке, оправляя складки, поглаживая колени.

— Проснись... Ну, проснись же!..

Внезапно руки девушки охватили его шею, и он услышал тихий шопот:

— Борька!.. Разве ты не видешь?.. Не Павла — тебя люблю... Ох, зачем я сказала?.. Ну, что тебе от меня нужно?

Покрывая ее лицо торопливыми поцелуями, он говорил:

— Катя... Родная!.. Я измучился... Ты не оставишь меня?.. Не уйдешь?..

— Глупый... Зачем спрашиваешь?..

Катя ушла от Бориса под утро. Инженер проводил ее до казармы. На востоке уже зеленело небо, глубокая тишина лежала над заводом и рабочим поселком. Плоскими громадами, как будто вырезанными из больших кусков картона, чернели на светлеющем небе заводские корпуса и трубы. С востока дул ласковый ветер, полный запахов березовой листвы и хвои. Еще не просыпались маленькие домики, и улица поселка была пуста и странно беззвучна. На крыльце казармы девушка глубоко вздохнула:

— Как хорошо!.. Тихо!..

Положив руки на плечи инженера, сказала:

— Что мы наделали, Боря?.. Как быть теперь с Павлом?.. Ты не бросишь меня, не обманешь?..

Инженер ответил шопотом, как бы боясь спугнуть тишину наступающего утра, спугнуть весеннюю радость, которой полны и он, и Катя:

— Павел поймет, не осудит... Катя, милая, ведь это сильнее нас... Мне сейчас легко и радостно. Я знаю: впереди много предстоит труда, борьбы, несчастий, но все это не пугает меня. Твоя любовь поможет мне довести работу до конца. Рабочие верят мне, им кажется: вот приехал инженер Шумов, свой человек,— и восстановит завод. Я не обману их, но я знаю: будут срывы, провалы в работе, много плохого, жуткого придется пережить... А с тобой, с твоей любовью — не страшно.

Лицо девушки было бледно, в провалах глаз лежали серые тени. Перебирая пальцами перекинутую на грудь косу, она сказала просто:

— Я не оставлю тебя... И тебе я верю.

Улыбнулась едва заметной улыбкой.

— Я пойду... Скоро придет со смены отец, мне нужно вернуться раньше. Ну, до свиданья, милый...

Простилась усталым поцелуем и ушла в казарму, осторожно притворив за собой дверь.

Ярче разгорался восток, в пламенеющем небе таяла большая утренняя звезда. У контрольных ворот чугунная доска пробила три, и в ответ ей за темными корпусами зазвенели разноголосые звоны.

7.

Березкин, возглавляя совет рабочих депутатов, взял на себя и функции рабочего контроля: расход материалов, отправка товара, выдача жалования рабочим производились только с его разрешения. Он вмешивался в каждое распоряжение коллегиального управления, и иногда казалось: председатель совета делает это нарочно, желая убедиться, подчинятся или не подчинятся его воле. И видя, что ему подчиняются, что без его совета и указания ничто не делается на заводе, Березкин и сам почувствовал свою силу и власть. Его походка из торопливой, развинченной изменилась в медлительную, важную. Ходил он, заложив руки за спину, закинув голову, как будто внимательно рассматривал в небе что-то видимое ему одному. И голос его и манера говорить изменились. Говорил он медленно, твердо выговаривая слова; разговаривая, смотрел не на собеседника, а в сторону от него. Он не подавал руки конторщикам и мелким служащим, а они, встречаясь с Березкиным, торопливо снимали фуражки, заискивающе улыбались. Табельщик был уверен, что рабочие любят его, доверяют ему. Только однажды уверенность эта поколебалась. Как-то проходя мимо казармы, он встретил ожигальщика Дудкина. Ефим дружески хлопнул председателя по плечу и протянул руку:

— Здорово, Березкин! Куда направился?

Председатель отступил на шаг, нахмурил желтые брови и, не подавая руки, проговорил сурово:

— Товарищ Дудкин, не забывайся!

Рабочие, сидевшие на скамьях у казармы, переглянулись и, зная вспыльчивый характер Ефима, затихли, ожидая, что получится из этой встречи.

Ожигальщик побагровел, сжал протянутую ладонь в кулак и, поднеся его к лицу табельщика, хрипло проговорил:

— А в морду хошь?.. Что ж ты, сволочь, рабочему руку стыдишься подать? За низость считаешь?.. И-ишь ты-ы!.. Насажали вас, дьяволов, на нашу шею!.. Что бельма-то выпучил?

Березкин побледнел и прежней развинченной походкой молча перешел на противоположную сторону улицы. Дудкин подошел к рабочим и долго матерно ругался, размахивая длинными руками.

Жил Березкин в старой деревянной казарме. Маленькая каморка, вонючий, полутемный коридор казались ему несоответствующими высокому его положению. Долго думал он над этим вопросом, наконец счастливая мысль пришла ему в голову. Табельщик немедленно отправился в кабинет управляющего.

— Ко мне? — спросил Лука Лукич и отложил в сторону бумаги.

Председатель милостиво протянул руку и, вяло ответив на почтительное рукопожатие, сел в кресло.

— К вам. Пришел поговорить о важном для меня деле. Вы, товарищ Хворостов, знаете, какая беспокойная у меня работа. Не только в совете

приходится заниматься, но и дома вечерами... Доклады разные готовить, отчеты... А в казарме какая работа: шум, гам, беспокойство... Так вот, желаю я переменить квартиру.

Лука Лукич осторожно вставил:

— Совершенно верно, Иван Иваныч, работа у вас беспокойная, усиленная... Только... где ж вам подыскать квартирку? Сами знаете, как у нас обстоит дело с жилищным вопросом. Сплошь и рядом в одной каморке по две семьи живут..

— Поищите. Я не для себя требую, а для пользы дела.

— Хорошо, Иван Иваныч, я подумаю. А может быть вы сами поможете в этом, укажите?..

— Могу. Например: чем у вас заняты комнаты в доме бывшего фабриканта?

— Там всего три комнаты и кухня.

— Знаю-с.

— В одной живет инженер Шумов, а две другие московское правление предложило не занимать, предполагая устроить в них...

Березкин, подпрыгнув в кресле, крикнул:

— Ерунда!.. Они там только предполагают, а занять все равно не займут. Нам ждать некогда, тут работа стоит, а комнаты пустуют. Вы совсем не считаетесь с советом рабочих депутатов.

— Позвольте, Иван Иваныч, причем тут совет?

— Не перебивайте, — жестко оборвал председатель.— Я требую, чтобы одна комната была предоставлена мне. Поняли?

Смотрел неподвижно установившимся взглядом в лицо Хворостова:

— Поняли?

— Иван Иваныч, для вас я все готов сделать, но в данном случае нужно снестись с правлением.

Березкин прищурил глаза, скривил губы.

— Вы это оставьте. Такую мелочь не можете сделать для меня... для совета. Не забывайте, что вы сами чуждый рабочим элемент и сидите здесь только благодаря поддержке совета.

Лука Лукич хрустнул пальцами, открыл рот, пытаясь что-то сказать, но табельщик добавил тише и значительнее:

— А вам известно, что говорят в поселке? Известно, что носятся слухи: будто бы завод с умыслом подожжен хозяином и что будто бы и вы в этом деле замешаны?

Лука Лукич поднялся с кресла, долго шевелил губами, как будто не мог выпихнуть завязнувшие во рту слова:

— Грех вам говорить так, Иван Иваныч, и... и стыдно... Я честно работал и... не верю, не верю, что есть такие слухи. Ложь это!.. Клевета!..

Слезы выступили на глазах управляющего. Правой рукой он шарил по борту сюртука и не мог найти карман. Наконец, вынув платок, он отер им лицо, судорожно скомкал, и опять начал слепо искать карман. С дрожащих, обмякших его губ слетали свистящие слова:

— Стыдно-с!.. Стыдно-с!.. Нечестно-с!..

Березкин подошел к окну и долго смотрел на грязный заводский двор, на кучи шлака и желтой торфяной золы, потом повернулся к столу и, глядя на Хворостова, спросил:

— Ну, как же?

Лука Лукич, перебирая на столе бумаги, перекладывая с места на место пресс-папье и карандаши, ответил сухо и твердо:

— Я вам сказал, товарищ Березкин: нужно снестись с правлением. Лично я ничего не могу сделать.

— Так-с... Очень хорошо! Больше ничего не нужно. Счастливо оставаться!

Подошел к столу, хотел еще что-то сказать, но, погасив на своем лице веселую усмешечку, сказал только:

— Так-с, — и быстро вышел из комнаты.

На следующий день Лука Лукич получил выписку из протокола собрания президиума совета, где предлагалось немедленно предоставить в распоряжение товарища Березкина одну из комнат квартиры фабриканта. А через день табельщик уже перебрался в кабинет Карпухина, рядом с комнатой, занимаемой инженером Шумовым.

8.

Павел возвращался на завод с гордым сознанием того, что вот он, рабочий, впервые выполняющий работу огромной важности, выполнил ее добросовестно и умело. Вслед за ним по железным дорогам шли вагоны и платформы, груженные необходимым для восстановления завода материалом. Представляя себе, как на расширенном заседании управления он сделает обстоятельный доклад о закупках и сделках, Павел не мог сдерживать радостной улыбки человека, выполнившего взятые на себя обязательства. Теперь его уже менее пугала предстоящая работа в управлении.

«Ведь не глуп же я, производство мне знакомо, и есть у меня желание честно и много работать. На первых шагах помогут Хворостов и особенно Борис Шумов. Старый друг не подведет, не выдаст».

И еще много думал Павел о Кате. Он представлял себе радость девушки, с которой она встретит его. Она увидит, что он, Павел Нечаев, способен не только на сумасшедшие порывы (таким порывом он считал свой поступок, когда бросился в горящий корпус закрывать железную дверь), но и на иную работу, требующую практической сметки, строгого расчета и напряжения умственных сил. Подъезжая в битком набитом людьми и мешками вагоне к станции, он мысленно рисовал себе картину встречи с Зориной. Вот он вбегает в казарму, торопливо здоровается с матерью и идет к Кате. Как вспыхнет ее лицо, как суматошно бросится она к нему навстречу, крикнет изумленно и радостно: «Павел, родной, приехал!..» Счастливая, будет смеяться, теребить руками его волосы, одурманит—

поцелуями, потом, успокоившись, начнет рассказывать, как тоскливо жила она без него и с каким нетерпением ждала его приезда.

Но все произошло не так, как представлял себе Нечаев.

На станцию поезд прибыл, опоздав на два часа. Не зная о приезде Нечаева, за ним не выслали лошадь. Павел пошел на завод пешком. Вечер был тепел и ласков. Перелески, опушенные молодой листвой, дышали запахом клейкой березовой горечи. Подсохнувшая проселочная дорога дымилась под ногами мягкой пылью и тоже, казалось, пахла пьяными соками земли. Туман в низинах разорванной вуалью кутал ржавые кочки болота и низкие засыпающие кусты. Молодой рогатый месяц тоненьким тусклым серпиком повис в темном небе над тихими полями. Все — и земля, и небо, перелески и туманы — казалось насыщенным весенней радостью и жаждой жизни. Но подходя к влажной стене хвойного леса, Павел не увидал в небе багрового зарева и понял, что горны не жгутся и завод встал. И уже не радостью повеяло от земли и неба, а беспокойством и тоской.

«Что-то делается сейчас на заводе?» — подумал Нечаев.

В рабочем поселке было необычно тихо. Почти во всех домиках потушены огни, только кое-где за белыми занавесками светились окна. Казарма еще не спала, но коридоры ее были пусты. Из кухни доносились глухие голоса мужчин и крикливый женский голос. Павел постучал в запертую дверь каморки, услышал кряхтенье и шопот матери, скрип кровати.

— Кто тут?

Узнав голос сына, мать откинула дверной крючок и, распахнув дверь, зашептала радостно:

— Приехал?.. Слава те, господи... Вот уж не ждала нонича! Ну, как съездил? Измучилась тут, тебя дожидавшись. Ну, как съездил-то?

Мать была в темносиней старенькой кофте, полосатой юбке, из-под которой торчали сухие, покрытые вздувшимися венами, ноги. Поправляя знакомыми движениями рук растрепавшиеся волосы, она бестолково металась по каморке, говоря:

— Устал, чай... Пить хочешь? Сейчас за кипятком схожу. А ты похудел. Ишь нос-то заострился, щеки-то ввалились.

Павел отказался от чаю, попросил приготовить ему постель.

— Верно, устал. Ты, мать, постели мне, а я сейчас схожу на кухню, умоюсь под краном, к Кате забегу. Я скоро.

— Ну вот, только приехал, а уж бежишь. Слова с матерью не скажет, скорей к девке.

— Успеем еще, наговоримся.

Каморка Зориных была не заперта. У стола, согнувшись, Максим подшивал валенок. Он взмахивал обеими руками, протаскивая дратву. Слабый свет электрической лампочки падал с потолка на желтую плешивую голову старика. Увидев Павла, Максим отложил сапог, снял с носа большие в медной оправе очки и поднялся с табуретки.

— Явился? Долгонько пропадал. Здорово, Павел Лександрыч.

Нечаев пожал руку старика и посмотрел на розовый полог, закрывающий кровать.

— Дома Катя?

Максим убирал в ящичек кусочки вара, дратву, шило, неторопливо говоря:

— А я вот делами занимаюсь, сбрую свою чиню. Подошью, подправлю и уберу. Зима придет, а у меня все готово.

— Раненько ты к зиме готовишься, лето еще не наступило.

— А как же: одно сделал — и ладно, за другое примусь.

Павлу послышалось, как тихо скрипнула деревянная большая кровать и колыхнулся розовый полог.

— Катя-то дома?

— Спит. А тебе нужно ее?

— Нужно. Разбуди.

Старик откинул край полога, согнувшись, похлопал ладонью по одеялу:

— Вставай, дочка... Проснись, Нечаев приехал, тебя спрашивает. Вставай.

— Отстань, — недовольно ответила девушка. — Ну, что тебе нужно?

Максим нагнулся ниже, зашептал что-то неразборчиво и тихо.

— Что? — переспросила девушка. — Завтра.

— Катя, это я, — громко сказал Павел и ближе подошел к кровати.

— Ох, — зевнула девушка, и Нечаеву почудилось, что зевает она притворно. — Иди сюда.

Максим подошел к столу, пошевелил пальцами в ящичке, посмотрел на парня и, поняв, что ему хочется остаться одному с дочерью, пошел из каморки.

— Ну, где ж ты? Иди, если уж разбудил, — снова позвала девушка.

Павел быстро шагнул к кровати и распахнул полог.

— Катька, ты что это меня мучаешь?

В розовой полумгле на белой подушке лежали черные космы девичьих волос. Пестрое ситцевое одеяло до подбородка покрывало фигуру девушки. Павел ладонями сжал ее голову и нагнулся к ярким, крепко сомкнутым губам.

— Оставь! — рванулась девушка и, выпростав из-под одеяла обнаженные до плеч руки, отталкивала Павла. — Не надо... Ну, не надо же... У меня болит голова.

Нечаев опустил протянутые руки, осторожно сел на краешек кровати. Тихо спросил:

— Ты как будто не рада мне?

Пряча под одеялом руки, Катя ответила:

— А тебе только бы целоваться, только это на уме. Обидно даже.

Под пологом было душно, едва ощутимо пахло пудрой, и Павлу казалось, что так знакомо и раздражающе пахнет тело девушки. Он молча

сидел, наклонив голову. Его удивила, обидела холодность Кати. Он чувствовал себя обокраденным в лучших своих желаниях. Девушка настороженно следила за каждым его движением, потом улыбнулась, и лицо ее снова показалось близким.

— Ты не сердись, Паша. Я нехорошо себя чувствую.

Нечаев вздохнул, провел ладонью по лбу.

— Ты какая-то чудная стала... Не хочешь поцеловать меня.

Он нагнулся и посмотрел в ее большие, холодные глаза.

— Катя!

— Нет, нет!.. Как тебе не стыдно? Ты только и ждешь от меня... Оставь!.. Пусти!..

И опять из-под одеяла мелькнули ее руки, отталкивая, закрывая лицо.

— Уйди!

Павел хватал непослушные горячие руки, открывая ее лицо. Одеяло спустилось с плеч Кати, белизна ее сорочки и смуглая кожа груди одурманили голову.

— Уйди!.. Павел!.. Я закричу... Ду... рак!

Сильным толчком она оттолкнула Нечаева и села на кровати, натягивая на себя одеяло, испуганными, широко раскрытыми глазами смотря в его лицо.

Павел отрезвел, встал и, все еще тяжело дыша, проговорил:

— Хорошо... Хорошо... Уйду...

Девушка наклонила голову, черные потоки волос закрыли ее лицо. Глухие рыдания поразили и испугали Павла.

— О чем ты? Вот глупая!.. Я не хотел тебя обидеть... Я, как только приехал, сейчас же побежал к тебе. Я думал обрадовать тебя... Вот глупая!.. Ты обиделась на меня? Ну, не сердись. Ну, не плачь.

Ему хотелось утешить девушку, и он погладил темные космы ее волос. Катя затряслась головой, отодвинулась и, прерывая рыдания, попросила:

— Уйди, Паша, милый... Мы после... после поговорим...

Павел ушел из каморки, полный смутного беспокойства, неясного ожидания чего-то нехорошего и злого.

9.

На следующий день Павла разбудил знакомый мужской голос, о чем-то споривший с матерью. Мать говорила шопотом:

— После придешь. Дай парню отдохнуть. Что ты какой беспокойный?

— Отдохнет. В баню ему сходить нужно. Иду я по коридору, слышу кто-то сказал: «Нечаев приехал» — ну, как тут не зайти.

Открыв глаза, Павел увидал Терентия. Горбун стоял у стола, в одной руке у него был узелок с бельем, в другой — зеленый березовый веник. Помахивая веником, точильщик говорил:

— Я его напарю — любо-дорого. В дороге-то насквозь пропылился. Первое это дело — в баньку сходить. — И, увидав, что Павел смотрит на него, заулыбался и, подойдя к кровати, ударил по одеялу веником. — Проснулся? Вставай, пойдем в баню.

Пока Нечаев одевался, увязывал в платок белье, мочалку, мыло, Терентий, не умолкая, говорил:

— Ну, достал материалов? Достал, это хорошо. Значит, строить начнете? Валяйте! В поселке только и разговору: когда приступят, когда построят?.. Паек-то вон как сократили: четверть фунта на день. Не разъешься. Народ весь кинулся землю копать, сажать картошку. Я, брат, такой огород отмахал, — диву даешься. Огородником заделался. Житье настало: погуливаю, посматриваю, как моя овощь ростет. Что? Дела̀-то? Дела богатые: праздник — с утра до вечера гуляем.

Силин говорил посмеиваясь, подергивая головой, как будто похвалялся: вот, дескать, такое тяжелое время, а я не унываю. Но за бойкими словами точильщика чувствовалось затаенное беспокойство, — оно смотрело из строгих его глаз, лежало в глубоких морщинах лба и на крутых, сдавленных горбом плечах.

Когда вышли из казармы, Терентий заговорил по-другому:

— Дела̀ — не хвали. Хлеб на исходе. Некоторые семьи голодуют. С ребятишками совсем горе: они ведь беспонятные, привыкли с утра до вечера с куском хлеба гулять, ну и просят. У меня за стеной только и слышишь: «Мамка, поесть!.. Мамка, хлебца!..» Рабочие беспокоятся: ну как не пойдет отдел? Которые с деревней связаны, те уж бросили завод, уехали. Они, брат, проживут, земля-матушка прокормит, а вот заводским туго приходится. Березкин, этот жару подсыпает: пустил слух, что управляющий негоден. Он, де, человек старого режиму, ему на рабочих наплевать. Недовольство управляющим пошло. Я и сам раздумался: может, и прав Березкин? Может, и верно, что Хворостову до нас дела нету? Верой и правдой служил фабриканту, такого не скоро переделаешь.

Оглянувшись, пододвинулся ближе к Павлу и, толкая локтем, зашептал:

— Березкиным-то тоже недовольны. Ты погляди, какую он силу забрал. Вот те и табельщик! Толкуют: меньшевик был, а теперь в большевики хочет записаться. Я намеднись с Никитиным по душам разговорился, поведал он мне, что и большевики Березкиным недовольны, — дознался. Ну, да разве его сковырнешь, — клещом впился... А недели две назад была потеха: Дудкин с председателем схватился у казармы. Ух и крыл его!.. Вот, кривой чорт, отчаянная башка, ничего не боится!

В бане Терентий залез на полок и в облаках пара исступленно хлестал себя веником, гогоча и покрикивая:

— Ух, важно!.. Ух, ловко!.. Поддай еще, мила̀й!.. Го... го... го!..

Красный, распаренный, с прилипшими к телу листьями, скатился с полка и, вылив на себя шайку холодной воды, подошел к Нечаеву.

— Только баней и спасаюсь. Жаром чахотку выгоняю, попарюсь— и легче. Лучше больницы помогает, право слово.

Рядом с Нечаевым, наклонившись над шайкой, худощавый человек, с резко выступавшими ребрами, мыл голову. Мыльная пена текла по его лицу, плечам: скрюченные пальцы ожесточенно скребли волосы.

Терентий толкнул коленом Павла и мигнул на сидевшего рядом человека. Нечаев не понял, что хотел показать своим толчком Силин, и только когда худощавый смыл с головы и лица мыльную пену, узнал в нем Березкина. Тяжело отдуваясь, председатель окинул мутным взглядом сидевших рядом с ним и вдруг заулыбался, протягивая мокрую ладонь.

— Здравствуй, Нечаев. Приехал? Ну, как, — все обработал? А? Вот и хорошо. Надо будет в совете твой доклад поставить. Теперь здесь принимайся за дела. Администратора у нас нет хорошего: управляющий дурака валяет, неподходящий для нас человек, а Шумов все больше по технической части. Да-а, вот еще что... — глаза Березкина широко раскрылись, а углы губ насмешливо изогнулись. — Вот еще что... Отойди-ка, Силин, мне по секрету нужно сказать.

Терентий взял шайку и пошел к крану за водой. Березкин ближе придвинулся к Нечаеву:

— Невеста-то — тю-тю!

— Как тю-тю? Чья невеста?

— Твоя, чудак ты этакий! Проездил невесту-то! Она теперь с Шумовым загуляла. Кажный вечер к нему ходит, до утра воркуют. Я ведь теперь в карпухинском доме живу, рядом с инженером. Мне все известно.

Павел почувствовал, как его тело обдало нестерпимым жаром, будто вылили на него шайку горячей воды. Так вот почему не хотела поцеловать его Катя! Вот почему она встретила его так холодно, плакала и просила уйти. Расплывчато мерещилось перед глазами лицо Березкина, клейкий его шопот растекался в жарком воздухе, хотелось выковырнуть пальцем застревающие в ушах грязные слова:

— За стенкой-то все слыхать... Приложишься к стенке: воркуют, ровно голуби. Кушетка у него стоит ста-аренькая. Проснешься: скрипит кушетка. Ну, прямо спать мешает. Постучишь им в стенку, — затихнут.

— А врешь ты все! — вскочил со скамьи Павел. — Постыдился бы сплетни разводить.

Табельщик засмеялся клокочущим смехом, будто полоскал горло.

— Забрало-о... Погоди, сам узнаешь... Ну, теперь и попариться можно. Пойдем похлещемся.

Захватив шайку и веник, Березкин полез на полок. Подошел Силин и, плеская на уродливую свою грудь пригоршнями воду, спросил:

— Чего он тебе плел?

— Так, глупости.

— Он так не говорит, а все с умыслом.

Наскоро вымывшись, Павел ушел из бани. Он шел быстро, наклонив голову, не смотря по сторонам. Не хотелось останавливаться и

говорить с рабочими, боялся в разговоре с товарищами увидать на их лицах ту же насмешливую улыбку, услышать те же злые слова:

— Невеста-то — тю-тю!

10.

Дома Павел пытался уложить в порядок растрепанные мысли. Медленно схлебывая с блюдечка чай, он рассуждал:

«Что плохого в том, что Катя ходит к Борису? Ведь и она, и он, и я — старые друзья, вместе росли, играли. В этих посещениях только Березкин может увидеть гадость, которой нет на самом деле».

Но все его рассуждения комкались грязной фразой Березкина: «Проснешься ночью, а кушетка-то скрипит»...

«Не может этого быть! — громко хотелось крикнуть Нечаеву. — Неправда!.. Катя не такая девушка, чтобы... А вдруг правда? — Воображение рисовало ему обнаженное, покорное тело девушки, ее поцелуи и ласки, страстный шопот в полутемной комнате. — А Борис?.. Как он мог решиться на такой поступок, зная, что Катя — невеста другого? Полюбили друг друга? В такой-то короткий срок? Нет, не может этого быть, наврал Березкин. Вот сейчас пойду в управление, все узнаю, все выясню»...

Павел торопливо пил чай, не слушая, что говорит мать, невпопад отвечая на ее вопросы.

Марфа замолчала, обиженно поджала губы.

Надевая фуражку, Павел вернулся к столу. Мелькнула мысль: «А что если спросить об этом мать? Она, наверное, знает». Но не спросил и, уходя, сказал только:

— Ты, мать, на меня не обижайся: дай с делами управиться, тогда и с тобой поговорю. Верно?

В управлении за письменными столами сидели Хворостов и Шумов. У стола Шумова стоял секретарь управления с раскрытой папкой в левой руке. Беря из папки бумаги, он клал их на зеленое сукно и, наклоняясь, объяснял содержание каждой бумаги. Борис размашистым почерком подписывал. Увидав Павла, он закивал ему головой и, пожимая руку, сказал:

— Сейчас я освобожусь. Садись, рассказывай, как съездил.

Хворостов придвинул Нечаеву кресло и, облокотившись на стол, заговорил:

— Удачно? А? Вижу, вижу, что справились. Один вагон с цементом и две платформы лесных материалов мы уже получили. Сметы и чертежи утверждены московским правлением. С будущей недели приступим к постройке. Тут у нас Фриц Карлович всю фарфоровую промышленность перевернуть хочет... Хе... хе!.. Верно: проекты его достойны внимания.

— Ну, вот и я освободился, — поднялся с кресла Шумов и подошел к Павлу. — Ночью приехал? Устал, наверное. Ты отдохнул бы сегодня, а на работу с понедельника.

Внимательно смотря в лицо Шумова, Павел думал:

«Невеста-то — тю-тю!.. Вот сейчас Борис выдаст себя. Это нарочно так громко он говорит, хочет скрыть свое смущение, отдалить минуту объяснения... Вот если бы здесь не было Хворостова, можно было бы прямо спросить Шумова: правду ли говорит Березкин?».

— Что ты такой угрюмый, болен что ли? Ты вот что, Паша, иди-ка домой, отдохни, а завтра мы поговорим.

— Нет, я ничего, — ответил Павел. — А отдохнуть пойду. На минутку забежал, сообщить, что сделал.

Достав записную книжку, он начал перечислять закупленные материалы, сроки отправки, расходы по поездке.

Управляющий кивал головой:

— Так, так... Это хорошо. Этого не достали? Жаль. Ну, как-нибудь выкрутимся.

Шумов слушал молча, что-то записывал в блокнот; когда Нечаев захлопнул записную книжку, сказал:

— Ты сегодня вечером зайди ко мне о делах поговорить. — Потом, как будто что-то вспомнив, быстро добавил: — Нет, лучше завтра утром, сегодня у меня есть спешная работа.

«Наверное о Кате хочет поговорить», — подумал Павел, и помимо воли у него вырвалось:

— Ну, как живет Зорина? Не видал еще я свою невесту.

Хворостов, отвернувшись, начал щелкать костяшками счетов, проверяя какой-то документ; он казался очень углубленным в свою работу. Инженер ответил не сразу, похрустел пальцами, притворно зевнул:

— Живет... Я иногда встречаюсь с ней, ко мне она заходит.

У Нечаева дрожали руки; не сдерживая себя, покраснев, он уставился злым взглядом в глаза Шумова.

— Новости у вас тут, говорят...

Шумов, неуверенно улыбаясь, положил руку на колено точильщика:

— Завтра мы обо всем поговорим, — и показал глазами на Хворостова, давая этим понять, что при нем неудобно говорить о Зориной.

— Ну, что ж, завтра так завтра... Ну, я пойду, буду нонче отдыхать.

У главных ворот Нечаев встретил Катю. Девушка, повидимому, возвращалась из харчевой лавки, в руках у нее были небольшой кусок черного хлеба и две селедки, завернутые в серую бумагу. Она шла не спеша, поглядывая в небо, где в голубом просторе летали три снежнобелых голубя. Один из них быстро забирался вверх, потом сверкающим комком кувыркался вниз и, казалось, вот-вот разобьется он о ржавую крышу казармы, на которой несуразно длинный, с шестом в руках, стоял ожигальщик Дудкин. Перейдя улицу, Катя остановилась и, прикрывая куском хлеба от солнца глаза, смотрела на играющих голубей. Улыбка раскрыла ее губы глаза радостно блестели. Она не заметила, как подошел к ней Нечаев.

— На голубей любуешься? Ишь какие штуки разделывают.

Девушка опустила руку, солнечный свет, ударив в ее лицо, заставил .крыть глаза. Когда она вновь распахнула ресницы, Нечаев увидал, 'о глаза Кати смотрят настороженно и как будто даже испуганно.

— Что ты сейчас будешь делать?.. Пойдем в лес погуляем. Я сегодня ободен, отдыхаю.

Он старался говорить беспечно и весело, но в голосе проскальзыла дрожь, и пристальный его взгляд смущал девушку.

— Нет... нет... Мне некогда. Стряпать надо, полы мыть, потом в ню, — ведь сегодня суббота.

— А вечером что ты будешь делать?

— Вечером тоже занята.

— Чем? — настойчиво спрашивал Павел. — Чем ты будешь занята?

— Мало ли чем!..

— Катя!.. Ты... Я тут слышал... Не знаю, верить ли...

Она повернулась и хотела уйти, но Павел крепко сжал ее руку выше ктя и, нахмурившись, шепнул:

— Слушай, Катя, нам нужно объясниться... Слышишь?.. Ты смотри. сам не знаю, что̀ сделаю, если ты.... Понимаешь?

Искаженное злобой лицо точильщика испуга́ло девушку.

— Пусти мою руку... Больно... О чем нам нужно говорить?.. 'сти!.. Ну, хорошо, вечером встретимся, пойдем в лес. Я зайду за тобой.

— Не обманешь?

— Как тебе не стыдно так говорить? Ты какой-то бешеный стал.

— Ладно, вечером жду. Смотри, если обманешь...

Круто повернувшись, пошел вдоль улицы.

Весь день Павел бродил за поселком, в лесу. У березового перелеска лго смотрел на множество больших и маленьких клочков земли, огороженх частоколом и плетнем. В огородах на влажной и жирной земле зеленела лодая ботва. «Рабочие чуют недоброе, — подумал Павел, — ишь сколь- нагородили. Знать, и вправду тяжелое время наступает. А я проез- ı, опоздал... Чем жить буду?..» Махнув рукой, скривил губы. «Пустяки, эживу... Что-то скажет мне вечером Катя?» Объяснение с девушкой залось ему гораздо значительнее и насущнее, чем забота о завтраш- ı дне.

Вечером он нервничал, ходил по каморке, часто выглядывал в кори-): не идет ли. Итти к ней он не хотел: «Подумает: гоняюсь, сама придет».

Катя не шла. Он подходил к окну, смотрел на улицу. Уже темнело. зеленом полусвете вечера увидал, как Катя перешла улицу и скрылась воротами завода.

«К нему пошла... Нет, наверное, в баню».

Напрягая память, старался вспомнить, был ли в руках девушки злок белья. Иногда ему казалось, что узелок был, а иногда он отчетзо вспоминал, что Катя шла без узелка, свободно размахивая руками. терпение его все возрастало, он даже подумал: «Пойду встречу ее на

дороге к бане». Но Катя вышла из ворот, и рядом с ней шел Борис. Они свернули влево и пошли вдоль улицы. Павел близко пододвинулся к окну и долго смотрел им вслед. От горячего дыхания запотело стекло, помутнели на улице корпуса и дорога. Уж не видно было инженера и девушки, а Павел все стоял у окна. Сердце беспокойно колотилось, он ни о чем не думал, была одна только все поглощающая мысль:

«Значит, Березкин прав... Березкин сказал правду...»

11.

С большим опозданием, очень нерегулярно, начали поступать на завод материалы. Один вагон с железом, самый необходимый для восстановления сгоревшего отдела, пропал, — его не находили, несмотря на десятки заявок и телеграмм, отправленных по всем дорогам. Железнодорожный транспорт, изношенный, забитый мешочниками, работал с перебоями, через силу, и, казалось, близок день, когда на железнодорожных путях заглохнут умирающие паровозы, недвижимо встанут разбитые вагоны. В рабочей массе ходили фантастические слухи о крушениях поездов, умышленной порче путей и подвижного состава. Многие верили, что есть какая-то сила, тайно и плодотворно работающая по разрушению транспорта. Рабочие, собираясь кучками в коридорах казарм и на улицах, горячо спорили о советской власти, надвигающемся голоде, заводе. Размахивая руками, исступленно стуча себя в грудь, кривой ожигальщик кричал:

— Братцы, да што жа это?.. Долго ль это продолжаться будет? Когда же конец-то? Петлю вам на шею затягивают, а вы молчите! Посмотрите, как жить-то мы стали!

Если в кучке рабочих находился Терентий Силин, — спор разгорался яростней. Терентий, втянув голову в плечи, побагровев, накидывался на Дудкина:

— Чорт!.. Сатана кривая!.. Что ты, окаянная твоя душа, палки в колеса вставляешь?!. Сладко жилось тебе у Карпухина?

— А то не сладко: я ситный каждый день ел, а теперь куска черного не до сыти лопаю.

— Молчи!.. Я не хуже тебя знаю, как у Карпухина жили. Я вот чахотку нажил, сдохну скоро!.. А кто виноват? Не знаешь? А-а-а, не зна-аешь?.. Помирать буду, а на старое несогласен!..

Ожесточенные вспышки спора кончались тем, что горбун, багровея, начинал биться в припадке кашля; сверкая злыми глазами, он грозил кулаком и уходил, согнувшись, покачиваясь на тонких ногах.

Борис Шумов видел: одним только можно наладить дело — обеспечить рабочих хлебом. С большим трудом ему удалось получить два вагона муки и сельдей. У главных ворот вывешено было объявление: постройка и оборудование машинного отдела начинается с понедельника. Начнут работу механический и строительный отделы. Все работающие

по восстановлению завода будут ежедневно получать паек: фунт хлеба и два фунта сельдей, остальные рабочие — по четверти фунта хлеба. И в понедельник слесаря, токаря, каменщики и плотники вышли на работу. Они не спрашивали о размере своего жалования: пачки разноцветных кредиток, получаемых за труд, были ничего не стоящими бумажками, фунт хлеба — вот гарантия того, что они будут жить. И когда вскоре выдача жалования совсем прекратилась, никто не пожалел об этом.

Ответственным руководителем работ управление назначило Фрица Карловича. Ежедневно в восемь утра Беренс аккуратно являлся к сгоревшему корпусу. Прямыми, твердыми шагами обходя полуразрушенные стены, он отдавал распоряжения десятнику плотничьей артели, технику и слесарям. Потом, заложив руки ,за спину и широко расставив ноги, говорил:

— Работайте. Как я сказал. К обеду приду. Посмотрю.

В первые дни работ химика боялись: всегда безукоризненно одетый в серый костюм, отлично выбритый, неразговорчивый, он казался нелюдимым и строгим. При его появлении торопливее работали, меньше отдыхали. Однажды на место работ Беренс пришел на час раньше обеденного перерыва. Рабочие, отдыхавшие на куче бревен, не заметили, как он подошел сзади.

— Отдыхаете?

Каменщики и плотники быстро вскочили с бревен.

— Только сели, Фриц Карлович... Работаем мы изо всех сил, надо и отдохнуть.

Улыбка чуть тронула тонкие губы химика.

— Верно. Отдохнуть надо. Отдыхайте.

В этот свой приход Беренс пробыл в корпусе до перерыва работ, и до перерыва рабочие сидели, дожидаясь, когда начальник скажет:

— Ну, теперь идите работать.

Но он не сказал этого.

С того дня при химике рабочие часто отдыхали, и он ни разу не прерывал их отдыха. О нем говорили:

— Начальник хороший человек, не мучает рабочих.

Получилось так, что без Фрица Карловича, понукаемые руганью механика и десятника, слесаря и плотники работали быстрее, а когда приходил Беренс, — они отдыхали. Работа, вначале закипевшая, пошла медленнее, с развалкой, с отдыхом.

Механик приходил в управление, жаловался на падение дисциплины, на лень и грубость рабочих. Беспомощно разводя руками, он говорил:

— Ну, что я поделаю, — свобода! Раньше прикрикнешь на них — начнут работать, а теперь прикрикнешь, а они матюгом пустят. По моему мнению, Фриц Карлович — плохой администратор. Так нельзя работать, с таким отношением к делу не скоро оборудуешь сгоревший отдел.

Борис Шумов успокаивал механика, советовал не прикрикиванием заставлять мастеровых работать, а убеждением в необходимости скорейшего пуска завода.

Владимир Николаевич в ответ махал руками и уходил обескураженный. Его возмущало и то обстоятельство, что Беренс часто отпускал рабочих с работ. Стоило кому-нибудь попроситься у химика на один или два дня сходить в деревню за хлебом, картошкой, — химик спрашивал:

— Нужно?

— Очень нужно, Фриц Карлович. Сами знаете: работа наша тяжелая, на фунте хлеба не вынести.

— Если нужно. Ступай.

К начальнику часто обращались с такими просьбами и не получали отказа.

Но больше всего поразил механика следующий случай. По проекту Беренса он изготовил части новых прессов, затратив на эту работу две недели. Принимая работу, химик долго стоял над железными пластинами, что-то обдумывая, потом сказал:

— Не годится.

— Как не годится? — испугался механик. — Что вы, Фриц Карлович? Возьмите циркуль, сами промерьте, — в точности по вашим чертежам сделано. Я не виноват, если...

— Вас не обвиняет никто. Я придумал. Лучший проект. На днях дам.

— Да, как же так? Работы-то, материала сколько затрачено! Я за каждый гвоздь дрожу, а тут...

— Я знаю. Что делаю. Я хочу сделать лучше. Для рабочих. И завода. Да.

Иногда Лаптеву приходила в голову мысль:

«А что если Беренс умышленно дезорганизует рабочих и затягивает работы?»

Но эта мысль казалась настолько нелепой, что механик пугался, как она могла возникнуть в его сознании.

12.

Всегда и везде была мысль о Кате. Павел с мучительной болью вспоминал прежние, казавшиеся такими радостными и яркими, дни. На закоптелых стенах обгорелого корпуса, на бумагах в управлении часто выплывал как будто сотканный из тумана образ девушки. Он видел ее радостно улыбающейся, с толстой косой, перекинутой на грудь, видел плачущей, прикрытой пестрым одеялом в розовой полумгле опущенного полога. Он ощущал запах скипидара на бумагах, отчетах и сметах. Неимоверно трудной казалась ему работа, и часто вечерами, сидя в каморке, он с отчаянием думал, что он не годится для работы, на которую выдвинуло его общее собрание рабочих, и в то же время чувствовал: если бы Катя была

с ним, — он напряг бы все свои силы, ее любовь заставила бы его работать, преодолеть все трудности. Даже если бы только объясниться с ней! Но Зорина избегала объяснений, старалась не встречаться с ним. Порой ему казалось, что он ненавидит девушку и если бы она умерла,— огромная тяжесть свалилась бы с его тела и исчезли бы сумасшедшие мысли, затуманивающие сознание.

Нечаев замечал, как снисходительно, но с ласковой улыбкой обращался к нему Хворостов. Он чувствовал, что управляющий видит его никчемность, неумение приняться за дело. В управлении и выше, в московском правлении заводов Карпухина, его терпят только как представителя рабочих. Несколько раз инженер Шумов приглашал Нечаева к себе, но Павел не приходил, избегал объяснений.

«Что может он мне сказать? — думал Нечаев. — Будет объяснять, что любовь выше человеческих сил и возможностей, что он не виноват в том, что полюбил Катю. Это я знаю и без него».

С Борисом у него установились сухие официальные отношения. Павел не искал его помощи, избегал ее. Ему казалось, что помощь и советы Бориса — это плата за отнятую девушку.

На заводе ходили сплетни о Зориной. Эти сплетни волновали, беспокоили. Павел знал, что Катя уже совсем перебралась в квартиру фабриканта и не скрывала своей связи с Борисом.

Порой Нечаеву казалось, что он не живет, а спит, мучимый тяжелыми сновидениями. Он ждал, что вот кто-то или что-то встряхнет его, прогонит кошмарные сны — и снова простой и ясной покажется жизнь.

Он часто ходил на постройку, подолгу смотрел на кладку стен, на плотников, тесавших бревна, устанавливающих стропила. Он сознавал, что нельзя в этом строительстве быть чуждым, что дело идет не только по восстановлению своего завода, но и по восстановлению страны. Нельзя работать холодным и безучастным, нужно загореться, закипеть, и тогда только — порывом, горением миллионов людей — можно чего сделать. Но, сознавая, он не мог переломить себя, прогнать гнетущие думы.

Работы хотя и медленно, но двигались вперед: отремонтировали стены машинного отдела, стучали на крыше кровельщики, и механик уже устанавливал в отремонтированном помещении трансмиссию. Предварительные работы заканчивались, но впереди было самое трудное: конструирование и сборка аппаратов. Многие из них, как, например, пресса, не могли быть изготовлены в механическом отделе. Заказы были даны на специальные заводы, но они не выполнялись, оттягивались, и, наконец, пришло извещение: заказы не могут быть выполнены.

Из Москвы часто приезжали комиссии, заседали в кабинете управления. Во время заседаний подавались морковный чай, тонко нарезанные ломтики черного хлеба и селедка. Члены комиссии торопливо и жадно опустошали тарелки.

На этих заседаниях Павел чувствовал себя ненужным, лишним. Его спрашивали только о настроении рабочих, добивались его согласия на продажу фарфора, закупку материалов. Все остальное делалось помимо него.

13.

Катя была счастлива, ее не беспокоили остановка завода, голод, слухи о гражданской войне; ей казалось, что она живет в каком-то светлом и радостном сне. Все то, о чем она мечтала в ранней своей юности,— девичьи мечты о неведомом женихе, который, явившись в старую казарму, унесет ее в иную жизнь, как царевич сказочную золушку,— теперь воплотилось в жизнь. Как будто в груди Кати Борис зажег яркий огонек, и он горел, насыщая тело радостью. Девушка крепко зажмуривала глаза и видела голубые, желтые и красные точки, быстро мелькающие в темноте; ей казалось, что это искры от костра, полыхающего в ее груди.

Вечерами, забравшись с ногами на кушетку, Катя, кутаясь в большой пуховый платок, смотрела, как Борис работает. Она молча, внимательно оглядывала его фигуру и всегда находила нечто новое, чего не замечала раньше. То увидит она маленькую родинку около уха, то по-новому спустившуюся прядь светлых волос, то по-иному сверкнет шелк его галстука. Она терпеливо дожидалась той минуты, когда Борис окончит работу, аккуратно сложит на столе бумаги и, отодвинув тяжелое кресло, подойдет к кушетке. Тогда можно взлохматить его волосы, поцеловать родинку и молча наслаждаться счастьем.

Иногда так внезапно изменившаяся жизнь пугала девушку:

«А что будет впереди? А что если Борис бросит меня, обманувшись в своих ожиданиях? Он говорит, что я необыкновенная девушка, не похожая на других, а ведь я такая же, как и все. Он говорит: «Ты помогаешь мне работать, твоя любовь заставит меня преодолеть все препятствия»... А ведь я ни чем не помогаю ему. Он просто одурманен нашей близостью, его пьянят мои ласки. А что будет потом, когда любовь завянет, а ласки станут привычными? Борис уйдет... А я?.. С каким злорадством будут насмехаться надо мной подруги, каким презрением встретит казарма».

От этих мыслей холодный пот выступал на лбу, и сердце замирало. Она представляла себе злые и довольные усмешки на лицах женщин: «Выше нас задумала быть, за инженера схватилась,— обожглась».

Катя крепко стискивала зубы, удерживая рыдания. Оставаясь одна в большой комнате фабриканта, она металась из угла в угол, тосковала. В один из таких приступов отчаяния и тоски застал ее Борис, поздно вернувшись с завода. Порывисто бросившись ему навстречу, Катя крепко сжала его руки и вдруг опустилась на кушетку и заплакала.

Инженер бросил на стол портфель и, не снимая фуражки, встревоженный, нагнулся над девушкой.

— Что с тобой? Что случилось? У тебя был Павел? Да? Что он сделал? Ну, говори же! Что ты молчишь?

Он отирал своим платком ее слезы, ласково гладил пушистые волосы, утешая:

— Ну, перестань, успокойся!.. Расскажи, что произошло.

Видя, с какой нежностью и беспокойством он ухаживает за ней, Катя почувствовала, что подходящий момент настал, что сейчас она все выскажет ему и этим вечером должно решиться ее будущее. С разгоревшимся от слез и волнения лицом она быстро встала с кушетки и отошла к окну, твердо бросив:

— Нет, все это нужно оставить!

— Что оставить? О чем ты говоришь?

— Все... все, что мы натворили. Я должна куда-нибудь уехать. Ты не понимаешь? Ты все дни на работе. Я живу только вечерами, когда вижу тебя... А днями?.. Ведь я как в темнице живу: не могу выйти погулять, навестить в казарме отца...

— Почему? Кто тебе запрещает?

— Да неужели ты не знаешь, как смотрят на меня в поселке? Не слыхал, что обо мне говорят: любовница инженера, проститутка...

— Катя! — громко сказал инженер. — Что ты говоришь? Как ты могла подумать?

— Не я это говорю, я это слышу... И разве... разве это не правда? Что я для тебя?

— Жена.

— Невенчанных жен у нас на заводе по-другому зовут.

Шумов подошел к девушке и, обняв ее одной рукой, подвел к кушетке.

— Садись, поговорим... Я так счастлив был все это время и так закружился в работе, что не думал о будущем. Лично я стою выше заводских предрассудков: если я живу с тобой, то значит ты моя жена. Для меня это ясно. Если же наши с тобой отношения по-другому истолковываются в рабочей среде и тебя это волнует, то нужно что-то сделать, прекратить грязные сплетни... А сделать можно только одно: обвенчаться.

Улыбаясь прижал к себе девушку.

— Ведь тогда прекратятся все сплетни? Не правда ли?

Катя молчала, в ее груди вновь загорелся радостный огонек, и часы отчаяния и тоски показались глупыми. Как могла она сомневаться в честности и любви Бориса?

Этот вечер показался Кате самым уютным и ярким из всех их вечеров. В этот вечер они решили обвенчаться через две недели в соседнем селе. Теперь в ответ на усмешки она всем может говорить, что через две недели ее свадьба.

14.

Смотритель Иван Семеныч впервые за время своей болезни вышел из казармы, дошел до машинного отдела и сел в сторонке на бревна. Он с изумлением смотрел по сторонам: за три месяца, протекших со дня

пожара, на месте развалин, чадящих гарью, встало одноэтажное здание оно вплотную примыкало к трехэтажному зданию и в соседстве с ним казалось широким, приплюснутым. Закоптелые стены под крышей пестрели розовыми заплатами свежих кирпичей, в провалах окон кое-где уже были вставлены рамы. Новая пристройка, возведенная наполовину, примыкала к корпусу, около нее на лесах суетились каменщики. Яркий солнечный свет заливал землю, тепло грел в стеклах окон и короткими вспышками сверкал на топорах плотников. Пахло известью, землей и смолистым ладаном от золотой груды щепы. Дробный перестук топоров колол погожий день на голубые мелкие куски, а солнце,— как только замолкали топоры,— вновь спаивало куски в огромное радостное целое.

Когда Иван Семеныч шел на завод, он не думал, что так далеко продвинутся работы; теперь же, смотря на незнакомое, широкое здание, он почувствовал, как тоскливо сжалось сердце и безвольным, странно обмягшим сделалось тело.

«Строят...— думал старик.— Вот уж и корпус почти готов. Как же так? Что ж это такое? Сами строят, без хозяина... В казармах голодают, чуть ни до драки злобятся, а... строят... Пожалуй, к зиме закончат, пустят отдел... Без хозяина...»

Лицо Ивана Семеныча жалко сморщилось, на глазах выступили слезы; корпус, леса, груды бревен расплылись, затуманились.

«Да, да... без хозяина... Для чего ж тогда?.. Для чего же?..»

Подошел Ефим Дудкин; наклоняя набок голову, он по-петушиному смотрел на леса. Был Дудкин тих и покоен, не кричал, не волновался.

— И ты приплелся? — спросил он Ивана Семеныча.

— А?.. Да, да, пришел посмотреть. Вишь... строят.

— Строят... черти!.. У меня голова кругом идет от этой волынки. Не разберусь. По всем видам выходит,— все к дьяволу лететь должно, а тут...— Не окончив, Дудкин сплюнул и с прежним злородством сказал:— Как-то оборудуют отдел? Где-то возьмут барабаны, бегуны, пресса?.. Поглядим.

Трясущимися руками Иван Семеныч отер глаза и, с трудом поднявшись с бревен, пошел домой. Ему казалось, что кто-то бесшумно и настойчиво идет сзади. Тяжело дыша, будто нес на спине огромную тяжесть, старик добрался до своей каморки и лег на постель. Он чувствовал себя разбитым, беспомощным. Шептал молитвы, ища в них успокоения, но и молитвы не помогали,— тоска и отчаяние переполняли сердце.

Вечером, бодрый и чем-то возбужденный, пришел сын. Присев на край постели, он спросил отца о здоровьи, ласково потрепал по плечу.

— Ничего, поправишься, опять работать начнешь. Ты еще поработаешь для нас.

Иван Семеныч тихо спросил:

— Для кого это... для вас?

— Для завода, рабочих.

— А-а-а... да, да...

Закрыл глаза, левая щека его задергалась.

— Ты что? Опять хуже? Говорят, ты сегодня на стройке был. Ну, чего тебе там понадобилось? Лежал бы и лежал... А я к тебе с новостью. Помнишь, ты меня женить собирался? Ну, вот я и нашел невесту.

Ждал ответа. Отец лежал неподвижно, порывисто поднималась его грудь, из полуоткрытого рта, шевеля редкие усы, тяжело вырывалось дыхание.

— Ну, что же ты мне скажешь, что посоветуешь?

Иван Семеныч, закрывая глаза, тихо сказал:

— Так, значит... еще поработаю... Для вас?..

— Ты все о заводе. Я тебе о другом говорю...

Смотритель перебил сына:

— Ты иди, иди... Спать хочу, отдохнуть... После придешь... Да... да... После придешь...

15.

Весь поселок уже знал: Зорина выходит замуж за инженера Шумова. Девушки-живописки, скрывая чувство зависти, поздравляли Катю. Пожилые женщины, разносившие о Зориной грязные сплетни, теперь встречали ее ласковыми улыбками, заискивающе говорили:

— Какая ты счастливая, Катюша: какого жениха подцепила! Не загордись, смотри. Помнишь, как без матери жила? Всей казармой мы тебя растили. Не забывай.

И хотя Катя помнила в детстве совсем не ласку казарменных жителей, а колотушки и ругань, — она радостно принимала каждое поздравление, и ей казалось, что все женщины любят ее и принимают в ее судьбе горячее участие. Она часто ходила в казарму, навещая отца и Маню Петрову, с которой помирилась. Одно только затуманивало ее радость: Павел. Вот если бы и с ним помириться, быть друзьями,— как легко началась бы новая жизнь. Изредка она встречала Нечаева, и всегда при этих встречах тревожно билось сердце. Встречаясь, Павел проходил мимо, будто не замечал Зорину. Однажды она встретила его за воротами завода и, неожиданно для самой себя, подошла к нему.

— Паша... подожди...

Нечаев остановился, не смотря на Катю, начал свертывать полоску газетной бумаги для цыгарки.

Девушка заговорила, волнуясь:

— Паша, милый, не сердись на меня... Поверь: я дорожу твоей дружбой... А ты так изменился ко мне... Ты как будто ненавидишь меня... Паша, пойми!.. Ну, что же теперь делать?.. Милый, если бы ты знал, как я мучаюсь, когда думаю о тебе...

Она пристально смотрела в похудевшее его лицо, замечала в нем новые, жесткие черты.

Набивая махоркой свернутый крючок, дрожали пальцы Нечаева.

— Ну что же ты молчишь? Ну, говори же...

Чиркнув спичку, Павел закурил и шагнул в сторону. Катя схватила его за руку.

— Павел!.. Так нехорошо... Ты знаешь... ты видишь, что я... Павел!..

Нечаев грубо вырвал свою руку, и девушку испугал его взгляд: в прищуренных его глазах она увидала холодную ненависть.

— Ты ничего не хочешь мне сказать?.. Ну, что ж, не надо... Не надо...

Она боялась расплакаться, крепко сжав губы, ждала, что скажет Павел.

Он заговорил спокойно:

— Что я тебе могу сказать? Ты сама не девочка. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Паша, не то... не то говоришь... Ты пойми... Если не было бы Бориса,— тебя любила бы, твоей женой была бы... А Борис... О нем я с детства мечтала. Вспомни, что ты еще в детстве дразнил меня: «За Шумовым бегаешь, за реалистом гоняешься». Вспомни... Павел, я тебя тоже люблю, по-другому только, как друга...

Лицо Нечаева передернулось, он скомкал в пальцах недокуренную цыгарку и, нагнувшись к Зориной, шепнул:

— А иди ты со своей любовью к...

Похабное ругательство пошатнуло девушку, она побледнела и быстро пошла к заводским воротам, каждую секунду ожидая, что Павел догонит ее, ударит сзади и, бросив на землю, начнет топтать ногами.

16.

Завод с огромными его корпусами, сотнями точильных машинок, аппаратов, станков, с неумолчным рокотом, гудками и тяжелым трудом был дорог Нечаеву. Павел вырос в рабочей среде, с двенадцати лет пошел в точильный отдел и, день за днем втягиваясь в работу, крепкой любовью полюбил шумные мастерские, свою машинку и ежедневный свой труд. Измена Кати притупила эту любовь, тяжелым грузом придавила сознание, жизнь без любимой девушки казалась Нечаеву пустой, ненужной. Иногда он думал: «Стоит ли работать? Для кого?..» Но в тот вечер, когда в каморку неожиданно пришел механик, Павел почувствовал, как попрежнему вспыхнула его любовь к заводу. В тот вечер он как бы проснулся от тяжелого сна и по-новому взглянул на жизнь завода и на свою собственную.

Владимир Николаевич Лаптев пришел поздно, казарма уже укладывалась спать, в коридорах и каморках затихали голоса и плач детей, пустели коридоры. Павел курил у окна, тонкой струйкой пуская дым в открытую фортку. Теплый ветерок гнал дым обратно, сизым туманом разбрасывая по комнате. Марфа у стола вязала чулки. В ловких ее пальцах блестели и сухо постукивали спицы. Павел встретил механика удивленным взглядом, бросил в фортку цыгарку и, отойдя от окна, спросил:

— Что случилось?

Мать положила на стол чулок, встала, молча поклонившись. Механик протянул руку старухе и, когда она неумело и смущаясь пожала ее, сказал, обращаясь к Павлу:

— Извините, Павел Александрович, что так поздно. Такое, знаете ли дело,— одного вас хотел застать. Поговорить нужно.

В тихих словах механика почувствовалось, что пришел он сказать что-то необычное и важное.

— Присаживайтесь, будем говорить,— придвинул стул Павел и, заметив, что Лаптев, потирая руки и медленно присаживаясь к столу, не начинает разговора, сказал матери:

— Дай нам одним поговорить.

Марфа суетливо подобрала с пола упавший клубок шерсти, вышла из комнаты.

Владимир Николаевич твердо посмотрел в лицо Нечаева.

— Я пришел к вам, Павел Александрович, как к представителю рабочих в нашем управлении. Вам должен быть дорог завод. С вами пришел посоветоваться. Мучает меня мысль, что неладное творится в нашей работе.

Механик кашлянул в ладонь и, продолжая упорно смотреть в глаза точильщика, заговорил тише, почти шопотом:

— Только пусть разговор этот останется между нами. Если я ошибаюсь, то пусть никто об этом не знает, а если я прав, то что-то немедленно нужно сделать. Вот в чем дело. Я вижу, что наши работы по восстановлению завода идут крайне медленно.

— Это правда,— кивнул головой Нечаев.

— Дисциплина среди рабочих с каждым днем падает. Фриц Карлович смотрит на это сквозь пальцы. С такой дисциплиной и с таким отношением к делу мы далеко не уйдем. Но не это беспокоит меня. Дисциплину можно поднять, нужно только членам управления почаще ходить на постройку. Беспокоит меня другое... Мне кажется, что Беренс умышленно тормозит работы.

— Как умышленно? — Павел грузно шевельнулся на заскрипевшем стуле.— Ведь это... Вы соображаете, что говорите?..

Механик мягким взмахом руки заставил Павла замолчать.

— Я беру на себя тяжелую ответственность, говоря так о ближайшем своем сотруднике по работе. Это похоже на клевету... Но, поверьте,— я двадцать лет прослужил на заводе, я сжился с ним, завод мне так же дорог, как и вам... Я долго колебался, прежде чем притти сюда... И я пришел с доказательствами.

— С какими доказательствами? — затаив дыхание, Павел напряженно ждал.

— Прежде всего: новая пристройка к машинному отделу. Сейчас все работы переброшены на эту пристройку, а почти отремонтированный корпус стоит мертвым. Расширение отдела,— это хорошо, но не в такое

время, какое мы переживаем. Нам нужно скорее пустить завод, хоть два пресса да несколько барабанов установить, чтобы скорее масса пошла. А пристройку потом можно докончить... Это — первое... Затем: по чертежам Фрица Карловича я сконструировал новые пресса, и когда работа была сделана, он заявил мне, что пресса не годятся, что он передумал, и дал другие чертежи. А вы знаете, на сколько это затягивает работу? А вот еще доказательство. Трансмиссия для отдела готова, Беренс все время оттягивал ее установку, а когда я твердо сказал ему, что слесарям нужно развязаться с этой работой и получить новую,— вы знаете, что он заявил мне?

— Ну? — Нечаев жадно хватил грудью воздух и сжал челюсти так, что на скулах выступили и заиграли желваки.

— Он заявил мне, что и трансмиссию нужно переделать и установить ее не на той стене, к которой мы пригнали кронштейны, а на противоположной. А это значит: в кирпичной стене нужно пробивать новые дыры, вновь заливать цементом кронштейны и ждать, пока цемент затвердеет. Другими словами затянуть работы еще на неделю... Вот теперь и судите: прав я или не прав. Я говорил об этом с инженером Шумовым, с Хворостовым,— они не верят, им кажется, что я не в ладах с химиком.

По спине Нечаева пробежали мурашки, хрустнули крепко стиснутые пальцы, и, все еще боясь верить в то, что услышал, он спросил растерянно:

— Какая же цель химику задерживать работы?

Механик ответил внушительно:

— Его цели я не знаю, я не о цели говорю, а о том, что вижу... что происходит.

В наступившем напряженном молчании Павел старался привести в порядок взвихренные мысли, но мысли были непослушны, вспыхивали и гасли, порождая новые, как жаркий костер буйные искры.

Владимир Николаевич, вставая, оборвал молчание:

— Вот все, что я хотел вам сообщить... Потом дисциплина... Если все это совместить, то над этим стоит хорошенько подумать. Только еще раз прошу: весь этот разговор пусть останется между нами. А вам я очень советую повнимательнее приглядеться к Фрицу Карловичу... Ну, простите, что побеспокоил...

Павел протянул механику руку.

— Спасибо вам, Владимир Николаевич, что вы так... по-хорошему... с таким доверием пришли ко мне. Я буду настороже, поговорю об этом с Шумовым. Обещаю все расследовать и проверить. Вы ни с кем не говорили о Беренсе?

— Нет. Заявлял только в управлении, когда он забраковал мои пресса.

— Ну и хорошо, и не говорите больше никому. Я сам возьмусь за это дело.

По уходе механика Нечаев долго и напряженно думал. Все, что он услыхал, казалось ему таким чудовищным, что он боялся этому верить.

И в то же время в глубине его сознания, не переставая, билась упорная, беспокойная мысль:

«А что если это правда?»

В этот вечер он не вспомнил о Кате, — ее заслонили громады заводских корпусов.

17.

Борис снисходительно улыбнулся, когда Павел сообщил ему о странном поведении химика.

— Это, наверное, предположение механика. Владимир Николаевич привык покрикивать на рабочих, и сейчас ему кажется, что работа идет из рук вон плохо. Теперь нужно по-иному подходить к мастеровым: не окриком, а убеждением заставлять работать. О пристройке ты прав. Лично я такого мнения, что в первую очередь нужно закончить ремонт и оборудование основного корпуса, а потом уже заняться пристройкой. О прессах я знаю, но ты пойми: Фриц Карлович опытнее нас, нам у него учиться надо. Ты ведь знаком с его проектами. Если их провести в жизнь, то какой переворот произведем мы в фарфоровом производстве! Конечно, на это нужны годы, этим займемся мы после, когда окрепнем и твердо встанем на ноги.

— А трансмиссия? Для чего перебрасывать ее с одной стены на другую?

— Я ничего не слыхал о трансмиссии.

— Пойдем сейчас на постройку, на месте обсудим. Кстати ты посмотришь, как работают, какая дисциплина.

Внутри корпуса, под высокими подмостками, на которых лежали тяжелые подшипники и валы, ходил, заложив руки за спину, Фриц Карлович. Рабочие сидели на куче железного лому, лениво разговаривали. Увидав входиших в корпус членов управления, они не спеша поднялись и разбрелись в стороны. Беренс остановился, приподняв фуражку.

— Почему гуляют слесаря? — спросил Павел.

— Ждем плотников. Перенести подмостки. Вон к той стене.

Замечая в глазах химика холодные насмешливые огоньки, Павел чувствовал раздражение, говорил грубо, сухими короткими фразами.

— А зачем это понадобилось?

— Вы — не специалист. Вам трудно. Разобраться. Так будет лучше.

— Почему же об этом раньше не подумали?

— Это вытекло. Из хода работ.

— Позвольте — мягко заговорил Шумов,— вы мне ничего не говорили о переброске трансмиссии...

— Я только что. Собирался к вам. За этим.

— Ведь мы уже условились с вами, Фриц Карлович: если нужны какие-либо изменения в утвержденном проекте,— вы будете сообщать об этом управлению и только с его санкции изменять намеченный план работ.

•

— Да.

— И я вас очень прошу познакомить меня со всеми вашими новыми соображениями относительно оборудования отдела... И в частности о трансмиссии.

— Хорошо. Чертежи у меня дома. Разрешите, я принесу.

— Пожалуйста, мы подождем здесь.

Прямыми шагами, твердо ставя ноги в цементный пол, Беренс пошел к выходу. Когда высокая его фигура скрылась за кирпичной стеной, Павел спросил:

— Ну что?.. Я говорил тебе.

Шумов неопределенно ответил:

— Да... Сейчас мы увидим.

Он внимательно осматривал стену, его губы шевелились, будто что-то неслышно шептали. Павел влез на помост, оглядел блестящие валы, тяжелые подшипники, кронштейны. Под тяжестью его тела прогибались доски, и один из подшипников, лежащий на краю помоста, тихо покачивался, грозя сорваться вниз. И вдруг у Павла онемели ноги, стены корпуса зашатались, перед глазами всплыл багрово-тусклый туман, и в нем он видел только огромный подшипник и под ним зеленую фуражку Бориса. Безумные мысли испепеляли рассудок:

«Толчок ногой и... Несчастный случай... Никто не узнает... Катя сказала: «Не будь Бориса,— была бы твоей женой...»

Он хотел отойти от края помоста, но тело не подчинялось его воле, хотел закрыть глаза, чтобы не видеть внизу зеленого пятна фуражки, но веки были непослушны. Он с ужасом замечал, как правая его нога дрогнула, медленно приподнялась и вдруг резко толкнула подшипник. В то же мгновение Павел крикнул:

— Берегись!

Подшипник с грохотом ударился о пол, и вслед за ним с помоста спрыгнул Нечаев. Шумов, бледный, с трясущимися губами, не отрываясь, смотрел на чугунное тело, холодно и твердо лежащее на полу.

Павел, захлебываясь словами, что-то говорил, кого-то обвинял, в чем-то оправдываясь сам.

— Хорошо, что ты крикнул...— Борис провел ладонью по лицу, как бы снимая прилипшую к коже паутину.— Хорошо, что ты крикнул, а то бы...— Его плечи передернулись.— Фу, чорт возьми, в дрожь бросило...

— Он на самом краешке стоял... Вижу: качнулся медленно... Ну, сейчас, сейчас грохнет...

— Я услыхал твой крик, отскочил инстинктивно... И чего тебя понесло на помост?

Лицо инженера постепенно оживало: порозовели щеки, светлели потускневшие глаза, будто спадала с них мутная пленка.

— Ты больше меня испугался,— тверже заговорил Шумов.— Чего ты дрожишь? А вон и Беренс возвращается. Послушаем, что он скажет.

Павел отошел к стене и сел в пролет окна. Его тело продолжало биться мелкой дрожью; подавляя ее, он крепко стискивал челюсти. Мутным взглядом Павел бесцельно скользил по стенам и пролетам окон. Ему казалось: в глазах насыпан мелкий песок. Часто моргая, Павел старался прогнать щекочущее раздражение глаз. Постепенно успокаиваясь, он увидал, как под помостом, присев на корточки, Шумов и Беренс разложили на коленях чертежи и, согнувшись, тыкали в них пальцами. Ловил обрывки долетающих до него фраз.

— Я все-таки не понимаю,— говорил Шумов,— для чего это нужно?

— Будет свободнее, — твердо отвечал химик.

— Не думаю.

— Сейчас это не видно. На деле вы увидите.

Они заговорили тише, ниже согнулись над чертежами. Борис быстро писал в блокноте, что-то подсчитывая. Потом встал и, пряча блокнот в карман пиджака, сказал:

— Этого делать не нужно. Трансмиссия останется здесь. Я вам говорю это от имени управления. Я и вот товарищ Нечаев.

Химик молчал, нервно затягиваясь дымом папиросы.

— Потом я вас прошу ознакомить меня с ходом всей работы. Пожалуйста. Лучше, если не будет недоразумений между вами и управлением.

Не подавая руки Беренсу, Борис быстро подошел к Нечаеву.

— Пойдем, Павел.

Дорогой Шумов сосредоточенно молчал и, только подходя к конторе, сказал тихо:

— Да, ты прав: это подозрительно. В чем дело, я не понимаю...

18.

Фриц Карлович до рассвета ходил по комнате. Наружно он был спокоен, только крепко сомкнутые губы и упрямый блеск глаз выдавали напряженную работу мозга. Несколько дней назад Фриц Карлович видел необъятно много: заводские корпуса, тысячи рабочих, вагоны фарфора, превращающиеся в потоки денег, и себя — хозяином и руководителем этих корпусов и рабочих. Не веря в конечную победу революции, он терпеливо дожидался того недалекого времени, когда завод вновь перейдет в руки фабриканта и вскипевшая рабочая волна спокойно и послушно вольется в корпуса и казармы, как река после буйного половодья. Теперь же он чувствовал, что намеченный им план начинает рушиться и вместе с ним рушатся блестящие перспективы будущего. Вспомнились отрывки из письма Карпухина:

«Завод сгорел, без работы туго придется рабочим... Возможно, они попытаются восстановить его, но при теперешней разрухе, неустойчивом политическом положении эта попытка заранее обречена на неудачу. Наша задача: всеми мерами тормозить восстановление завода, вызывать возмущение рабочих... Разгорается гражданская

война, и в ней погибнет безумное дело, начатое кучкой захватчиков... Нужно, чтобы рабочие почувствовали несостоятельность новой власти, не шли на фронт, бунтовали...»

Беренс успешно проводил политику фабриканта: задерживал работы, изменял проекты, умело нарушал дисциплину. Все шло спокойно и неминуемо должно было привести к ожидаемому результату. Вчерашний день поколебал эту уверенность, заставил насторожиться.

«Неужели у них возникли подозрения? — думал Фриц Карлович, твердыми шагами линуя комнату. — Что делать теперь? Послушной и плодотворной работой усыпить подозрения? Напортить еще более, исковеркать все сделанное и скрыться? Уничтожить чертежи и расчеты?»

И вдруг Фриц Карлович резко остановил размеренный шаг, зашевелил бровями, крепче сжал тонкие губы. Он вспомнил, что некоторые чертежи и проекты находятся у Шумова. Напрягая память, с отчетливой ясностью припомнил: Борису Ивановичу переданы чертежи литейной машины и новый проект оборудования сгоревшего отдела. Нервно хрустнув пальцами, Беренс снова зашагал по комнате.

«Пользуясь моими чертежами и расчетами, Шумов сумеет наладить работу и довести ее до конца... Взять чертежи обратно... Сказать, что я вновь хочу пересмотреть их, внести некоторые изменения... Теперь не поверят».

Он жалел, что так поздно получил письмо Карпухина. Если бы на месяц раньше! Как на экране кинематографа, видел Беренс обновленное здание машинного отдела, внутри него кипит работа. Тонны массы подъемниками передаются в точильные мастерские и там превращаются в миллионы чашек, тарелок, изоляторов. В горновом отделе необъятные утробы горнов наполняются высокими колоннами капсюлей и бандур, из них хрупкий фарфор, прокаленный адским жаром, выйдет блестящим и твердым... И вот уже в темном подвале разжигают топки. На крыше трехэтажного корпуса из мертвых труб валит густой, пепельно-серый дым и с ревом вылетают огненные флаги.

— Нет, нет... этого нельзя допустить!.. — прошептал Фриц Карлович, нервно комкая в пальцах потухшую папиросу.

19.

Лука Лукич Хворостов жил тревожно, неуверенно, каждый день ожидая больших для себя неприятностей. Его беспокоили изменившееся к нему отношение рабочих, напряженность в работе восстановления завода и больше всего неприязнь председателя совета рабочих депутатов. Он знал, что Березкин в казармах и общежитиях сеет упрямые и злые свои мысли — и мысли эти попадают в благоприятную среду, прорастают и множатся, расцветая недовольством, недоверием и скрытым пока возмущением. Но Лука Лукич не ожидал, что так быстро случится смутно ожидаемое несчастье.

На очередное заседание совета вызвали всех членов управления, и в напряженном неловком молчании Березкин зачитал коллективные заявления рабочих горнового, механического и точильного отделов. В заявлениях говорилось о грубости управляющего, о верной его службе фабриканту и о том, что Хворостов чужд рабочему классу. Было похоже, что все эти заявления написаны под диктовку Березкина, но в каждом из них была правда: да, он, Хворостов, грубо обращался с рабочими, верой и правдой служил хозяину.

Когда председатель поставил вопрос об отводе управляющего из членов управления, Терентий Силин попросил слова.

— Я ничего плохого не видал от управляющего, — сказал он, — но я тоже подписал заявление о снятии его с должности. Ненужный он нам человек, чужой. Не могут нами править люди, которые у хозяина пятки лизали. Теперь наша власть, рабочая, — пусть же сами рабочие и управляются. Про других членов управления я не говорю, — они наши: Нечаев рядом со мной в точильной работал, Шумов — сын нашего рабочего. Этим мы верим, а управляющему — нет. — Взмахнув длинной и цепкой рукой, Терентий закончил: — Много говорить не буду: снять! Не снимете — хуже будет.

— Снять! Не снимете — хуже будет! — громким эхом повторил Петька Рушнов и закричал, не слушая звонка председателя: — Ты вот сказал, что плохого ничего не видел от Хворостова, а я видел. Мальчишкой я был, в живописной работал... Подожди, чего трезвонишь!.. Дай сказать. Пришел к нам в отдел управляющий, вот этот самый, а я блюдца нес... Хотел посторониться, зацепился за корзину и грохнул блюдца об пол. Всего-то десяток был, а Хворостов за это, — голос Рушнова зазвенел непримиримой ненавистью, — за это по щекам меня отхлестал да в счет жалования бой поставил. А я всего-то семь рублей получал. Эти пощечины и сейчас у меня на щеках горят... Снять!.. В сторожа его!..

Лука Лукич сидел, широко расставив ноги, и, наклонив голову, смотрел в грязный заплеванный пол. В сухом горячем тумане плыли кипевшие негодованием голоса, и яркими вспышками вырывались из них колючие и злые слова:

— Снять!.. Не нужно его!.. Убрать!..

Иногда, поднимая голову, Хворостов видел возбужденные лица и нелепо размахивающие руки; устремленный на него хитрый взгляд Березкина наполнял сердце беспокойством и нудной тоской.

Кричали долго и бурно, вспоминая тяжелые дни прошлого, свое унижение, сытую жизнь фабриканта и управляющего. И когда уставшие от крика голоса один за другим умолкли, Березкин кивнул в сторону Шумова:

— А ты, товарищ Шумов, что скажешь? Расскажи нам, как теперь работает Хворостов. Может быть, мы ошибочку делаем, отзывая его?

Борис подошел к столу. Колючие взгляды присутствующих шли за ним и неподвижно остановились на его лице, когда инженер негромко заговорил:

— Вопрос, поставленный на сегодняшнем заседании, застал меня врасплох... Я не думал об этом... и даже не знаю, что вам сказать... Вы знаете: я не жил на заводе и потому не знаю, хорошо или плохо обращался с рабочими Хворостов. Я могу сказать свое мнение только о теперешней работе управляющего.

— Вот, вот, — закивал головой председатель, — нам это и нужно.

— Но и об этом я едва ли могу сказать что-нибудь ценное и важное. Восстановление завода, чертежи, сметы, проекты, поездки в Москву — отнимают почти все мое время. Я по-горло завален работой, мне некогда смотреть за другими, да и не имею права. Все мы, члены управления, равноправны. Мне кажется: Хворостов добросовестно выполняет возложенную на него работу. Больше... право, я затрудняюсь сказать... У меня нет никаких данных...

— Немного, — усмехнулся Березкин. — Может быть, товарищ Нечаев побольше скажет?

Павел встал, и все взгляды перекинулись на него.

— У меня нет опыта в новой моей работе, и не мне судить о Хворостове, но я знаю, что говорят о нем в казармах. Управляющим недовольны, его не любят, ему не доверяют.

— Так... Так... — Березкин два раза стукнул карандашом о стол, напрягая внимание присутствующих.

— Это недоверие и недовольство, очевидно, вызваны прошлым. Может быть, Хворостов и хороший работник, но при таком отношении к нему работать нельзя. Я разделяю мнение рабочих: пусть лучше он уйдет, не разжигая страсти.

Лука Лукич почувствовал, что он должен что-то сказать, какими-то словами рассеять недоверие и ненависть, которыми полны сидящие на скамьях рабочие. Неуверенно подняв руку, он попросил слова:

— Дайте... Дайте мне сказать...

— Говорите, — буркнул Березкин.

— Я сидел... слушал... Да... Меня упрекают в грубости, в преданности фабриканту... Может быть, это и было... Да, было... Но теперь, видит бог, я работаю честно и добросовестно... И вам, господа...

— Здесь господ нету, — строго поправил председатель.

— Виноват... И вам, товарищи, стыдно выбрасывать человека, столько лет прослужившего на заводе. Сколько сил положил я в работе, сколько пережито за это время! На моих глазах росли корпуса, увеличивалось число рабочих, была построена узкоколейка на торфяные болота, были...

— Говорите по существу, — застучал карандашом Березкин.

— Виноват, я сейчас кончу... И вот... были построены... — волнуясь, Лука Лукич не находил нужных слов и, чувствуя, что говорит он наивно и неубедительно, махнул рукой. — Стыдно, гос... товарищи... Больно мне это слышать...

Неверными шагами подошел к двери и долго не мог нащупать скобку.

Дома Лука Лукич бесцельно шагал из комнаты в комнату, подходил к большому хрустальному графину, и не утоляя жажды, стакан за стаканом пил воду.

На следующий день Хворостов получил выписку из протокола заседания совета. Не прочитав, он бросил ее в корзину под письменный стол.

20.

Был на заводе обычай, введенный еще отцом Акима Никитича и строго соблюдаемый управляющими: в день свадьбы каждого рабочего молодым подавались карпухинские рысаки. Хвосты и гривы их были убраны бумажными цветами и лентами, сбруя унизана бубенцами, под дугой привязан яркий платок. В щегольской коляске, в звоне бубенцов рысаки мчали молодых в церковь и обратно. После венчанья кучер получал стакан водки и привязанный к дуге платок, брать деньги кучерам было запрещено.

Свадьбы в рабочем поселке справлялись пьяно и бесшабашно. В каморке жениха горланили песни, плясали под гармошку, били посуду. Распаренные и пьяные выкатывались из казармы и пестрой, шумной толпой ходили по улицам. Впереди чинно шли молодые, а сзади гости выкрикивали частушки, вихлялись в неуклюжем плясе, размахивая над головами платочками. Захлебываясь и подзадоривая, сыпала гармошка «Барыню» и «Камаринского». На углах улиц и переулков толпа останавливалась, «дружка» доставал из кармана бутылку и рюмки, вытаскивал заткнутый за штаны подносик и, быстро установив на нем рюмки, плескал в них водку и подносил гостям. Гости выпивали, утирали платками и рукавами потные лица, на несколько минут замолкал гам, и, передохнув, толпа опять катилась по улицам, сопровождаемая мальчишками. Шум и бестолочь свадеб на несколько дней оживляли тихую, придавленную нуждой жизнь рабочих. И чем бесшабашнее и пьянее была свадьба, тем дольше вспоминали о ней рабочие.

Подобной свадьбы ждал поселок от инженера Шумова. Подруги Зориной готовились к «вечеру», соседи Ивана Семеныча ждали приглашений. Но все произошло не так, как этого ожидали. Молодые венчались не в церкви поселка, а в соседнем селе, приглашений на свадьбу никто не получил. Это разочаровало и обидело поселок.

В день свадьбы под окнами домиков и у казарм толпились женщины и девушки, дожидаясь, когда вернутся из церкви молодые. Разочарованно говорили:

— По-новому задумали справлять: от венца в каморку к отцу, попьют чайку — и все.

— Без вина какая свадьба!

— Лошадей и то пожадничали цветами убрать.

Кривой Ефим ходил от одной кучки людей к другой, рассказывал о своей женитьбе:

— Мы не инженеры — и то четыре дня пьянствовали. Мать ты моя родная, что было! Закабалил себя свадьбой, полгода опосля долги заживал. Ну зато и трахнули! На свадьбе мне и глаз вышибли. Восемнадцать лет прошло с тех пор, а я и посейчас не знаю: кто это ухитрился.

По улице, мимо казармы, ходил гармонист Васька Ершов. Он был обижен тем, что его не пригласили на свадьбу, и теперь, показывая свое искусство, без отдыха играл на гармошке.

В полдень к казарме подкатили лошади, их окружила молчаливая и внимательная толпа. Инженер помог Кате сойти с тарантаса и, поддерживая под локоть, повел в казарму, провожаемый десятками любопытных взглядов. Сзади молодых шли Иван Семеныч и Маня Петрова. Когда они поднимались по ступеням крыльца, из толпы вырвался женский голос:

— Неужто Манька с пузом-то в церковь таскалась? Вот бесстыжая!

Петрова остановилась, и все увидали, как внезапно побледнело и судорожно передернулось ее лицо. Она схватила Ивана Семеныча за руку и, мутным взглядом обводя толпу, спросила:

— За что это? Что я плохого им сделала?

— Иди... Иди... — толкал ее к двери старик.

— Эх вы, сволочи! — громко крикнула Маня и, гордо вскинув голову и прикрывая ладонями живот, неуклюже протиснулась в дверь.

Вечером Борис и Катя пошли в дом фабриканта. От бестолкового дня, бесцеремонного любопытства женщин, поздравлений рабочих у инженера остались какая-то неудовлетворенность и смутное раздражение. «Как все это глупо и ненужно, — думал он. — Разве нельзя было совместную нашу жизнь начать без церкви, лошадей и поздравлений?» Но, заглядывая в лицо Кати, видел в нем тихую успокаивающую радость.

— Ну вот, и хорошо, что все это закончилось, — сказал он, войдя в свою комнату.

В комнате было темно, только мертвый свет уличного фонаря широкими голубыми полотенцами лежал на письменном столе и кушетке. Неясно белела широкая кровать, незадолго до свадьбы купленная Борисом.

Катя тихо прошла по ковру и села на кушетку. Голубое полотенце легло на ее белое платье.

— Сейчас я включу свет, — сказал Борис, подходя к столу.

Нет, нет, не нужно...

Голос Кати прозвучал неуверенно и робко.

— Что с тобой? — обернулся инженер. — Тебя тоже утомила вся эта сумотоха?

— Нет... Да, тоже утомила...

Раздеваясь, инженер бросал взгляды на белую фигуру женщины, застывшую в углу кушетки. Он чувствовал, как торопливо стучало его сердце, дрожали пальцы, расшнуровывая штиблеты. Нетерпеливо спросил:

— Ну, что же ты не раздеваешься?

Катя медленно встала, подошла к столу. Ленивыми движениями рук она сняла вуаль, осторожно положила ее на сукно и долго смотрела на стекла окон, где голубой свет фонаря отпечатал прутики и листья тополя.

Борис не понимал, почему Катя медлит. Ему не приходили в голову мысли о том, что прошлые ее ласки были безрассудны, опьянены страстью. Страсть приходила неожиданно, обезволивала сознание, и в неожиданности ее прихода не было времени рассуждать о стыде. Сейчас же должно произойти что-то иное, большое и необычное.

Катя мельком взглянула на постель и мужа. Белые подушки, заранее приготовленные, показались ей бесстыдными, и Борис, спокойно раздевающийся у постели, был иным, и при нем, при этом Борисе, мучительно стыдно было обнажать тело.

— Ну, что же ты? — повторил инженер.

Женщина подошла к постели и, как будто на что-то рассердясь, быстро рванула пуговицы кофты. Одна пуговица оторвалась и, тихо шелестя по полу, укатилась под кушетку. Торопясь и нервничая, Катя срывала платье, и когда Борис, сбросив штиблеты, хотел подойти к ней, испуганно зашептала, закрываясь одеялом:

— Подожди, дай мне раздеться... Не смотри...

Инженер подошел к столу, поднял лежащую на столе вуаль, тихо улыбаясь, поднес к губам и вдруг резко отбросил в сторону. Беспокойными пальцами начал перебирать бумаги и книги. Он не слыхал, как скрипнули под тяжестью тела пружины матраца, не слыхал голоса Кати:

— Теперь можно, я легла.

Он продолжал торопливо шарить по столу. Резко щелкнул выключатель, и яркий электрический свет залил сукно. Инженер открывал ящики стола, выбрасывая из них чертежи и бумаги. В его торопливости было что-то необычное, испугавшее женщину. Приподняв над подушкой голову, она спросила:

— Ты что ищешь?

— Ты ничего не убирала с моего стола?

Голос Бориса был холоден и сух.

— Нет, я никогда ничего не трогаю на твоем столе.

Одна из книг упала на ковер; стопка бумаги, сброшенная со стола, разлетелась по полу.

— Что случилось? — Катя спрыгнула с постели и начала суетливо поднимать с пола чертежи, спрашивая:

— Не это?.. Вот не это?..

— Нет... Да нет же!.. — раздраженно отвечал Борис, и его уже не возбуждало полуобнаженное тело женщины. — Нет, не эти...

Перерыв ящики стола, инженер сел на кушетку и начал надевать штиблеты.

— Ты куда?

— Спрошу Полю, не убирала ли она. Если Поля не видала, — пойду к Павлу... Что?.. Ах, оставь пожалуйста!.. Скоро приду...

21.

В день свадьбы Шумова Павел до вечера бродил в лесу. Ему не хотелось в этот день встречаться с Борисом и Катей.

«Ну что же, значит тому и быть», — думал Нечаев, с гордостью замечая, что измена девушки не волнует его, как прежде. Ему даже казалось странным, как это он месяц назад не находил себе места, мучимый ревностью, следил за Катей, настороженно прислушивался к сплетням и пересудам казармы, а сейчас думает о девушке спокойно, как о давно прошедшем, полузабытом.

Одно только воспоминание волновало его: высокий помост, блестящие валы, кронштейны, тяжелый подшипник, качающийся на краю помоста, и внизу зеленое пятно фуражки.

«Как я мог тогда толкнуть подшипник!.. Хотел убить человека!..»

Он старался заглушить это воспоминание другими бодрыми мыслями:

«Борис не узнает об этом... А я всегда и во всем буду помогать ему. Пожертвую собой, если это будет нужно. Пусть он спокойно работает, восстанавливает завод».

Закрывая глаза, Павел видел ожившие громады корпусов, мастерские, насыщенные движением и гулом.

«Вот для чего нужно жить!»

Бесцельно шагая по корявым лесным дорогам, отдыхая в зеленой траве перелесков, он не замечал времени и очень удивился, когда, выйдя на опушку, увидал низко склонившееся над болотом солнце. Над желтыми камышами протянулся туман, в краснолесьи теплым золотом горели верхушки сосен, березовые перелески гуще задышали запахом листвы и трав. Очень быстро багровый круг солнца опустился за щетину камыша, облака загорелись красными и желтыми огнями. Павлу показалось, что за болотом вырывалось из-под земли буйное пламя горнов и, медленно угасая, лизало раскалившийся край неба. Он снял фуражку и, подставляя лицо под теплый ветер, пошел к поселку.

В коридорах казармы у дверей каморок сидели женщины, говорили о свадьбе. Увидав Павла, замолчали, только одна спросила задорно:

— Ты что же на свадьбе-то не был? Аль не позвали? — и удивленно раскрыла рот, когда Нечаев, весело улыбнувшись, ответил:

— Помалкивай, тетка.

В каморке матери не было. На столе был приготовлен ужин: кусок черного хлеба и три крупных картофелины. Увидав хлеб, Павел почувствовал голод и, подсев к столу, начал чистить картошку. Он не обернулся, когда громко стукнула за его спиной дверь, подумал, что вошла мать.

— Павел!

Резко повернувшись, Нечаев увидал Бориса, без фуражки, в пальто, наспех застегнутом на две пуговицы. Лицо инженера показалось серым, как бы покрытым тонким слоем пыли, и необычайно взволнованным.

Первою мыслью, мелькнувшей в сознании Павла, было: что-то случилось с Катей. Но он ничего не успел спросить. Борис подошел к столу и, грузно опустившись на табуретку, сказал глухо:

— У меня пропали чертежи.

Нечаев, недоумевая, зашевелил бровями и положил на стол кусок хлеба.

— Какие чертежи?

— Проекты и расчеты Беренса.

Холодные мурашки побежали по спине Павла. Он побледнел от мысли, что теперь завод не будет восстановлен, и все еще боясь верить в то, что услыхал, спросил, тяжело выталкивая изо рта слова:

— Ты думаешь, их взял...

Борис кивнул головой:

— Фриц Карлович. Поля отперла ему мою комнату, когда я венч... отсутствовал. Чертежи лежали на столе.

Лицо Павла густо покраснело, он стиснул пальцы в кулак и, громыхнув им о край стола, крикнул:

— Какого же чорта ты их не спрятал?! Я давно говорил тебе: не доверяйся этому мерзавцу.

Борис беспомощно пожал плечами.

Нечаев вскочил с табуретки, сорвал с вешалки фуражку.

— Пойдем. Я заставлю его вернуть чертежи. Вот гад! Да и ты тоже хорош!

До квартиры Беренса шли молча. Павел шагал быстро широкими твердыми шагами. Борис едва поспевал за ним.

Окна дома, в котором жил Беренс, были темны. Шумов постучал в дверь. Долго никто не отзывался.

— Не отпирает.

— Отопрет, — упрямо ответил Павел и загрохотал кулаком по фарфоровой дощечке с надписью: «Инженер-химик Фриц Карлович Беренс».

За дверью послышались шаркающие шаги, женский голос спросил:

— Кто там?

— Отоприте. Это я, инженер Шумов. Нам нужно видеть Фрица Карловича. На заводе случилось несчастье.

Павел стоял согнувшись, наклонив набок голову. Взглянув на него, Борис подумал: если дверь не отопрут, — Нечаев вышибет ее плечом.

В замке щелкнул ключ, на крыльцо вышла рябая Степанида.

— Фриц Карлович... — заговорил Шумов.

— Их дома нету, — перебила Степанида, — уехали.

Нечаев, выпрямляясь, хрипло спросил:

— Когда?

Женщина нагнулась, почесала ногу и, зевая, ответила:

— Нынче днем.

(Окончание следует.)

Троглодиты.

(Рассказ).

А. Сотсков.

1.

Целый день шли саперы в пыли сначала калужского, а потом тульского шоссе. Среди них были украинские хлеборобы, вологодские маслоделы, ярославские видаки, аргуны — владимирские плотники, — калязинские валялы, акали, окали, каптюжили... Почти все были одеты в гимнастерки защитного цвета, многие только что вернулись с японской войны, по замирению, со скатками через плечо, с котелками у пояса, в бескозырках, сбитых на затылок.

Шли целый день, и не было общего, артельного, срывались говор и шутки, — только озабоченность в морщинках на лбу, в остановившемся взгляде была одинакова у всех, да въедчивая пыль разбитого шоссе одинакова над всеми; через час-полтора делали привалы где-нибудь на скате овражка, «вершины» по-калужскому, или вдоль сизо-зеленой овсяной полосы. Скатку под голову — и смотрят в небо, изжелто-голубое июльское небо, с падымью. Жуют сухари, у кого что есть. Кто-нибудь спросит, ни к кому не обращаясь:

— А сколько еще до Алексина-то?

— Верст пятнадцать, — ответит конвойный, и завяжется короткий срывный разговор:

— Потрешь подошвы-те.

— В Манчжурии не такие концы отделывали.

- Там к дому бежали, к Расее ближе.

— Вот тебе и Расея!

— Я бабе письмо написал: жди, хозяин вертается...

— Повернули тебя, братишка. Пиши теперь другое... От сопок, мол, манжурских к дому ближе было, чем от Калуги, алибо от Тулы...

— А как же теперь, братцы, «экономические»-то? [1]). Господа-ахвицеры поделят, счастлива голова?

---

[1]) Остаток хозяйственных сумм воинской части.

— А тебе зачем они, «экономические»-то? Ежели бы к бабе вертался, обнову купить, в хозяйстве что справить... А теперь квартира тебе казенная, харч, одежда — все окромя свободы... Будешь «аннушкой» [1]) потолки на гауптвахте подпирать...

— Окромя свободы, — подхватит кто-нибудь нето с жалобой, нето с укоризной и ударит смаху оземь саперной бескозыркой. У скуластого вятича мокнут от слез глаза... А сосед запивает жахлой водицей сухарь и ворчит:

— Не бисер слезы-то, в поднизь не свяжешь...

В Алексине погрузили сапер в товарные вагоны, двери задвинули; в каждом вагоне по три конвоира. Трясли целую ночь, до ветру не пускали, только если уж невмоготу, — с руганью и толчками. В Москву приехали на рассвете, когда восток горел турмалином... Откуда-то дошел слух радостный, что бастуют булочники.

Целый день калился состав на запасном пути. Запрещали петь, громко говорить. Махорки не было; не было людей вблизи. Только стрелочники и смазчики иногда проходили. Попыталась было торговка с воблой подползти к вагонам, да получила прикладом по заду, завыла по-сучьи и замшилась в канаве за водокачкой...

В полночь, когда небо прорешетило звездами, приказали саперам одеть «шинеля в рукава», пересчитали, и пошли опять, ломая ноги в болячках и осапинах, по разъезженному булыжнику. Когда миновали центр, стало темнее на улицах, дома пошли меньше, деревянные... Запахло навозом, трактирными «суточными» щами, лежалой закуской. Возы съезжались на базарную площадь, прикрытые брезентом; бабы шли с пустыми решетами и мешками. Прогремели гуськом «золотари», куклами прыгая на облучках...

Наконец запотелые саперы остановились перед громадными железными воротами; за воротами, за высокой железной изгородью, белесили корпуса; было тихо, только где-то далеко и ненужно трещал сторож, а у ворот шли переговоры с часовым. Через две-три минуты звякнула смычка, шаркнул засов, и в свободную протемь двора бараньем шарахнулись саперы. Конвойные рассердились:

— Куда прешь?.. Насидишься на казенной харче... Кого фляжка? Легче, легче... Вполплеча...

По измызганной лестнице саперы спустились в полуподвал, в засырелое помещение с окнами у потолка, без мебели. Высоко на подоконниках горели семилинейные коптелки; на полу кучилась солома, отсвечивая бронзой, ничем не прикрытая. Саперы сняли вещевые мешки, шинели и поплюхались на солому.

Вдруг выкрик:

— Встать!..

---

[1]) «Аннушка» — кариатида.

Путаясь лакированными сапожками в соломе, по помещению шагал офицерик, румяный, в золотых очках.

— Здорово, саперы!

— Здравия желаем, ваше благородие! — жидко и сбивчиво рассыпались голоса.

— Стели шинеля на солому и спать ложись... Завтра что полагается получишь. Пой «Царю небесный»!..

Офицерик говорил приглушенным, скрипучим голоском, как чревовещатель, и пружинился на каблуках, чтобы быть повыше, пострашнее... Саперы молчали... Офицерик вдруг затопал ногами, выхватил шашку и, махая ею перед саперами, завизжал утробным фальцетом:

— Молчите?.. Значит бунт?.. Молчите?.. Я вам покажу молчать... Запевайте! Слышишь, сволочь, запевай, — дернул он за рукав широкозадого вятича, — как твоя фамилия?

— Лопаста, — прошепелявил вятич и диким срывающимся тенорком затянул: — «Царю небесный, утешителю...»

Его поддержал с десяток голосов. Офицерик стоял перед Лопастой и помахивал в такт молитве обнаженной шашкой.

2.

На другой день солдаты гренадерского полка, в казармах которого разместили сапер, натащили в помещение ржавых коек с соломенными матрацами и подушками, по смене бельишка, на пятерых по бачку, по оловянной кружке; полковой брадобрей постриг под машинку саперовы головы, и началась тюремная жизнь, со скудными обедами и ужинами, с короткими прогулками, редкими свиданиями, распечатанными письмами, проверками, кирпичным чаем, тревожным сном на скрипучем железе... По ночам слабели иные из сапер, и слезы текли на соломенную подушку... Особенно под утро, когда на казармах пели петухи... По этому поводу фельдфебель Чуб, хлебороб из-под Чернигова, говорил:

— Немудреная птица петух и поет не лучше, чем вятич «Царю небесный», а сердце болит от его пенья, ровно шилом в него тычут...

Сапер томило безделье. Народ они были молодой, здоровый, все больше мастеровой, или от сохи: в беструдьи тускнела кровь, дрябнул мускул, вязкая мысль досиня высасывала подглазье и гнала краску с лица... Слесарь с Кольчугинского завода, Мефодий Мастарков, с белыми усами и черным глазом, раза два-три в день занимался с табуреткой, подкидывал, вывертывал, вытягивал, — и другие кое-кто по его примеру, и все-таки тело скучало по станку, верстаку, плугу, бабьим ласкам, девичьим глазам.

Через два месяца сапер перевели на гауптвахту, рассадили подвое — по-трое на камеру; в общую камеру — человек двадцать. Стены гауптвахты текли, и саперы скоро отсырели, точно водянкой одулись...

— Только антоновское яблоко в мочке-то крепнет, — шутил Клекта, по ремеслу точильщик, исходивший всю Россию с точилом за плечами, знавший нравы и говоры всех семидесяти губерний, и, приплясывая под похабную прибаутку, подмигивал жуликоватыми глазами волонтеру Саше Черных, поэту и мечтателю.

— Троглодиты, — произносил, улыбаясь, женоподобный Черных и тыкался уставшими от полутеми глазами в мятые странички французского самоучителя.

— Именно троглодиты-с, — соглашался Чуб, прозванный саперами «стариком» за рассудительность и огромную бороду, — настоящие троглодиты-с! — Ему думалось, что Черных — этот ненасытный книжник — сам придумал прозвание — и придумал ловко, потому что как и было иначе назвать волосатых, грязных, оборванных солдат, притулившихся в каменных мешках или вразвалку, по-гусиному бродивших в темном коридоре гауптвахты?..

Словечко закрепилось за саперами; даже гренадеры, выгоняя сапер на прогулку, покрикивали:

— Эй, на прогулку собирайсь, триглундиты!..

Троглодитов выпускали гулять на булыжный двор, вернее проулок, между двумя казарменными корпусами, на час, на два — смотря по погоде. От улицы проулок был отгорожен высокой железной решеткой. За решеткой текла милая человеческая жизнь: проходили озабоченные люди со свертками, корзинками, портфелями... Кричали разносчики, громыхали ломовые, черно-серыми желваками вырывался дым из фабричной трубы; прямо против решетки угрюмо поглядывал на троглодитов желтый домик с вывеской «Сиротский приют имени...», с забытым трехцветным флагом. Около домика, в палисаднике копошились ребятишки в синих балахончиках; на крылечке надзирательницы на ребят покрикивали.

С наслаждением бродили троглодиты по двору и осенью, в паморозь, когда булыжник блестел по-праздничному, и зимой, по сухой пороше, или по жидкой ростепели, с тоской наблюдая затюремную обыдень... Когда же, на девятом месяце сиденья, повеяло весной, подошла приятная пора, которую зовут «пролетьем», начали лопаться почки на чахлых казарменных липах, лимонные бабочки заторкались в пустые окна гауптвахты, клесты и свирестели запищали в кустах приютского палисадника, буйной завертью понеслась по мостовой первая пыль, а вокруг булыжной плеши двора зазеленели жесткая мурава и жилистый подорожник, — заныла троглодитова грудь в сладкой истоме, и мучительно потянуло прочь от застенья — в родную сторону, на свободу. Каждый день, каждую минуту троглодит ждал, что правда одолеет, придет хороший человек и скажет: «Идите, люди добрые, по домам, на работу привычную, крестьянскую». И пойдет троглодит за Москву... Леса там синие, деревни, жаворонок поет нивесть где. Задворками, гумнами, проберется в свое село и шасть в избу:

«— Здрасте, мое вам почтение, Авдотья Трофимовна! Небось не ждали, не чаяли... А я, вишь, каким пистолетом, даром что почитай год в тюрьме гнил...»

К решетке подходить воспрещалось, — все-таки подходили, крадучись покупали пышки с сахаром, гречневики, сладкие маковки. Черных как-то раз послал пышек приютским ребятишкам. Надзирательницы очень удивились; маленькая черненькая — «Прындик» — погрозила ребятам пальцем, а другая, повыше, в красной накидке весело рассмеялась... После этого случая общение с приютом стало привычным делом для сапер... Ребятишки льнули к решетке — за самодельными свистульками, бумажными голубями, леденцами, пряниками... Троглодиты, выползая на прогулку, первым делом искали красное пятно на приютском крыльце, следили за его движениями, вслушивались в выкрики... Красная накидка, отгоняя ребят, подходила к решетке, улыбалась, осторожно кивала головой. Были милы троглодитам ее мужская походка, веснущатый лоб и улыбка большого тонкогубого рта... Черных казалась она девушкой необычайной красоты; он прозвал ее Дартулой и в объяснение долго толковал Старику об Оссиане...

3.

В начале мая в режиме гауптвахты произошел крутой перелом: сапер перестали выпускать из камер в коридор, прогулки сократили до получаса, прекратили свидания. Приехали жандармы в голубых фуражках и ласково выпытывали у троглодитов, не знают ли они чего-нибудь о Петерикове и Кулике; два черненьких юрких человечка с мышиными мордочками рылись под матрацами, в подушках, в одежде, подмышками и в промежностях оголенных сапер.

В результате отобрали две-три брошюрки, перочинные ножи, деньжонки. Очень заинтересовались вычислениями в записной книжке троглодита Мажарина и настойчиво спрашивали его, что это значит «1 350 000 — до Киева»... «корка — грош; один человек — 1.80» и т. д.

Мажарин объяснил, что он любит все переводить на цифры.

— Тогда жизнь понятнее... К примеру, до Киева — один миллион триста пятьдесят тысяч шагов... Я свои шаги на гауптвахте считаю, будто к Киеву иду. А корка — грош... значит, она того стоит, а если человек бросит корку, каждый день по корке, в год выбросит один рубль восемьдесят копеек, а сколько людей-то, к примеру, в одной казарме!

Жандармский ротмистр погрозил Мажарину пальцем, а книжку сунул в карман...

На другой день дежурный офицер с подручными влезали в камерах на столики, дергали оконные решетки, залезали под койки, осматривали потолки. Гренадеры были злы, толкали сапер. Ефрейтор, с беленькими усиками шильцем, по-петушьи наскакивал на троглодитов, ругал их вполголоса «сбродом», «каторжниками» и, поддерживая под локоток начальство, приговаривал:

— С амбразурки не сорвитесь, ножку не зашибите!

Троглодиты прозвали его «Молодчагой» и, когда он потом бывал в карауле, спорили с ним.

В приютском домике подметили перемену... Красная накидка проходила мимо решетки и недоуменно всматривалась в растерянных сапер, в частое кольцо конвойных, покрикивавших на прохожих:

— Проходи, проходи, не задерживайся!..

Понемногу, из отрывочных разговоров конвойных, стало известно, что с гауптвахты соседнего гренадерского полка бежали сидевшие там главари Любуцкого дела, проломав потолок в пустую квартиру командира полка...

Через недельку троглодитам стало совсем плохо. Прогулки, правда, увеличили, но место для них выбрали другое — во внутреннем дворе, загаженном известью, глиной, загроможденном пустыми ящиками, ржавым железом и всякой казарменной рухлядью. Уныло бродили троглодиты среди ломаных кобыл, изорванных штыками соломенных чучел, прислушивались, как на конюшнях жуют овес полковые мерины, мычит корова «их высокородия командира полка», а за стеной горнист учится зорю играть, и так-то у него срывно, нескладно получается... От тоски по свободе, которая уходила от сапер все дальше, а манила крепче, от несносной туги стали троглодиты чудачить, бегали на четвереньках, по-собачьи откидывая зад, кровеня руки о глинистую затвердь... бились задами — у кого крестец выдержит дольше... Конвойные ругались или зевали в кулак, а высоко над казармами плыли облака точь в точь такие, как, бывало, над деревней...

Чем жарче и радостнее грело солнце на воле, тем на гауптвахте становилось холоднее, тоскливее; видней были пятна и потеки на стенах, муть в окнах, грязь на полу... Воняли бачки, и плиточный чаек холодел в медных с прозеленью чайниках. Бесконечно тянулся весенний день. Валялись до одури на койках, злобились, ежились, как шишки в дождь. Левша — плешивый, сугорбый телеграфист с подастраханских солончаков, — устало шевеля тараканьими усами, рассказывал анекдоты и разные истории, которых доотказа наслушался на пустынном полустанке, дежуря у Морзе...

Черных — его сосед по камере — слушал, улыбался и вдруг серчал:

— Надоело, тошнит!.. Слушай, что я тебе расскажу.

Начиналось бесконечное повествование о девушке с золотистой косой и апаше с зверскими черными глазами.

Старик научил Мастаркова, и они бесконечно пели хохлацкую думку:

Вже ж два роки як в кайдалы закували турки...

Клекта шатался по камерам, когда их к обеду открывали. Зайдет в одну, — лежит троглодит на койке и ногтями бьет себя по рукотылью, руки побагровели, вот-вот брызнет кровь. А другой притулился к стенке и без конца повторяет:

У попа была собака, он ее любил
Она съела кусок мяса, он ее убил...

В углах губ пенится слюна, рожа чумная...

— Будет вам выть-то!.. Борода черная, так и орешь, кишки выворачиваешь... «Вжеж два роки»... И Мефодий туда же со своим пикалом! Вам бы панихиды по собакам петь...

— Брысь, — цыкнет Старик, а Клекта уж у Черных... Разговор более деликатный:

— Все по-французски испражняетесь?.. Почитать есть что позавлекательнее?

— «Три мушкетера»...

— Что?

— «Три мушкетера», говорю... «Земские соборы»... «Системы избирательного права»...

— В розовых обкладках? «Донская речь»? Сурьезные больно... Надоели.

— Больше ничего нет.

— Тоска!.. Отгадай загадку: скоро жрет, мелко жует, сама не глотает и другим не дает?

— Свинья, — отвечает, не думая, Черных.

— Пила!..

Бьет солнышко в пыльные стекла, играют пылинки в луче... На плацу ученье, звонкий голос выкрикивает:

— Ась-два, ась-два, ась-два!... В одну шеренгу стройся!.. Куда прешь, дьявол?.. Ногу держи!.. Ась-два, ась-два!..

За решеткой о стекло бьется черная муха, гудит тромбоном. Не хочется на гауптвахте жить... Ох, тоска зеленая — скоро жрет, мелко жует... В караульное помещение принесли обед, запахло кислыми щами... Подошел Клекта к глазку. У глазка часовым — Молодчага, отвернулся, смотрит, как на гауптвахте обедают товарищи... Клекта шопотком, в протишь:

— «Ваше благородие, с амбразурки не сорвитесь, ножку не зашибите»...

Молодчага быстро поворачивается, подается назад и делает вид, что хочет тыкнуть штыком в глазок. Клекта отскакивает, показывает фигу Молодчаге и быстро барабанит языком:

— Завселды, колды стоят во фрунте, толды руки по швам держут... волколис вонючий... — и к себе в камеру, на койку...

На другой — Адриан Мажарин, казначейский счетовод... Долго лежат молча... Потом Мажарин, продолжая вслух молчаливый расчет, заговаривает:

— Бери, на худой счет, сорок лет. В году пятьдесят две недели, всего будет круглым счетом сто четырнадцать тысяч суток. Из них ты тысячи три — на каторге руду копать будешь... Тысяч пять проспишь. Много ли тебе жить останется?.. Да из этого, из малого, дней тридцать-

сорок, чтобы портянки подвертывать, столько же — харю мыть, столько же, а то и месяца два — до ветру ходить...

— Провались ты, сатана, с твоей арихметикой!.. Насчитаешь, что мне завтра помирать пора, крыса казначейская...

— Ты цифру, брат, не ругай, она умная... Она жить учит... Ты, к примеру, сейчас ругаешься, сердце у тебя чаще колотится. Ему полагается раз в секунду всего, если взять на худой счет...

— Замолчишь ты, чорт? Я тебе бачком башку раскрою... — Клекта морщит черную бровь.

Мажарин обиженно спускается с койки и, припадая с ноги на ногу, как бережая корова, идет по коридору... Через минуту слышно, как он в камере Черных, тяжело ворочая толстым, не по зеву языком, что-то бубнит, должно быть цыфирное, как лопается об пол табуретка, и Черных орет:

— Пифагор проклятый, рыло тебе размозжу!..

А за окном попрежнему мерно вздрагивает под шеренгами каменный настил, и звонкий голос кричит:

— Ась-два, ась-два, ась-два!.. Справа, повзводно арш!.. Я тебе потопчусь на месте! Штык ровней!.. Ась-два, ась-два!..

4.

Так тянулись дни. Как-то раз заглянул Клекта в общую камеру... Троглодиты на койках играли в «три листика», в «носы», в самодельные шашки... У столика под окнами сидел вятич Лопаста и писал, а около стояли саперы, человек шесть, разных землячеств...

Клекта заглянул в письмо и ахнул... Лопаста поднял голову.

— Чего ахаешь, баскак чортов? — буркнул он на Клекту и прикрыл локтем письмо...

— Не серчай, бажутка. После обеда ищу поикать бы где.

— Ну и катись, икай себе в пазуху, скоромча кривоногая, а в чужое дело не лезь...

— Вали, вали, пиши, пинюгай уржумский...

Клекта вышел из камеры и сейчас же все рассказал Старику. Старик с Мефодием Мастарковым прошли к Лопасте, а Клекта в ожидании скандальчика приплясывал в коридоре, мурлыкая под нос:

Ахвицеры, генералы сладки вина пьют
Нашему брату, бедному солдату,
Кислой капусты дают...

Старик подошел к Лопасте и по-старому, по-фельдфебельски, приказал:

— Дай письмо.

Троглодиты около Лопасты и на койках насторожились. Лопаста глянул на Старика тронутым искрометкой глазом и, глупо улыбнувшись, протянул бумагу; фельдфебель прочитал заголовок: «Ваше благородие,

господин Пуришкевич» — и разорвал... Соучастники один за другим разошлись по койкам.

— Ты, Лопаста, забудь, что есть на свете Пуришкевич, слышишь? А то — ты знаешь Чуба...

Лопаста стоял не шелохнувшись, наклонив виновато голову, и враздробь барабанил пальцами по опрокинутому бачку...

От Лопасты Старик с Мефодием прошли к Черных... Черных, как и все, лежал целыми часами на койке, о чем-то думал, чуть приоткрыв глубоко впавшие серые глаза. Глядя на грязные ногти, пегие сапоги, замызганную гимнастерку, на заерзанный пол и мокрые стены, он ощущал иногда острую радость апатии, покорность окурка, плывущего в клоаку. От Старика не укрылась, конечно, нравственная усталость, обвислость, державшая Черных на койке, мешавшая двигаться ногам и мыслям, но он был уверен, что Черных выдержит до конца, как бы далек он ни был.

В камере Черных было сумеречно, потому что на воле шел дождь... Левша спал, хлюпая серыми губами, а Черных сидел с ногами на койке и терпеливо выцарапывал что-то, должно быть стихи, на стене ржавым костыльком; он взглянул с некоторой досадой на вошедших и все время, пока Старик рассказывал про Лопасту, не выпускал костылька из восковых пальцев, отрывками царапал стену, оставляя на ней шаткую клинопись. Иногда казалось, что он внимательно слушает, уставившись в усатые губы Старика, — на самом деле взгляд его был тупой, ушедший в себя, далекий от Лопасты, гауптвахты, всего окружающего... Когда Старик замолчал, Черных оторвался от клинописи, спросил:

— Ну и что же? — и нехотя опустил руку с костыльком.

— Как «ну и что же»? Гниют ребята-то...

— Ну и что же? «Дискордия уж змеями своими... Не разжигает больше пыл Арганта»... Ты знаешь, Старик, кто такое Аргант?.. Это у Тасса...

Старик с сожалением посмотрел на Черных.

— На чорта мне ваш Аргант... И трава в застеньи жолкнет, — проговорил он, направляясь из камеры...

Черных вскочил и по-ребячьи нежно обнял Старика, заглядывая ему в лицо:

— Не сердись, Чубынька, не сердись!..

Коричневые глаза Старика подернулись влагой.

— Семейная сцена, — буркнул Мефодий и вышел из камеры...

Старик высвободился из объятий Черных и, сведя черные брови, с видимым усилием сказал ему:

— Горишь ты, дружище, и сгоришь, как алмаз, без пеплу... Слабеешь, только по-другому, по-барскому, не как Лопаста...

— Ну и что же? Был алмаз и сгорел.

Придя к себе, Старик растянулся на койке в полной растерянности... Мефодий упражнялся с табуреткой. Взглянув на Старика, он проговорил:

— Это тебе почище Лопасты...

— Почище, — простонал Старик, — надо бежать.

— Как? — спросил Мефодий.

— Не знаю...

— Куда?

— Ну, хоть в Америку...

Чуть дергая челюстными мускулами, Мефодий все выкидывал табуретку. Старик смотрел на его покатый лоб, упрямый длинный подбородок, на поршневые движения рук и подумал: «Этот устоит...».

Вечером они составили рапорт на имя командира полка, на гауптвахте которого сидели; в рапорте просили от имени сапер ходатайствовать об ускорении суда над ними, — скорый суд должен спасти честь сапер.

5.

В половине июня нахлынул на казармы мастеровой народ такой же, как и троглодиты, только вольный, с ведрами, кистями, скребками, рубанками, топорами. Завоняло краской, известью, асфальтом, сосновой доской... Перешивали нары, кормушки, заливали дыры на тротуарах и в конюшнях, красили крыши, карнизы, стены, где желтой охрой, где ярью венецийской, от которой на солнце болели глаза. Скоро мастеровые добрались и до гауптвахты. Сапер перевели в казармы — в то самое помещение, в котором они провели свои первые подневольные недели... Для охраны приставили часовых: одного — снаружи у окон, другого — у двери с глазком, а третьего, дневального, со штыком у пояса, посадили внутри помещения, среди сапер... В помещении было светлее, чем на гауптвахте, и воздуху много. Спали на кроватях, под серыми байковыми одеялами... Сначала как-то неловко было, — все на людях, на свету: виднее стали заплаты, грязь, морщинки и тупая боль в глазах... Потом свыклись, встряхнулись, даже повеселели...

Как-то раз, вскоре после перехода в новое помещение, троглодиты, собравшись на прогулку, толпились у двери и, раскачиваясь в такт, пели веселую песенку:

Кузнец, раздуй огонь в печи,
Железо накали докрасна,
Потом по нем сильнее ты
Тяжелым молотом стучи.
Ты скуй мне цепь, я цепью этой
Жену неверную мою
На ночь до самого рассвета
К кровати крепко прикую...

Вдруг разводящий через глазок громко позвал Черных:

— На свидание! Сестра пришла.

У Черных сестер не было, только мать-старушка жила в Серпухове. Тем не менее, пожав плечами, растерянно улыбаясь, он протискался за

дверь и, в сопровождении конвойного — Молодчаги, — скрылся из глаз троглодитов. Молодчага вел Черных по бесконечному коридору; местами коридор походил на подземелье, холодное и темное, по пути валялись разбитые бочки, ржавые обручи, путаная проволока, безногие койки, тюфяки с вылезшим соломенным нутром. Путешествие казалось Черных бесконечным, намерения Молодчаги — подозрительными: узнали о готовящемся побеге, замуруют в подземелье с пасюками и мокрицами.

На одном из поворотов, где затянутое паутиной оконце мутнело под самым сводом, Молодчага сказал: «Стой!» У Черных захолодело на спине. Молодчага приставил винтовку к стене и вдруг камнем упал к ногам арестанта, причитывая по-бабьи:

— Простите Христа ради! Простите Христа ради меня, окаянного!

Черных сначала отпрянул, а потом, не соображая еще, что такое происходит, сам упал на колени и, ласково обнимая голову Молодчаги, бормотал:

— Что ты, что ты, милый? Чего простить?

— Ругательство, шпиёнство мое простите Христа ради. — Бескозырка свалилась с бритой головы Молодчаги; он приподнялся на колени, растерянно посмотрел в глаза Черных и рассказал, как он в отпуск ездил в родную деревню; деревню разорили и выжгли столыпинские опричники, его отца-старика выпороли в волости, на людях...

— Друг теперь я ваш, таибник завсегдашний.

— Спасибо, милый, я понимаю, спасибо, — ответил Черных и вытер слезы шершавым рукавом шинели. Арестант и конвойный крепко обнялись, потом встали, оправились и торопливо пошли вперед. Скоро впереди блеснул яркий солнечный свет, поднялись на пять ступенек вверх и вошли в комнату дежурного офицера. Офицер сидел за столиком и, раздраженно тыкая сломанной ручкой в пузырек с чернилами, что-то писал... Увидев Черных, он кивнул головой на стоявшую в сторонке девушку и буркнул:

— Сестра...

Девушка, сообразив, что вот этот небритый курносый юноша в шинели без пояса и есть ее брат, вдруг всплеснула руками, и, истерично вскрикнув: — Брат! — бросилась на шею Черных, стала с «засосом» целовать его в губы, глаза, щеки... Не понимая в чем дело, Черных, однако, не сопротивлялся и старался даже выразить родственную радость, порыбьи раскрывал рот, усиленно моргал близорукими глазами, думая: «Неужели сестры все такие сумасшедшие и так бешено любят своих братьев?»

Когда первый порыв родственного энтузиазма прошел, Черных, ощущая еще на лице влагу поцелуев, присмотрелся к сестре и чуть не крикнул: «Красная накидка!.. Дартула!..» А она радостно взглянула на него и, пробежав пальцами по сбитой прическе, торопливо стала передавать ему небывалые новости о семье:

— Папе немного нездоровится, все эта проклятая подагра... О тебе скучает... Леночка поступила, наконец, на «полторацкие» курсы и теперь спорит с папой на ученые темы. Насмеешься на них досыта... Ленка горячится... Дианку недавно остригли... Поля стригла и уколола, заливали иодом... Верещала...

Когда офицер на минутку вышел, помахивая густо исписанной бумажкой, а конвойный, мурлыкая под нос, давил мух, проводя пальцем по стеклу, Дартула, сестра Валя тож, наклонилась к Черных и полушопотом, кося глазами на солдата, сказала:

— Со мной в приюте работает партийная «Сверчок»... Вы наверное знаете, видели ее?.. Черненькая!..

— Мы ее прозвали «Прындик», — весело признался Черных и покраснел.

— Сохранились кое-какие обломки организации, — продолжала Дартула. — Прындик, — при этом слове она беззвучно рассмеялась, — думает о вас, очень думает.

Черных ответил:

— Это хорошо, может быть скоро понадобятся «железки» [1]) да немного денег и, главное, — нет ли связей с железнодорожной организацией?

Дартула косилась на Молодчагу, а Черных улыбками и кивками головы ободрял ее... Заслышав голос офицера, Дартула опять защебетала о домашних делах:

— Разбили японскую вазу, ту самую, помнишь?

Черных слушал, улыбался, и как-то по-особому билось его сердце, когда эта смелая и находчивая девушка говорила ему «ты». Всматриваясь в ее веснущатое с большими серыми глазами лицо, он думал: «А она и правда милая и совсем не такая, как за решеткой, на улице, — теплая... Наверное она меня опять поцелует».

Когда офицер сказал, что свидание кончено, Дартула крепко обняла Черных и поцеловала в губы и переносицу у бровей, обещая вскоре навестить еще... Он с грустью посмотрел вслед «мимолетному видению» и пошел из комнаты.

— Какая странная у вас... у тебя, сестра, и знаешь я где-то ее встречал и, кажется, совсем недавно, — выкрикнул офицер.

Черных оглянулся. Офицер, прищурив левый глаз, насмешливо смотрел на него, наугад тыкая в чернильницу... Черных подумал: «Как хорошо сделала Дартула, что пришла не в красной накидке» и, ничего не ответив офицеру, нырнул по ступенькам вниз...

Друзья смеялись, когда Черных рассказывал им об оригинальном свидании, и радостно за ним повторяли:

— Ауспиции благоприятны, ауспиции благоприятны.

---

[1]) Поддельные паспорта.

6.

Время шло... Дартула была еще раз, передала, что «железки» будут, что есть связи с железной дорогой и заграницей... Даже о временном конспиративном приюте позаботилась Прындик... Молодчага понемногу таскал саперам «вольную» одежду, кепки, «фантазии», брюки «на выпуск». Передавал он все в дни караула, держа за пазухой, под шинелью, когда водили в уборную, во время обеда... Произведенный в ефрейторы, он в карауле не стоял часовым, а всегда теперь был разводящим, и ему сравнительно легко было выбрать момент для передачи...

Между тем ремонт гауптвахты заканчивался, поговаривали, что сапер скоро переведут в побеленное подземелье, в гробы повапленные, откуда бежать будет труднее... Поэтому бежать нужно было скорее, во что бы то ни стало... Уже шел июль... Ночи стали темней, четко горела Медведица в прорези корпусов, а в жолкнущем подорожнике засушливо стрекотали кобылки и кузнечики... Было ясно, что бежать можно только из помещения, только ночью. Конечно, не через дверь с глазком, а через одно из окон — тех самых окон, мимо которых неустанно ходит часовой, постукивая прикладом о каменные плиты. Надо сделать так, чтобы этот часовой хоть на пять минут забыл о троглодитах, отошел куда-нибудь или навсегда ушел с саперами в Америку.

Неутомимые шаги часового, звяканье приклада за окном больше не выходили из поля внимания «американцев». Они прислушивались к ним днем и ночью, следили за ними, изучали их особенности... Один ступает твердо и винтовку держит правильно и крепко, по уставу строевому, — с этим каши не сваришь. А вот — каблук сбит, и рваные ушки торчат из голенища; поставит ногу ребром и ломает подметки, аж гвозди трещат... — это рубаха-парень, «балахня, полы распахня», с авоськой... Тут осторожно, оглядываясь, можно словечко закинуть, сначала будто шутя, с морокой, во время прогулки, или когда водили до ветру...

Как-то раз стоял на часах у окон маленький человек — совсем особенный часовой. Все у него было не по росту: и тяжелая серая скатка, и огромные рыжие сапоги, и надвинутая на уши бескозырка; винтовка в его руках казалась ненужно высокой, а свисток болтался у колен. Он почти не ходил, придавленный тяжестью амуниции; опершись на дуло обеими руками, он без конца смотрел вглубь помещения на троглодитов... Солнце палило его небритую щеку, забиралось в редь рыженькой бородки клинышком... Клекта уставился ему в глаза и почти тотчас же смешался под молчаливым взглядом маленького гренадера...

— Душу выворачивает... Не человек, а зинька жалостная...

— Ты о ком? — спросил его Черных.

— Да вон чучело глаза распучило...

Черных посмотрел в скорбные глаза часового, проскандировал только что вычитанную в самоучителе фразу: «Les grandes douleurs

sont une dilatation gigantesque de l'ame» [1]), и добавил: — Прекрасно выражается Гюго. Благодаря ему я начинаю улавливать дух французского языка...

А Мефодий, тоже долго наблюдавший за часовым, шепнул Клекте:

— Он!

— Кто «он»? — шопотом же спросил Клекта.

— Он! — мотнул Мефодий на часового.

— Да кто «он»-то, глуздырь чортов? — вскипел Клекта.

— Еврейчик-то... часовой.

— Ну?

— За нос потяну, — засмеялся Мефодий и, отвернувшись, поддразнил Клекту: — «Точить ножи, ножницы, бритвы править», — потом подошел к Черных, и о чем-то с ним пошептался...

Только что прошел дождь и было наволочно, когда сапер вывели на прогулку... Конвойные стали огромным кругом, и среди них в шинели до пят маленький еврей — Стофида [2]), как прозвал его Мефодий... Сонно бродили саперы по двору, а Стофида смотрел на них так же, как у окна, опершись на штык, в спущенной на лоб парусиновой бескозырке... Проходя мимо еврея, Черных чуть приостановился и шепнул:

— Скверно живется?

Еврей скосился в сторону старшего конвойного и буркнул в дуло:

— И скверно.

Потолкавшись среди троглодитов, Черных опять остановился около Стофиды и, делая вид, что смотрит на «галкину свадьбу», прошарахтевшую над казармами, тихо проговорил:

— Бежим в Америку, на свободу, положись на нас!

Еврей часто-часто заморгал, перенял винтовку из правой в левую руку и ничего не сказал... Когда Черных третий раз приближался к Стофиде, он заметил, что тот улыбчато косит глазами в его сторону:

— Ну как же?

— Побежим, коли так...

С Стофидой случилось то же, что и с Чубом, с Дартулой, почти со всеми, с кем сталкивался Черных: он с первого взгляда поверил его милым близоруким глазам и бесхарактерно-ласковой улыбке... Этой улыбкой Черных будто весь отдавался человеку и непонятно овладевал им... Когда возвращались с прогулки, Черных не утерпел и шепнул на ухо Чубу:

— Есть!..

Чуб ничего не ответил, только густо покраснел. Маленький конвойный замечтался и, остановившись в сторонке, невидящим взглядом смотрел на текучую массу сапер... Окрик старшего конвойного вывел его из раздумья:

---

[1]) Страдания расширяют душу.

[2]) У владимирцев — долгополый.

— Эй ты, жидовская харя, раскорячился!.. Али морда давно не бита?

— Гарно, хлопче, — крикнул Чуб, оглянувшись на старшего... Старший взглянул на Чуба и засмеялся.

Придерживая по-бабьи грязные полы шинели, еврей пошел за толпой смеявшихся конвойных, наклонив голову в огромной бескозырке...

7.

Из тайных переговоров со Стофидой время побега определилось точно, с третьего на четвертое августа в день Авдотьи-блошницы — храмовой праздник в родном селе Мефодия; именно в это число должен был опять стоять у окон маленький еврей. Было условлено, что он стукнет винтовкой о тротуар сначала два раза. Это будет значить — приготовляйтесь. Три удара о тротуар — сигнал к побегу, причем Стофида откроет створки крайнего окна, под которым стояли койки «американцев». В ближайшие дни нужно было решить, что делать с дневальным в помещении и как укрыться от глазка. Дневальный неусыпно сидел на табуретке среди коек и следил за движениями, словами, — казалось, за самыми мыслями троглодитов; что бы ни сделал, что бы ни сказал троглодит, он чувствовал за собою взгляд настороженного человека, от которого укрыться можно только обернувшись одеялом, — и то дневальный нередко подходил и щупал: жив-человек под одеялом или чучело? Так же сторожко маячил над троглодитами глазок выходной двери; он был трехугольный, как подкупольный глаз Иеговы, — только был он близок, и смотрело через него не око мстительного праеврея, а двучасно меняющийся глаз человека, стерегущего человека же.

Дня за три до Авдотьи-блошницы лил с утра забойный дождь; хлестала из водостоков вода, струйки через щели в рамах текли по подоконникам в помещение... Окна не открывали. Было сыро и душно... Прогулки не было... Пообедали и развалились на койках. Адриан Мажарин считал, сколько он съел мяса на гауптвахте; по его счету выходило два с половиной пуда, а на всех троглодитов — сто семьдесят пудов, значит не меньше четырех-пяти быков... У командира саперного батальона семья пять человек, в день они съедают мало-мало пять фунтов.

— Вот ты и смотри, — тыкал он исписанную грамотку мягкодушному Серганову, — нас шестьдесят восемь человек, и съели мы четырех, много пятерых быков, а «их высокородие» скушали двух быков.

Серганов чинил портки и сквозь зубы тянул свою излюбленную песенку:

По полю, полю чистому,
По бархатным лужкам
Течет, струится реченька
К безвестным берегам...

Взглянув равнодушно на бумажку, он перекусил нитку и отфыркнулся:

— Ну и что ж? Пусть их кушают на здоровье; хватит быков-те на всех...

— Конечно, хватит, дело не в том. Ты подожди портки зашивать и сообрази, — ворочал тяжелым языком Мажарин, — нас шестьдесят восемь человек и четыре быка, их пять человек — и два быка. Неправильная пропорция! Ты думаешь, почему ты под арестом сидишь? Потому, что «их высокородие» скушали быка. Чего хмыкаешь? Ежели, к примеру, взять фабричного или мужика, — сколько он мяса потребляет? Вот ты и смекай.

— Правильно, Мажарин, — отозвался из своего угла Черных. — Это социальное суждение, основанное на научном методе мышления...

— Ясно... Цифра умная; если, к примеру...

— Если, к примеру, я скажу тебе такую штуку, — назойливо прогнусавил из того же угла Левша, — был у моего отца мерин, годами тебе в пору. Ноги у него от опоя были кривые, волосатая губа отвисла, как у командира бригады... Пахать на нем было чистое мученье, кнут обхлестался; одно кнутовище с гвоздиками осталось; отец гвоздиками-то по репице бил, до крови, тогда шел. Другой раз и гвоздики не действовали: сядет на меже по-собачьи и сидит. Часа два может просидеть без движенья, как наш дневальный...

Сравненье Левши вывело из полудремоты дневального; он засмеялся вместе с саперами и стал слушать Левшу.

— Отец, изволите видеть, табак нюхал. Свернет из лопушка цыгарку и дунет мерину в ноздрю. Мерин передернется и пока чихает, ходит с сохой по полосе. Когда в город с возом ездили, мерин к каждому трактиру сворачивал, к каждому стоялому двору, — отец за это и терпел его.

— К чему ты все это клонишь? — протянул Мажарин.

— Вникай, бери пример с дневального... Мать меня с отцом посылала и строго наказывала, чтобы я за полверсты до трактира мерину мешком глаза завязывал... Я, изволите видеть, завязывал; сначала помогало, а потом... Слушай, Мажарин, — мерин шаги считать научился. Как я ему зенки ни закручивал, — точнехонько, где нужно, к трактиру поворачивал.

— Умная лошадь, — согласился Мажарин.

— Это и мой отец говорил, — усмехнулся Левша и, медленно скандируя, продолжал: — ежели цифра мерина к трактиру приводила, тебя, тупоротого, наверное к социализму притащит... Потому — цифра умная!

— А я тебе скажу: дурак ты косогорбый и в цифре понимаешь, как мерин в нюхательном табаке, — и в социализме тоже... И чего только тебя под арестом, гугнивого, держат: в балагане тебе святое место — за пятачок дураков смешить...

— Социализм есть учет. Мажарин, держись за цифру, она умная,— дремотно поддакнул Черных...

Желтым маревом окутала дремота троглодитов, зевали, тыкались носами в соломенные подушки... Чинил Серганов портки, сохли портянки на бечевке. Очередные на кухне чистили картошку. Сквозь дождь и закрытые ставни пробивалась их тягучая песня:

Ах, и не я сдурил, — все хмель во мне...

Непонятным переметчивым языком просил о чем-то Старик Левшу... Шмыгая сизым носом, Левша слушал Чуба, потом загнусавил чуть слышно:

Избиты все темы,
И новых нет тем,
И вот мы не вемы,
Потешить вас чем...

— Чем-нибудь потешишь, на дневального интересу хватит...

— Только на дневального? Нешто все бежите? — Левша в полуулыбке показал ржавые клыки и опять заныл, только без ударения:

Избиты все темы...

А Старик, подложив руки под голову, храпнул в черные усы храпом человека, заслужившего хорошую сиесту.

Может быть от Чубова храпа, а вернее — от противного нытья Левши, заскрипел по койке и проснулся Клекта... Таращa сплошную черную бровь, нудно позевывая, взглянул он в сторону Левши:

— Голосок-то ровно в ноздре волосок.

— Что?

— Голосок-то, говорю, тонехонек да не больно чист...

— А... — протянул Левша. — Давай в шашки?

— В шашки, так в шашки, — согласился Клекта. — Мужик ты горбатый, и нос у тебя сизый, под радугу, а в шашки сыграть можно, — и перекатился к Левше на койку...

Спали троглодиты, липла к мокрым окнам песня очередных.

Двигали шашками Клекта с Левшой...

— В дамки, чорт лысый, лезешь, а мы тебя к ногтю...

— «Избиты все темы», — ныл Левша.

— В нужничок пожалуйте...

— Нам не в Америку, и в нужничке посидим.

Клекта опасливо взглянул на дневального... Борясь с послеобеденной дремотой, он без конца вынимал и вставлял в ножны штык, тяжело двигая вспухшими, трахоматозными веками.

Клекта закрыл ход последней шашке Левши и хотел на-радостях показать язык часовому у глазка, а показал холщевым сергановским портянкам, сиротливо болтавшимся на бечеве против двери. Сначала Клекте обидно показалось, хотел было на сергановские портянки обругаться, да вдруг как вскочит, как пойдет в присядку через помещение...

Пошла плясать,
Дома нечего кусать:
Сухари да корки,
На ногах опорки...

Подскочил к Серганову и изо всей силы — чмок его в скуластую щеку...

— Чего ты? — всполошился Серганов, даже иглу из пальцев выронил.

— Это я за портянки твои... Эвона вонючие-то...

Серганов пощупал затылок Клекты. Разбуженные, зашевелились, заругались троглодиты... Из караула несли в помещение медные чайники с кипятком.

Вечером Старик передал караульному начальнику, что саперы просят бельишко постирать завтра-послезавтра... Как дождь перестанет... Караульный начальник сказал, что он доложит по начальству...

8.

В день Авдотьи-блошницы с утра светило солнце так горячо, что от задожденных стен шел пар, хоть на воле парься... Троглодиты попили кирпичного чайку и, как только сменился караул, серой лавой вылились на задний двор — постирать с разрешения начальства. На дворе уже стояли длинные деревянные столы, гренадеры натаскали в ушатах холодной и горячей воды... Троглодиты поснимали гимнастерки и исподние рубахи и в одних портах принялись за дело: терли вонючим мылом нанку и холст, выжимали и опять терли, точно месили на столе пузыристое тесто. Кипятку и рук не жалели. «Американцы» были возбужденно веселы — в решительный день нельзя отдаваться сомнениям — и, как все, усердно терли порты и рубахи...

— Парься, вошь, парься, серая, гренадерского кипятку не жалко,— бубнил Старик.

— Не хошь, даром что вошь, — приговаривал в тон ему Клекта, плеская кипятком на бельишко... Мутными потеками падала вода со столов, мыльный ручей вился по двору и прососался под стеной, на волю... У стены скучала чахлая рябинка с пыльными гроздьями, в рябинке птичка попискивала, а перед рябинкой выжимал простыню троглодит — валяло из-под Вологды — и с птичкой разговаривал:

Мтичка, ты мтичка, мтичка вольная...
Полети ты во родну сторонушку,
Передай поклон-почтенье Прасковье Дмитриевне...

Клекта тут как тут:

Расскажи ты, мтичка, Прасковье Дмитриевне,
Что заела вошь Ивана Назарыча,
Что сам он ручками белыми
Стирает порточки посконные...

Иван Назарыч был поэт, человек чувствительный — и съездил Клекту мокрым жгутом по ягодицам... Испугалась «мтичка вольная» и стрельнула с рябины за стену... Прыснули троглодиты.

— Полетела во родну сторонушку к свет Прасковье Дмитриевне,— крикнул Мефодий, расправляя на воздухе гимнастерку, выжатую досуха...

— Посмотрим, куда ты полетишь, — огрызнулся Иван Назарыч.

— Куда-нибудь полетим, — усмехнулся Мефодий.

— Куда-нибудь полетим, — пробасил Старик.

— Полетим, полетим, как-то сядем, — пропищал Клекта и, ворочая белками, потер ладонями зудящие ягодицы...

Когда кончили стирку, развесили белье от стены до стены на веревках, и, пока гренадеры убирали столы и ушаты, троглодиты отдыхали в прохладце застенья... Вскоре горнист позвал на обед... Когда спускались в помещенье, навстречу попалась смена; за прыщеватым разводящим шагал Стофида и ласково посмотрел на Черных... После обеда сапер на полчаса вывели на двор собирать белье: накрапывал дождь... С узелками полусырого белья, пахнущего мылом, саперы вернулись в помещение и принялись развешивать портянки, рубахи, простыни по койкам, на гвоздях, по стенам, на бечевках по помещению...

«Американцы» протянули бечеву от двери к углу, к своим койкам, и закрылись простынями от трехугольного ока... Часовой не обратил на это внимания: были случаи и раньше, белье чуть не круглые сутки оставалось на веревках, а кроме того — в помещении дневальный...

Туманно замигали первые звезды над корпусами; Левша забрался на сергановскую койку, подальше от «американского» угла, сел в любимой позе, охватив колени руками. Подсели троглодиты... Левша начал с анекдотов, новые перемешивались со старыми, все были похабны и одинаково смешны, потому что сам Левша не смеялся...

«Милый Левша! Вот это друг, настоящий друг», — думал Черных... Он был в ластиковой косоворотке с широким ремнем, и друзья тоже — кто в косоворотке, кто в пиджачке, под тем предлогом, что гимнастерки выстираны... Клекта толкался около Левши. Мефодий со Стариком приглядывались к глазку, ощупывали белье, мелочь снимали, а простыни передвигали, растягивали, чтобы лучше закрыть угол с роковым окном.

Дневальный, как всегда, сидел на табуретке, по соседству с койками «американцев». Это был обрусевший литовец из-под Вильны, уже не раз дневаливший в помещении, — грузный, сырой, белесый. Он посматривал в щели между простынями на сапер, на стены, хмурился, когда троглодиты смеялись, улыбался собственным мыслям, чесал за голенищем и у крестца, выдавливал прыщи и нюхал палец... Иногда он впивался глазами в Старика, Мефодия, Черных, следил за их движениями, прислушивался к разговорам, точно догадывался о чем-то...

— История эта итальянская, заморская, только не перебивайте и не грохочите, как черти в бочке. Так вот, изволите видеть, есть такое море, называется Средиземное, — повествовал Левша.

— Посреди земли лежит, — глубокомысленно заметил один из слушателей.

— По берегам этого моря города и деревни — каменные. Кто бывал в Крыму, видал, — на такой фасон. Люди там маленькие, вертлявые, на солнце обгорели, как земля ихняя.

— Вроде Клекты...

— Может и так... В этом море всякой рыбы уйма: карпий, сардинки, балыки, анчоусы, камбала одноглазая... Деревенский народ по морскому берегу все больше рыбной ловлей занимается. Раков еще ловят — омарами их называют, крабами. Креветок — блохи такие морские... Сами едят и на базары возят... Еще очень любят макароны и по праздникам едят, как у нас пироги или вотрушки. Народ, можно сказать, нищий, а гордый и вороватый... У нас они с обезьянами ходят, с попугаями, а которые побогаче, голосистые, в театрах поют... Так вот, изволите видеть, в одной такой деревне жил-был рыбак, жена у него померла от грыжи, и рыбачил он с дочерью, а дочь эта самая, не в пример другим девкам, красавица была, крепкая, грудастая, под коричневое яблоко, веселая, кудрями трясет, а зубы бе...елые! Из городу к отцу за рыбой приезжали господа хорошие на девку посмотреть, деньги большие ей совали, чтобы только до упругой груди дотронуться... А она угрем выскользнет — и в салман.

— Что это?

— Ну в виноградник, попросту...

— Я бы ее прижал, — хвастнул троглодит.

— Ты бы прижал!.. Койку вон прижимай.

— У нас была такая, — не унимался хвастун.

— Ты, что ли, рассказывать будешь? — огрызнулся Левша, сердито оскалил ржавые клыки и, втянув слюну, продолжал: — Так вот, изволите видеть, жил в этой же деревне парень молодой, рыбу на базар в лавки на осле возил. Там все больше на ослах товар возят, по горам. Был этот парень молчаливый, сумеречный, как... наш дневальный... — Дневальный тупо взглянул в просвет простынь на Левшу.) — ... только покрасивее...

— А чем не красив наш дневальный? — отозвался Клекта. — Парень рослый, волос — под солому. Что бровей не видно, это и у моей бабушки их не видно было, а красавица была первая. И патрет дома есть, только мухи засидели...

— Будет тебе трепаться-те, сучка паршивая. Либо слушать, либо табалу бить... Сехта драная... — обрушились на Клекту слушатели.

— ... только, значит, покрасивее, — упрямо врезался в шум Левша, — черномордый, кудрявый, плечи — косая сажень... И полюбилась ему эта девка, — звали ее Юлька, — так полюбилась, как нашему дневальному невеста его, как бишь ее зовут-то?..

Левша назойливо посмотрел на дневального, и все оглянулись, ожидая ответа.

— Не лизь до рожна, — мыкнул дневальный и быстро захлопал белыми ресницами.

«Американцы» с замиранием сердца следили за тактикой Левши.

— Не полезу... Я сам знаю: Маринка... Так вот, изволите видеть, полюбилась, скажем, рыбаку Антону эта самая Юлька, как нашему дневальному Маринка...

Дрогнули седые брови литовца, и, перекосившись, губы выбросили:

— Стаська!..

— ... то есть Стаська, — торопливо поправился Левша... — И не знал он, Антон-то, что Юлька тоже полюбила его и частенько из-за угла сквозь виноградную плетенку посматривала, как он поднимался с ослом по горной тропинке, помахивая хлыстиком, посвистывая... Раз, за каменным мыском, у самой пенистой каемки ловил Антон под камнями крабов, — это раки такие круглые, со сковороду бывают. Ему ни к чему, как к берегу причалила лодка, и Юлька из лодки долго смотрела на его мужицкую красоту... Ловил он без штанов, только рубашку между ног захлестнул узелком...

Нервность все сильнее завладевала «американцами». Старик кусал губы, у Черных проступили красные пятна на щеках... Клекта то взглядывал в окна, то с бешенством впивался в прыщавый профиль Стаськина жениха. Мефодий первый заметил, что в темной раме окна стоит маленький еврей, уперся в бородку штыка и смотрит в помещение.

— ...Юлька крикнула и бросила Антону веревку; Антон схватил конец и притянул лодку к берегу.

— Без штанов?

— Ну да, без штанов.

— Нагляделась девка! Теперь ей, значит, конец. Потому такая примета есть: если девка взглянет...

— На тебя, дуралея, в деревне пачками небось девки смотрели — так все и кончались? Красота твоя этого не стоит...

— ...притянул, значит, к берегу. Юлька выскочила из лодки; отец, видишь ли, домой поторопился, а ей велел на горячих камнях сети высушить... Антон вытащил мокрые сети, и они вместе растянули их по берегу... Потом Юлька села на одном камне, а он на другом...

— Держись, ребята, будет дело!..

— ...а он, значит, на другом камне. Сидят и будто забыли друг о друге. Вдруг Антон встал и к Юльке... «Я люблю тебя», — говорит, а у самого голос дрожит и кажется, будто он шепчет, потому что море сильно шарахтело...

— Ты что меня за ляшку хватаешь, губошлеп чортов! — взвизгнул троглодит сзади Левши.

— Ему померещилось, что быдто Юлька...

— Довольно вам там, раскудахтались, — сердились слушатели.

— ... Юлька, конечно, ждала этого, а когда услыхала, поднялась с камня, подалась шаг назад и со смешком взглянула на парня...

«—А что мне в твоей любви-то?.. Кроме осла да мокрой рубахи, чего у тебя есть-то? Ну? Поди, оденься, бесстыжий...

«Антон съежился, точно кнутом над ним взмахнули, взял корзину и, перепрыгивая с камня на камень, скрылся в лощинке. Юлька прижала сердце ладонью, покосилась вслед Антону, проговорила:

«— Придешь, поклонишься!..

— Разложил бы ее на сетях-то, пузо вверх и ша... Потом бы спасибо сказала... А то заносится больно...

— ... другой бы, может быть, и разложил, к примеру, как наш дневальный Стаську...

— А ты знаешь? — усмехнулся дневальный и, придерживая табуретку под задом, придвинулся поближе к рассказчику...

— Клюет, — радостно взвизгнул Клекта, а Старик вразумительно чокнул его по затылку...

— Знаю, — кивнул Левша, — Антон — мочалка липовая, а ты — кремень.

— С девкой завсегда нужно посерьезнее, чтобы твердую руку знала, а то... барышня такая, сякая, я люблю вас, а сам с этими балыками или, как их там, морскими блохами — удирать, — негодовали троглодиты.

— ... Так вот, изволите видеть, долго ли, коротко ли, только пропал наш Антон из деревни вместе с ослом... Юлька приуныла, петь и зубоскалить перестала, по ночам раскидывалась, бредила...

— Сучка!..

— Вдруг как-то на заре услыхала Юлька, будто Антонов осел орет... Вскочила в рубашонке, груди навыкат...

— Пожалей ты троглодитов, чорт! — умоляюще простонал Серганов. — Мочи нет.

— ... смотрит на улицу, а с горы, и правда, спускается Антон... Осла за поводок тащит, а у осла на спине тюк большой... Чуть было Юлька навстречу ему не бросилась, только спохватилась и, вернувшись в каморку, растянулась на цыновке.

Дневальный, все так же придерживая табуретку под задом, совсем вдвинулся в прорезь между простынями. В это же время у наружного окна цокнул приклад два раза о каменную плиту: приготовляйтесь! И Стофида прильнул к оконному стеклу; по двору загромыхала повозка... Стофида отошел от окна и смотрел в глубь двора сторожко...

У Черных красные пятна на лице стали пунцовыми... Клекта и Мефодий копались в укладках... Старик нервно затягивал гашник.

— Под вечер, когда отец Юльки ушел лодку подсмолить, а Юлька чинила сеть у хаты, тихонько подошел к ней Антон и бросил к ногам тяжелый кошелек; кошелек больно ударил Юльку по лодыжке. Юлька погладила ладонью ногу и, взглянув на Антона, огрызнулась:

«— Золотом купить хочешь? Это не удалось и людям побогаче и покрасивее тебя...

«— Ты же сама меня бедностью корила, — сказал ошарашенный Антон.

Троглодиты заволновались:

— Проклятая баба!.. Плюнул бы ей в зенки и ушел...

— Мало ли этой твари на свете!..

— Мешком-то бы ей по харе!..

— У нас на Костромщине девок сколь хошь щупай, только не повреждай, а обженишься — еще тебе приданое, с почтеньем.

— Я Стаське из-под Вильно гребень роговой привез, пастушил там, так она ж меня в хвост и гриву целовала, — покраснев до пота, разоткровенничался дневальный.

— Как жеребчика, — подал голос Старик.

«Американцы» засмеялись, и только чуткое ухо могло бы уловить нарочитую дружность смеха, не поддержанного троглодитами.

— Конечно, — продолжал Левша, когда аудитория успокоилась, — попадись она в руки такого лихого молодца, как ты, он загнул бы ей салазки крутым полозом, а Антон даже не плюнул, пошел себе к ослу...

— Осел до осла, — сострил дневальный и, ища одобрения, посмотрел кругом...

— ... На взгорье трактирчик стоял, по-ихнему таверна. Зачастил Антон в эту таверну. Прошли слухи о скандалах и драках, которые устраивал он у таверны или в городе, где путался с бульварным бабьем... Ночью, пьяный, он бил своего осла, а потом жаловался ему на свою горькую судьбину...

Маленький часовой точно забыл об «американцах». Он ходил вдоль окон, мерно стукая подковками каблуков.

— Это невозможно... У меня лопнет сердце, — роптал в подушку Черных. У Мефодия напряженно билась жилка за ухом. А Клекта дергал плечами, жмурил глаза и шептал, наклонившись к Старику:

— Я сейчас заору... Ей-богу, заору!..

Старик, казалось, спокойно сидел на койке и слушал рассказ Левши, как дервиш качавшегося в кругу троглодитов... Минутами Левша и троглодиты отступали, отодвигались от Старика вдаль, точно смотрел он на них в большие стекла бинокля; глухо, далеко звучали гнусавый голос Левши и негодующие выкрики его аудитории... Будто жил он, Старик, уже другой, не троглодитской жизнью...

— ... Как-то раз пробирался отец Юльки на ночную ловлю и за деревней столкнулся с Антоном. Антон был пьян, рубаха разодрана, на ногах старые сандалии. Буйным чертополохом вились кудри, а в глубоких глазах злоба вспыхивала...

«— Привет тебе, caro mio, привет...

«— Привет, — ответил Антон. — Куда так поздно, старина?

«— На море, к лодке... Карпий сейчас идет, ты сам рыбак, знаешь.

«— Я был рыбак, а теперь...

«— А теперь?

«— Бандит, пьяница...

«Старик положил руку на плечо Антона и сказал:

«— С тобой беда случилась... Деды и прадеды твои были хорошими рыбаками. А с тобой беда случилась. Не знаю только какая.

«— Сегодня, может быть, узнаешь, caro mio, — засмеялся Антон и пошел к деревне, хлопая сандалиями... Старик покачал головой и двинулся к морю; он не заметил, что Антон направлялся туда, где в просади винограда чуть заметно светил огонек в окне Юлькиной хатки... И тут, браты, всему делу — пуп...

— Коего чорта там развесили, точно в китайской прачечной? А там что за сборище?.. У меня чтоб ни портянки... — раздался сухо-резкий голос дежурного офицера... Часовой у глазка что-то негромко объяснял офицеру... Потом звякнули шпоры, и было слышно, как в караульном помещении скомандовали «встать», и вскоре все стихло... «Американцы» были уверены, что дело погибло... Клекта нырнул под койки, а другие замешались в толпе около Левши, который один только невозмутимо сидел на месте, сгорбившись, сам в плену своего рассказа...

— Чего всполошились, слушай, а не то спать лягу...

— Спать ложись, — крикнул часовой у глазка.

— Мы сейчас... Офицер прошел, — загалдели троглодиты.

— Мы сейчас, — поддержал дневальный, — а ты валяй.

— ... Так вот, изволите видеть, подошел Антон к избе Юльки, заглянул в окошко, — продолжал Левша, как будто ничего не случилось. — Юлька, нагнувшись, что-то перебирала у очага; Антон резко стукнул в окно...

— Попалась стерва!.. — ликовала аудитория.

«Американцы» один за другим незаметно уходили за простыни. Клекта смотрел в окно на часового... Стофида — спиной к окнам — попрежнему неподвижно всматривался в темь огромного казарменного плаца.

— ... Юлька вскочила и закричала, а когда узнала Антона, прильнувшего к окну, отперла дверь и впустила его к себе. Антон сел на каменную, прикрытую веретьем скамью и пьяно, исподлобья взглянул на Юльку...

«— Дай мне золотой...

«Юлька вышла и, возвратившись через минуту, положила на колени Антона кошелек с золотом.

«— Я берегла для тебя...

«— А я пропью...

«— Не делай этого, Антон! Я люблю тебя...

«— Давно ли? — злая накипь взбурлила на сердце Антона. — Она еще смеется: «я люблю тебя»!.. — Он вскочил с лавки; Юлька подалась к стене, у двери, но не хотела, а может быть не успела убежать от его цепких рук...

...Серая безмолвная фигура часового, мутно окинутая светом из помещения, повернулась лицом к окнам, три раза поднялась винтовка и ударилась прикладом о камень. Потом костлявые пальцы еврея потя-

нулись к окну и открыли громоздкие створки. Ледяные струйки пробежали по спинам и капельками выступили над бровями «американцев». Несколько секунд они в столбняке стояли перед открытым окном; Мефодий первый, оглянув помещение и убедившись, что все в порядке, вскочил на железное изголовье кровати и исчез в окне. За ним — Старик, Черных, Клекта. Клекта хотел прикрыть окно и разинул рот: в окно лезли Лопаста, за ним — Иван Назарыч...

Минутку вслушивались в шорохи двора. Где-то далеко ржала лошадь... В офицерском корпусе играли баркароллу, а от города плыл и мягко колыхался над казармами вечерний шум свободной радостной жизни...

Повернув за угол, «американцы» быстро побежали к высокой наружной решетке; Стофида, подобрав полы шинели, трусил за ними рядом с Лопастой и Иваном Назарычем... Вскарабкались по высоким прутьям и мягкими комьями попадали по ту сторону решетки... Клекта оступился и, упав во двор, загремел по железному свесу. Беглецы замерли. Испуганный Стофида пополз в глубь темной площади, а Клекта быстро оправился и, перемахнув через изгородь, попал в объятия Старика. Старик смачно обругался, а Мефодий, дернув Клекту за ухо, прошептал:

— Не спеши в Лемпеши, в Сандырях ночуешь.

Часового нашли на той стороне площади. Беглецы по очереди обняли и крепко поцеловали еврея в дрожащие губы... Лопаста и Иван Назарыч минутку поколебались, потом Иван Назарыч, махнув по губам, тоже поцеловал часового, а за ним и Лопаста...

— Ты куда? — спросил Ивана Назарыча Мефодий...

— До деревни, родной воды испить...

— А потом?

— Опять сюда... Что суд скажет... Мы с Лопастой так уговорились.

Они сцепились мизинцами и быстро скрылись в темном проулке.

Старик наскоро проверил, хорошо ли все запомнили адрес, где ждала их Прындик с «железками», и сказал:

— Айда!..

Беглецы переглянулись и пошли разными путями, поодиночке. Медленнее всех пошел Черных, позабыв на время о Прындике, о друзьях, об Америке: он никогда не думал, что итти по тротуару, слышать, как в росистой мгле гулко звучат каблуки, — такое великое наслаждение.

А в казармах, у стены стояла осиротевшая винтовка с запиской на штыке: «Скажите капитану, что я служить больше не стану». В низочке горели семилинейные коптилки и, покачиваясь, напевно гнусавил Левша:

— Утром на заре вернулся отец Юльки с карпиями в сачке, вошел в избу и выронил от изумления сачок: его дочка Юлька и забулдыга Антон, крепко обнявшись, спали на цыновке, прикрывшись старым балахоном... Старик улыбнулся, поднял рыбу и тихонько вышел из избы:

«— Нельзя тревожить новобрачных, а то жизнь у них будет тревожная, — это старинная верная замета».

Моя жизнь.

С. Подьячев.

(Продолжение.)

Время для пешего хождения выбрано мной было самое неподходящее. Стояла зима, морозы, а одет я был, как уже и говорено, оборванцем. Денег не было, была только одна какая-то отчаянная смелость и никакой заботы о том, что будет завтра.

Вышел я утром по «старой Калуцкой дороге» и сразу, после пройденных каких-нибудь шести-семи верст, понял, что дело мое плохо и может оно окончиться тем, что я в конце концов обморожусь. Особенно сильно зябли ноги, обутые в плохие кожаные с коротенькими голенищами сапожонки.

Долго, да и не к чему, рассказывать, как я плелся изо дня в день, делая верст по пятнадцати, по двадцати, не больше. В конце концов сапожонки совсем развалились, и в одном месте в деревне на ночлеге хозяин избенки предложил мне сменять их на лапти. Я согласился. Жена его дала мне к этим лаптям обмотки, и вот я в первый раз в жизни обулся «из сапог в лапти»...

Помню, после долгого хождения пришел я перед вечером в город Малый Ярославец в Калужской губернии. Здесь надо было оставаться ночевать, а ночевать в городе, хотя и маленьком, уездном, без денег нельзя. На постоялый не пустят, а проситься на ночлег у обывателей-мещан и думать нечего. Это не в деревне, где в большинстве случаев отводит на ночлег десятский или же есть ночлег в так называемой «сборне» — то есть в какой-нибудь избенке, обыкновенно бедняцкой, хозяин которой за известную плату, выплачиваемую ему обществом, пускает ночлежников: бродяг, нищих, прохожих.

На мое счастье в городишке оказался монастырь, в который я и направил стопы. Здесь, как почти во всех монастырях в те времена, была обыкновенно где-нибудь на задворках в подвале ночлежка для нищих и бродяг, называвшаяся «странней». Такая «страння» оказалась и в том монастыре, куда я пришел. В ней еще было пусто и до крайности уныло-гадко. Я вышел вон. Звонили к вечерне. В церковь шли монахи и немногие богомольцы. Не зная, куда деть себя, я тоже пошел в церковь. Здесь было

тепло и чисто. Я встал в сторонке, прислонясь к стене, и предался отдыху. С клироса доносилось уныло-протяжное пение, кто-то и что-то читал, сморкался, кашлял. Сильно пахло свечным нагаром и лампадным маслом.

Ноги мои ныли, усталое тело просило отдыха, и я скоро почувствовал, что меня вся эта обстановка, и пение, и ладан тянут неудержимо ко сну, и что если я не сойду с места, то так стоя, прислонясь к стенке, и усну. Надо было уходить. Я вышел за дверь и, проходя по паперти к выходу, увидал, что навстречу мне идет, как сейчас гляжу на него, высокий, в черном клобуке, не особенно еще старый, чернобородый монах.

Поравнявшись со мной, он окинул меня глазами, задержавшись ими особенно внимательно, как я заметил, на моих лаптях, и вдруг сказал:

— Раб божий, а ведь я гляжу, тебе сапожки нужны?

Думая, что это с его стороны праздный насмешливый вопрос, я злобно ответил:

— Нужны! Ну, еще что скажешь?!

— Да ты, раб божий, не сердись, — улыбнувшись, сказал он. — Я ведь жалеючи тебя спросил. Развалились твои лапоточки. Ноги отморозишь. — И, помолчав немного, покачал головой и добавил: — Сколько вас ходит! Сколько вас ходит!

Я сделал движение итти.

— А ты погоди, — остановил он меня, — погоди, не торопись. Куда те спешить-то, на пожар, что ли? Слушай-ка, что говорить буду: иди-ка ты к отцу Пимену, к рухальному, скажи ему, что, мол, игумен приказал мне сапожки дать. Понял?

Я молчал. В это время мимо нас торопливо проходил молодой послушник, очевидно запоздавший в церковь.

— Брат Михаил, слышь-ка, — остановил его монах. — Сбегай-ка кликни отца Пимена. Скажи: я зову.

Все это было так неожиданно, похоже на сон, что я не знал, что и подумать. Немного погодя к нам подошел седобородый хромой монах и, прежде чем что-либо сказать, подставил сложенные корытцем под благословение остановившему меня игумену ладошки рук. Игумен, взмахнув широким рукавом рясы, благословил его, сунув к губам руку, и сказал:

— Ты, отец, вот что... того... обуй-ка вот раба божьего в сапожки. Подбери ему по ноге, а нам господь пошлет. Дающая рука не оскудеет. Иди-ка, раб божий, — обратился он ко мне, — обуйся. Откуда ты? Чей? Небось водочка все, а? — Он прищурил глаз и подмигнул мне. — Водочка, а? — повторил он. — Ну, иди с богом. Я не осуждаю, иди, иди!

И сказав так, он пошел в церковь, а я — за отцом Пименом в рухальную, то есть в кладовую.

Отец Пимен — сердитый с виду, длинноносый монах — привел меня в кладовую. Здесь он выбрал из кучи лежавших на полу сапог пару головок и, подавая их мне, злобно сказал:

— Садись, примеряй! Чорт вас, прости господи, носит, шатунов!

Я сбросил свои лапоточки и стал примерять сапоги.

— Впору, что ли? — крикнул отец Пимен.

— Великоньки, — сказал я.

— Чего же ты пялишь на босу-то ногу? Поневоле будут велики. Заверни в портянку ногу-то, необузданный, прости господи, леший! Аль нету портянок-то? Тьфу, окаянные, портянок и тех не имеют! На, вот, держи, а свои тряпки-рванину себе возьми напамять! Жене дома отдай. Аль нет жены-то? Ну, матери подари. Вот, мол, вам, маменька любезная, от сынка подарочек. Тьфу! Н-на, обувайся!

Он дал мне пару хороших холщевых портянок, и я, обернув предварительно ими ноги, обулся в сапоги.

— Счастье тебе, — сказал рухальный, глядя, как я обуваюсь. — Знакомый ты, что ли, самому-то?

— Первый раз вижу.

— Вре-е-шь!

— Чего же мне врать, правду говорю. Я сам удивился. Не верится как-то.

— Чудно! Гм-м! Удивительное дело! Вот уж истинно: дуракам счастье. Ну, иди с богом! Небось прямо в кабак отсюда, сменку делать, а?

Я попрощался с ним и вышел за дверь. Идя коридором и слыша, как сапоги поскрипывают по полу, мне сделалось до того приятно и радостно, что я готов был петь и плясать. Усталости как не бывало.

На «странне», куда к ночи набилось народу до отказа, случай с моим переобуванием из лаптей в сапоги стал известен, вызвав множество разговоров и зависти.

А один какой-то здоровенный, одетый в тряпье «странник» с провалившимся носом подошел ко мне и прохрипел:

— Дам вот в рыло, серый чорт, узнаешь сапоги! Откуда ты такой взялся?! Мы не хуже тебя, а нам не дают. Сво-о-лачь!..

В этом монастыре прожил я двое суток и здесь познакомился с одним бывалым бродягой-странником, назвавшим себя чиновником, родом из одного, забыл какого, уездного города Московской губернии. Чиновник этот разбил и расстроил весь план моего путешествия. Он отговорил меня итти в Оптину пустынь и вместо этой пустыни пригласил итти вместе с ним к «Тихону Калуцкому», до которого было ближе, а старцев у этого Тихона, по его словам, было «до чорта». Пословица говорит: «Нищему деревня не крюк», — соображаясь с этой пословицей, подумав, я решил, что почему бы на самом деле не пройти к Тихону? Пойду!

Вышли из города ясным морозным утром. Накануне была метель, испортившая заносами дорогу, двигаться по которой было трудно. Добравшись до первой деревни, чиновник мой отправился «стрелять» по избам, не пропуская ни одной. Я тоже в силу, так сказать, необходимос и — «захочешь папы, протянешь лапы», —зашел в две избы, где мне и подали «Христа ради» по куску хлеба.

Ох, тяжелое это дело — зайти в крестьянскую избу и попросить подаяние! Особенно тяжело, когда, войдя и встав у порога, увидишь, что здесь, где ты хочешь просить, царят беспросветная нищета, грязь, унижение! Вспомнишь вот теперь это — и ужас берет, и содрогаешься весь, и не верится, что это было! А ведь было, было!

Особенно памятна мне Калужская губерния, где в деревнях по избам приходилось наталкиваться на такую нищету и грязь, какой, пожалуй, не найдешь и у каких-нибудь дикарей-эскимосов.

Путь наш лежал на известный по тем местам «Полотняный завод», в котором когда-то проживала жена Пушкина. Какой-то «Гончарихе», как выражался мой спутник, принадлежал завод этот и в то время, когда мне пришлось побывать в нем. Гончариха, владелица завода, была известна нищей братии как «благодетельница», никогда не отказывавшая в подаянии. К ней, к этой «благодетельнице», за подаянием и затащил меня чиновник.

Очутились мы с ним в какой-то конторе, набитой народом, как я понял после, собравшимся здесь в поисках работ, то есть желавших поступить на завод. Ждать пришлось долго. В конце концов вынес нам какой-то бритый человек пятнадцать копеек на двоих и попросил уйти.

Когда вышли за дверь, чиновник мой обернулся, плюнул и выругался. Потом, успокоившись, сказал:

— Наплевать! С паршивой собаки хоть шерсти клок. Все не задаром. На земле не поднимешь! Пойдем чайку попьем, да и к преподобному Тихону.

У «преподобного Тихона» — в те времена богатейший монастырь, главной «святыней» которого был дубовый пень с дуплом, в котором, по уверению монахов, спасался когда-то преподобный Тихон, — проболтался я дня три и, бросив своего до смерти надоевшего чиновника, потихоньку ушел от него в другое место, а именно в скит, находившийся в нескольких верстах от монастыря, где, как мне передавали, были установлены какие-то особенные порядки в отношении общежития, работы и дисциплины.

Помню, было холодное ветреное утро, когда я покинул монастырь. Дорога шла по глухим унылым местам. Да и на душе у меня было уныло, и какой-то голос, от которого делалось стыдно, настойчиво нашептывал в уши о бесцельности и ненужности моего шатанья. По плохой дороге шагать было трудно, и я вскоре же притомился и не шел, а, как какой-нибудь слепой или старик-нищий, брел потихоньку, выбирая, где по дороге меньше снега, где легче итти. Но чем дальше шел, тем все хуже становилась дорога, и не знаю, как бы я добрался до скита, сколько бы времени плелся до него, если бы не случилось следующее.

В одном месте пришлось переходить овраг. Спустившись в него, я стал взбираться на противоположную сторону, где дорогу почти что совсем задуло, и услыхал вдруг, как кто-то позади крикнул:

— Раб божий! Эй, слышь-ка, раб божий! Постой! Обожди!

Я обернулся и увидал, что ко мне в гору едет на запыхавшейся лошади, запряженной в дровни, монах. В дровнях, как я узнал после, лежали чем-то наполненные мешки, прикрытые сверху дерюжиной. Монах сидел в передке дровней и правил, понукая запыхавшуюся в гору лошадь.

— К нам, знать, раб божий, путь держишь? — спросил он, поравнявшись со мной, и, видя, что я молчу, пояснил:— В скит, говорю, идешь-то, а?

— Туда.

— Устал, чай?

— Есть-таки!

— А вот обожди, на пригорок въеду, сядешь со мной, подвезу.

Взобравшись на пригорок, он остановил лошадь и ласково сказал:

— Садись, раб божий. Садись, покури. Куришь, небось, а? А Серый, не трожь, отдохнет маленько. Ишь он, сердешный, боками-то носит. Запалили его, милый, испортили, а лошадь безответная, цены нет. С животиной тоже умеючи надо обращаться. Не как-нибудь. Откеда тебя бог несет? У преподобного, знать, был? Дуб-то видел ли?

Когда лошадь, постояв немного, тронулась, он опять заговорил:

— Чей ты? По обещанью был у преподобного, аль так ходишь: странствуешь по святым местам?

— Да, признаться, и сам не знаю, зачем шляюсь, — сорвалось у меня.

— О-о!? Как же так? Чудно̀, раб божий! Аль глупая голова ногам покоя не дает? Без дела, значит. Пропился? Эх, да и сколько же вас, таких горюнов, от своей глупости пропадает! А ты, раб божий, поступай к нам в скит. У дела будешь. Живи! Спасайся! Работай!

— А что работать-то?

— Найдем дело. У нас хорошо. Все работают. Даром ни один хлеба не ест. В монастыре вон, у преподобного, там другое дело. Там, не в осуждение будь сказано, лодырей много, а у нас этого нету. Зато, — немного помолчав, добавил он, — охотников к нам жить мало идет. Норовят все где полегше, а нас обходят.

— А ты, отец, давно здесь живешь? — когда он замолчал, спросил я.

— Не ахти давно. А что тебе?

— Да так.

Оба мы замолчали. Дорога пошла ровнее, лучше. Лошадь, очевидно чуя близкий отдых, побежала ходчее.

— Скоро скит? — спросил я.

— Скоро. Сейчас приедем.

— А ночевать у вас в скиту найдется место? Пускают?

— Я тебя, раб божий, к себе возьму,—сказал он,—у меня ночуешь. Один я. В саду живу, в сторожке. Яблоневый сад-то. Хо-о-роший! Бо-ольшой! Тысячи корней! Весной, дай-ко вот, бог даст, придет, зацветут яблони — рай у меня, ей-богу! Дыши — не надышешься!

— Значит ты сторожем при саде?

— Да.

— А на службу-то в церковь ходишь?

— А как же — хожу! Да только, горе мое, малограмотен я. До пенья божественного большой я охотник, а голосу мне господь не дал. Рад бы попеть на крылосе, ан не могу! Молюсь вот великому угоднику Роману-Сладкопевцу, прошу его, не поможет ли мне.

— А это кто же такой, Роман-Сладкопевец?

— Говорю — угодник божий. Тоже вот, не плоше меня, голосу сперва не имел, а стал просить, — и услыхал господь моленье его, дал ему прекрасный голос. Молитву на Рождестве поют, кондак, глас четвертый — «Дева днесь пресущественного рождает», — знаешь небось? Так вот он ее, Роман-Сладкопевец, сочинил по божьему внушению. Вышел посередь храма и дивным гласом пропел ее первый раз. Плакали все бывшие в храме, как он пел. С тех вот пор его и нарекли «Сладкопевцем».

Переговорив еще кое о чем, подъехали к скиту. Место, где находился этот скит, было глухое и показалось мне на первый взгляд особенно как-то уныло-печальным. Остановились мы у ворот, сквозь которые надо было въезжать во двор скита.

— Ты, раб божий, — сказал монах, — обожди меня здесь. Я живо управлюсь. А живу я эна где! — указал он рукой на видневшуюся вдали маленькую избенку-сторожку, стоявшую в яблоневом саду, обнесенном кругом забором-плетнем. Туда, к этой сторожке, от места, где мы остановились, вела протоптанная в снегу тропка.

Монах тронул лошадь, въехал в ворота, повернул налево и скрылся. Я остался один, прошел в ворота, куда только что въехал монах, и, остановившись по ту сторону их, огляделся. Направо от меня стояла какая-то точно игрушечная, невзаправдашняя, деревянная, окрашенная, и очевидно давно, желто-коричневой краской церковка. Вход в нее был с крыльца, по деревянным расшатанным ступенькам. Налево стояло деревянное же двухэтажное ветхое здание, и за ним, в глубине двора, еще какая-то потемневшая ветхая стройка.

Все, занесенное снегом, смотрело печально и убого. Людей не было видно, и какая-то пугающая своей мертвечиной тишина стояла кругом. Чувство одиночества, заброшенности, какой-то никчемности охватило меня. Кто я? Что делаю? Зачем здесь? Что ждет меня? Что будет дальше?— задавал я вопросы, не зная, что на них отвечать.

Монах где-то там замешкался и долго не возвращался. Я стал зябнуть. Наконец он вынырнул откуда-то из-за угла и крикнул, не доходя еще до меня:

— Ну, вот я и управился! А ты, небось, иззяб, дожидавшись? Пойдем греться, чай пить.

И, быстро махая на ходу длинными руками, пошел вперед по тропке к сторожке, поскрипывая подшитыми валенками. Я тронулся за ним.

Сторожка стояла, как уже и говорено, в яблоневом саду на небольшой полянке. Ход в нее был с восточной стороны — с покосившегося, залитого около помоями, крылечка. Дверь была заперта висячим старинным замком. Монах достал откуда-то из-за косяка двери, из щели, спрятанный там ключ, отомкнул замок, отворил дверь, и я вслед за ним вошел в избушку-сторожку.

Здесь сразу с хорошего воздуха обдало меня тяжелым, кислым каким-то запахом. Сейчас же от порога, по правую руку, начиналась стенка кирпичной большущей, занимавшей полизбы, печки, от которой полыхало теплом. Низкий потолок и стены закоптели, и из пазов местами торчал какой-то нето мох, нето пакля. В переднем углу стоял покрытый черной тряпкой аналойчик, на нем — развернутая, большая, в кожаном переплете книга. Над аналойчиком в углу — иконы и деревянное, топорной работы, черное распятие —крест. Рядом на стене картинки: «Вид святой Афонской горы», «Моление о чаше» и другие.

— Сымай, раб божий, свой дипломат, — сказал монах, — у меня тепло. Я давеча хорошо протопил. Сымай, сымай, не бойся! Сейчас, — продолжал он, — самовар поставим, чайку попьем. Сымай! — опять повторил он. — Проходи вперед!

Я снял свой «дипломат» и, пройдя вперед, сел к столику на толстый обрубок дерева, служивший вместо стула.

Монах засуетился с самоваром. Копался он с ним что-то долго и в то же время без умолку говорил. Когда же наконец, после долгих мытарств, скверный, кособокий, давным-давно не чищенный самоваришка «поспел», он поставил его на стол, снял с полки чайник с оловянным носиком, засыпал в чайник малюсенькую щепотку чаю, сказав при этом: «господи, благослови», заварил кипятком и после всего этого перекрестился несколько раз в угол на иконы и присел к столу.

— Ну, раб божий, давай теперь попьем, отдохнем, — сказал он, — чай у меня хо-о-роший. Сахару много... Грызи — не жалко! Пей слаще! У преподобного на всех хватит. Чай-сахар нам помесячно выдают.

— А поскольку? — поинтересовался я.

— Четверку я получаю, сахару два фунта. Мне хватает. У нас, — продолжал он, — порция для всех одна. Что игумену, что мне — одна честь. Все у нас заодно, и пища и одежа для всех одинакова. Все работаем. У нас тут господ нету. Простецы все. Крестьяне православные. Я вот до этого-то, до монастыря-то, дома хрестьянствовал по летам, а по зимам извозчиком легковым по Москве ездил. Упряжка у меня что надо была. Лошадь — молонья! На Трубе, бывало, у «Большого Эрмитажа» стоял, а теперь вот здесь.

— Как же ты это из извозчиков да в монахи?

— У меня и жена в обители. Вместе мы ушли из мира. Бездетные мы. Она теперь в Шамардине, в обители женской. Слыхал, может? Недалече от Оптиной пустыни. Отец Амвросий обитель основал. Там она. А ты не бывал в Оптиной-то?

— Нет! Шел-то я было туда, а попал сюда вот.

— Ну, это счастье твое. Преподобный Тихон тебя привел. Что ты думаешь, раб божий, так это вышло? А не так! Шел ты в Оптину, — пришел сюда. Здесь тебе и место. Здесь ты и оставайся!

— В монахи что ли поступать? — спросил я и не утерпел, усмехнулся.

Он заметил мою улыбку и смешно рассердился, сделавшись похожим на курицу-клушку, насильно спихнутую с гнезда.

— А ты не смейся, — воскликнул он, — чего ты зубы-то скалишь! Может, судьба твоя здесь решается, а тебе — хаханьки! Про великое дело говорю, а ты, на-ко, нашел над чем смеяться. Нехорошо, раб божий, грех! Я тебе не для смеху говорю, душевный совет даю, а ты... Нехорошо! — Он замолчал, налил мне и себе в чашки чаю и опять заговорил: — Оставайся здесь. Работай, спасайся. Недаром тебя сюда привело. Ты подумай: где ты лучше найдешь? Чего тебе надо? Живи здесь. Здесь ты пользу великую для себя получишь. Трудиться безропотно у нас научишься, всякую работу — грязную ли, чистую ли — привыкнешь с любовью делать. Завтра вот, господь даст дожить, сведу я тебя к отцу-игумену, представлю тебя ему, попрошу, чтобы принял в число братии. Останешься — и мне радость. Может, почем знать, через меня тебя господь спасет. Может, придет время, сан ангельский примешь, пострижешься, краса месту сему будешь. Пути господни неисповедимы! И то опять подумай: куда ты теперь, зимнее время — денешься? Куда пойдешь? Эна на тебе, одежонка-то! Замерзнешь, а то еще хуже — обморозишься. А зиме-то только начало самое. Морозы пойдут, вьюги, метели, холод, голод. Эх, раб божий, жалко мне тебя, пропадешь!

Нельзя было не согласиться, что он говорит правду, но...

— В монахи я, отец, не пойду!

— Да кто же тебя неволит?.. Какой ты покеда монах? Ты сперва так поживи, потрудись рабочим послушником, а там видно будет. А ты думаешь, тебя вот так сразу в монахи зачислют? Чудак ты, нешто это мыслимо?.. Неуча, раб божий, в попы не ставят!..

— А примут меня?

— Примут. Сказано: «Приходящего ко мне не иждену вон». Оставайся! Некуда тебе итти.

И вот после долгих с его стороны доказательств о прелестях монастырской жизни я сказал, что остаюсь. Услыхав это, монах как-то особенно радостно улыбнулся, лицо его расцвело, и он поспешно несколько раз перекрестился, говоря:

— Слава тебе, боже! Слава тебе, боже! Слава тебе, боже!

— Что же ты так радуешься, отец? — спросил я. — Чему?

— А как же не радоваться мне! — воскликнул он. — Может, через меня ты спасен будешь, и мне награда от господа за доброе дело. Ведь это как понять: ведь я тебя все равно что в хрещеную веру ввел, все равно как нехристя какого-нибудь, татарина али жида, окрестил. Радость

господу! Завтра, — продолжал он, не переставая радостно волноваться, — сведу я тебя к игумену, скажи ему: так, мол и так, желаю, мол, пожить, послужить, поработать. Пачпорт-то у тебя есть ли?

— Есть.

— Слова не скажет — примет! — продолжал монах. — Одежу тебе дадут... Все готовое. Петь, может, ты умеешь? На крылос бы тебя в церковь! Хорошо у нас тут! Увидишь, привыкнешь... Гнать будут — не уйдешь. Человеком будешь!..

На другой день утром он повел меня к игумену.

Игумен — маленький, сутуловатый с пронзительными узкими калмыцкими глазенками, плохо одетый, — торопливо «благословив» сначала монаха, потом меня, сердито, как мне показалось, спросил, обращаясь к монаху:

— Ты, отец Савелий, зачем? Чего надо? Ну, чего надо? Говори скорей, мне недосуг!

Отец Савелий, — так, оказалось, звали моего монаха, — начал объяснять, в чем дело. Пока он говорил, игумен исподлобья своими сверлящими глазами несколько раз окинул меня с ног до головы, и я почувствовал под его оглядыванием какое-то смущение и робость.

— Та-ак, та-ак! — сказал он, выслушав отца Савелия. — Гм-м! «Поработать» хочет, «потрудиться»? Та-ак, та-ак. — И, обращаясь ко мне, резко спросил: — Это ты поработать, потрудиться просишь у нас, а?

— Да, я.

— Гм-м! А умеешь ли ты работать-то? Топор-то в руках держать? У нас тут даром кашей не кормят. Аль думаешь, может, проболтаться зиму-то на готовых харчах, а на весну — хвост в зубы и айда?! Время, мол, глухое проведу как-нибудь, а там наплевать на них?! Гляди, раб божий, заранее говорю: без дела у меня не будешь. Я на-а-учу работать! А потом еще — паче всего послушание! Не должен прекословить! Что заставлю, без ропота должен исполнять! Скажу: носи из пруда решетом воду, — должен носить! Своего рассуждения не должен иметь. Грамотный ты?

— Грамотный.

— Можешь по-церковному читать?

— Могу.

— А ну-ка, на, почитай!

Он повернулся, прошел в передний угол, взял с полки стоявшего там шкафчика книгу, открыл ее и, подойдя ко мне, сказал, показывая пальцем место, где читать:

— Читай-кась!

Я посмотрел на указанное место и стал читать. Сначала заглавие «Псалом избранный», потом дальше: «Вси языцы восплещите руками, воскликните богу гласом радования. Яко господь вышний страшен: царь

велий по всей зямли. Покори люди нам и языки под ноги наша. Взыде, бог в воскликновении, господь во гласе трубне», и так далее и так далее до конца псалма.

— Ладно, — сказал он, когда я кончил. — Учился ты, стало быть. А не из духовных сам-то? Вид-то у тебя есть ли? Ну, а петь не можешь? Гласы знаешь? Ну-кася скажи, на какой глас поется: «Се жених грядет во полунощи»?

Тут-то вот и пригодилась мне наука моей крестной Авдотьи Минишны, которая в детстве пичкала меня «божественной» премудростью. Подумав, я ответил ему, назвав, на какой «глас» поется этот великопостный стих.

— Так, так! — сказал он и, помолчав немного, разглядывая меня, опять спросил: — А ну-ка, вот песнь хвалебную святого Амвросия, епископа Медиоланского прочитай нам здесь!

Я молчал.

— Ну, начинается она так, — подождав и видя, что я не отвечаю, начал он: — «Тебе бога хвалим, тебе господа исповедуем». Неужели не знаешь? Каждый мальчонка знает.

Проэкзаменовав меня еще кое в чем, он наконец сказал:

— Что ж, есть охота — оставайся. Убытку нам от тебя не будет. Только гляди, опять тебе говорю: не даром здесь жить будешь. Остаешься?

— Остаюсь!

— Давай вид.

Я передал ему «вид», который он внимательно просмотрел и сказал, обращаясь к отцу Савелью:

— На скотном, что ли, поместить его покеда, а? Как скажешь?

— Благослови ему у меня пожить в сторожке! — сказал отец Савелий.

— А не стеснит он тебя? Кто его знает, каков он. Может, грубиян...

— Нет, нет! — воскликнул отец Савелий. — Спаси Христос... Пущай живет!

— Ну, как знаешь, — сказал игумен, — тебе виднее.

И опять обращаясь ко мне, и особенно выразительно подчеркивая слова, сказал:

— Опять говорю: гляди, раб божий, после не кайся. Строго у меня. Послушание, работа, а чуть что, не прогневайся, — фить за ворота... Н-ну, идите с богом!

(Продолжение следует.)

Любовь.

Любовь? —
Остановимся, товарищи, на этом.
Любовь — это, видите ли, дождь лучевой.
Он высмуглит сердце огнем и светом,
Потом остановится — и нет ничего.

А бывает и так, что скрипнет челюсть
Волосы встанут, как дивизия штыков.
Через день,
через ночь,
через жизнь
и через смерть
Ты проедешь с любовью такой!

А!! — Это страшно. Страшно и беззвучно,
Беззвучно, как выстрел у самой головы, —
Когда человек, всем наукам обученный,
Начинает сипло, по-собачьи выть.

Он бегает кругами и бормочет: «Маша!
Мушка, Мурашка, Майка, Май!!»
Он каждому трамваю перчаткой машет:
«Стой! Она там! Стой, трамвай!»

Словно биноклем навыворот уменьшенный,
Город мурашами ползет в глазах.
Над городом вытянулось тело женщины,
Раскидывая руки на полный взмах.

А потом, обмирая
от тоски ли, от топота ли,
Помогая паровозу
подкачать в подъем,
Он срывается на скором
от Москвы к Севастополю,

А мы — старые романсы
ему поем.

«Уймитесь, волнения страсти»...
— Поем.
«Расстались гордо мы»...
— Поем.
«Что в имени тебе моем?..»
Поем, поем, поем, поем!!

Он, вы думаете, спит?
Ничуть не бывало!
Значит, скажете, не спит?
— Совсем иначе!
Он, вы верите, живет?
— Живет, но вяло.
Он, вы думаете, плачет?
— Немного плачет...

И когда, открывая покой обещанный,
Севастополь ударит колоссальной синевой, —
Встанет из пены рожденная женщина,
В тучах ныряя рыжей головой.

А! Это ты, уходящая в пену столетий,
В пену столетий, в камень эпох!
Какие же романсы мне-то петь ей,
Когда мой язык от жары иссох.

Товарищи! Вы слышали вой бежавшего? —
Слушайте вопль, древний и простой.
Самый глухой из вас и самый безжалостный
Протянет руку и крикнет: «Стой!»

Завалите человека морем и ветрами.
Гоните сюда доклады и сводки!
Мучьте до рассвета. Стучите в рамы.
Стаканом оптимизма или рюмкой водки.

Скорее кидайте в него цитатами,
Глушите книгами, держите дисциплиной,
Чтобы в самом последнем его атоме
Началась усталость длинная, длинная.

Товарищи! Рванитесь на него ночами,
Вырвите ему нервы ушей и глаз, —
Потому что т а к о е свирепое отчаянье
Может прикончить каждого из вас!

Владимир Луговской.

Ночь.

Постой! Темно! Выключатель сбежал.
Наощупь... Шкафы, портрет, этажерка.
Вот он — диван, ковер, кинжал, —
Старый кинжал. Дожидается жертвы.
Что это? Стул. Что это? Дверь.
Книги, книги — гнездовья пыли.
Рюмки, тарелки. Одна. Две.
Три — очевидно ели и пили.
Я до сих пор не сумел заметить,
Я до сих пор не успел учесть,
Что в комнате моей
                    столько предметов,
Что в комнате моей
                    столько вещей.
В пальцы ударил письменный стол,
Стукнула трубка моя чинаровая.
Гранки, чернильница, лампа. —
                                        Стоп!
Итак, мы начинаем!
Я не вижу тебя. Я не слышу тебя.
В мои стекла ночная метелица хлещет.
Я не вижу тебя. Я не слышу тебя:
На меня напирают ребристые вещи.
Их становится больше, их становится больше —
Они тело мое обступили плотно.
Их сработал текстильщик, сработал стекольщик,
Их работал столяр и работал плотник.
А в окно, поднимая холщевую штору,
Вереница немая домов и заборов, —
И бетонщик, и каменщик,
И монтер, и кровельщик
С налитыми руками еще,
С пролетающей кровью еще,

Приминая фуражкой запотевшие пряди,
Разминая плечи, оглаживая бороды, —
Мобилизованные отряды
Строителей моего города:
Двадцатый,
Девятнадцатый
И восемнадцатый век.
Извести снежная патока.
План, чертеж, размер в голове,
Циркуль, отвес, лопатка.
Но это же люди! Они в жизнь одеты,
Они голодом биты и холодом жжены.
С ними идут их дети!
С ними идут их жены!
А поодаль, в регалиях полных,
Марширует свирепая полночь:
Дворяне с единым ампирным лицом,
Стряпчий, ласково крадучись,
Торговые ряды купцов,
Косые клинья подрядчиков.
Ангельский хор в полицейских чинах
Поет.
Вот флейты и бубны солдат повели
Вперед.
Это Москва
Графа Растопчина,
Мезониностроители и храмосоздатели.
Ближе — бурый кирпич доходных домов,
Особняк «Модерн» — желто-розовый.
Это прут на московские семь холмов
Рябушинские и Морозовы.
Это фабрика. Дым. Изразец. Гранит.
Это бычья сила на убыли.
И стоцветные фрески пишет для них
Сумасшедшая мощь Врубеля.
Но гремит бас-труба,
и горит бас-баритон,
И литавры бьют
о щеку щекой.
Это в город льют
молодой бетон
Молодые ряды
бетонщиков.
И подошвы бьют
в слюдяной уют

Сквозь сугробы дворов
                    и морозный ков
В распорядке рук
                    клокоча плывут
Меловые цитаты
                    лозунгов...
Так входит мир, музыка, бред
В сердце, в глаза и в комнату мою
Через чернильную ночь в декабре,
Ветром и временем вогнутую.
Мир необъятный, — мой и ничей, —
Входит, нисколько меня не заметив,
В комнату, где столько вещей,
В комнату, где столько предметов.
Как же вдруг твое тело на легких ступнях,
С перелетными вспышками глаз и ладоней
Наполняет меня, раздвигает меня,
Вытесняет все вещи, живущие в доме.
Но они не сдаются, они сдвинулись плотно,
И скрипеньем стола говорит мне плотник:
«Не на тему! Регламент! Короче, короче!
Ты ведешь пропаганду постельной ночи.
У нас выдумки нет, и слова хромают,
А вещь не расскажет — она немая.
Ты возьми меня, старого мастера по дереву,
Опиши меня так, чтобы все поверили.
Опиши поясней, чтобы все увидели,
Как здоровый дом поднимают строители.
Как вставляют стекло и грохочут крышами, —
Опиши это так, чтобы все услышали!»
Мастер прав.
                    А тебя не измеришь меркою.
Не пора ли проститься, не пора кончать ли?!
Я стою армейцем на ночной поверке.
Уходи! Я повертываю выключатель.
Полуваттное солнце влетает во тьму.
Занемелые пальцы карандаш очиняют.
Мы простились. Довольно! И потому
Я начинаю!..

Владимир Луговской.

Рассвет со стороны Китай-города.

В тяжелой, сумрачной коре
Домов и улиц —
тлен и сырость.
На сукровице фонарей
Цветок зари
внезапно вырос.
В усопших бухтах площадей
Перемывает ветер
флаги.
Плакаты
— пестрый плащ идей —
Намокли утреннею влагой.
На ветхих башнях
бархат мха —
Веками вытертая мебель.
А там,
где сбоку
жмется МХАТ,
Коней четверка
рвется
в небо.
Зеленый юноша
летит,
Стегая бронзовые крупы.
Ему вся площадь —
как петит,
Рассыпанный вразброд
и скупо.
Ему вся площадь —
лишь предлог,
Чтобы стремглав
умчаться
в небо. —

От стен,
от крыш,
где мягкий мох
Баюкает
седую небыль.
Одно мгновенье —
и простор.
Одно мгновенье —
и забыты:
Соседний МХАТ,
фонтан,
Мосторг,
Автобусной толпы избыток.
Но бремя бронзы
грез сильней.
Но бремя бронзы —
груз
(не спорьте!..),
И эта вздыбленность коней —
Всего лишь
гениальный
фортель.

Сергей Алымов.

Красная поляна.

1.

Аибга.

В речке громкой да шибкой
Отраженье дробя,
Кто-то к людям, Аибга,
Все-то манит тебя.

Пусть хранишь снег от зим ты
На взнесенной земле, —
От вершины до Мзымты
Ты в каштановой мгле.

Комсомол босоногий
В шесть коричневых ног
По бурливой дороге
Переходит поток.

Поучая гречанок
Да пятнистых свиней,
Он поет спозаранок
О раздолье морей.

Но за выси мгновенный
Канет огненный лик,
Лишь как остров блаженный
Проалеет ледник.

И по мостикам гнутым
Козы с пастбищ сойдут,
И по темным закутам
День зеленый замкнут.

Облак спустится зыбкий,
Приподнимется пар,
Над тобою, Аибга,
Встанет огненный Марс.

И террасы пониже
Потекут облака.
Землю, небо ль пронижет
Острой зыбью река?

И мерцающим блеском
Запорхает трава,
И лягушечьим треском
Запоют дерева.

И, ударясь о елки,
В тьму речной быстрины
Звонко грохнут осколки
Среброломкой луны.

И пойду в этой чуши,
Схвачен блеском и мглой, —
Между звезд и лягушек,
Над гремучей луной.

2.

Лагерь пионеров.

Где-то за досчатой
Дачею в рожок,
Верно наудачу,
Трубит пастушок?

Нет! Сереброзвонный
Краснощекий шквал
На земле зеленой
Празднует привал.

Искрами роится
Алыми весна, —
Скоро огласится
Песнями она.

3.

Под ногой хрустит нагорный щебень.
Лунно льется мельничный ручей.
Над жильями снежный мреет гребень
В сизой мгле полуночных лучей.

Горцы спят, стреноженные снами,
В бурку чащи кутается мгла.
Только жаба вещими прыжками
Мой подлунный путь пересекла.

Лишь оконце, брызнувшее ало,
Алычи очерчивает куст;
Лишь коней, бредущих с перевала,
Выдает ломающийся хруст.

4.

На баржи нагружали, споря,
Абрикосы и тайный ром.
Стало синее золото моря
Фиолетовым серебром.

И погас чей-то окрик ражий,
Скакуна пресекая храп.
По-абхазски картавя, стража
На конях окружила трап.

Но уж ночь плыла не во взор ли,
И не в песню ль — снастей огонь?
Я узнал тебя, друг мой Орлик,
Мой лохматый, мой рыжий конь.

Где ж хозяин твой с ясным взглядом?
Лучший в памяти день найти ль, —
Как все трое мы мчались рядом
На скалистом, земном пути?

Мне сжимало восторгом горло,
Мне спирало восторгом грудь,
И кричал твой хозяин: «Орля!»,
На крутой забираясь путь.

Выше! Выше! Еще! Высоко
Склон аркадой свисал порой.
Обезумевшего Софокла
Трагедийный я понял строй.

Чтоб камней тех прославить Трою,
Нету голоса, нету лир!
Да, он все ж несказанно строен,
Несказанно прекрасен мир!

...Ну, прощай, мой товарищ Орлик,
Мой лохматый, смешной Пегас!
Сложен плед мой, — и дышит море
В сине-черный, прощальный час.

Константин Липскеров.

Тревоги фашизма.

Назыр.

Фашистская печать бьет тревогу.

Еще недавно, в свей сенатской речи в июне 1928 г., Муссолини заявлял, что дружественные отношения с Англией служат основой внешней политики Италии. Казалось, такое положение неоспоримо. Кто оказывал послевоенной Италии наиболее действительную поддержку? Кто удовлетворял ее колониальные вожделения, отдавая ей Джубалэнд и Джерабуб? Кто договаривался с итальянцами о положении в Абиссинии, охране Красного моря, режиме в портах Арабистана? Кто предоставлял Италии заключать соглашение с Грецией Пангалоса, закреплять свой балканский плацдарм в Албании, координировать свои действия с Испанией в вопросе о Танжере связываться договором с Венгрией для противодействия Малой Антанте? Кто, на страх Турции, снабжал в свое время кардифским углем итальянскую базу в Родосе и устами Черчилля пел хвалы фашистскому режиму?

И вдруг «Тевере» дерзко заявляет, что современной Англии недостает Питтов, Каннингов и Пальмерстонов: без них-де ей не восстановить своего былого международного престижа! И мир в Европе, строящийся на базе англо-французской солидарности, характеризуется той же газетой как «ад для молодых народов, имеющих будущее». И стремления англо-французской Антанты стабилизировать положение на континенте, не спрашивая согласия прочих наций, вызывают самые резкие протесты со стороны таких органов итальянской печати, как «Мессажеро» и «Трибуна».

Как ни импульсивна фашистская печать, все же столь крутой поворот не может не вызывать некоторого недоумения.

Что же так действует на нервы фашистов?

Дружбу с Англией послевоенная Италия склонна была рассматривать как свою монополию. В этой дружбе она видела помощь для себя в старом соперничестве с Францией, залог усиления своего в Средиземье и на Балканах, опору для стремлений своих пробиться к источникам сырья для итальянской индустрии, к рынкам сбыта для своих товаров, к плохо лежащим кускам чужих земель для своей колонизации.

С другой стороны, и для самой Великобритании соперничество с антагонистом Италии — Францией — являлось до недавнего времени основным содержанием ее политики на континенте.

Притязания Франции на роль гегемона послевоенной Европы встречали со стороны Англии упорное и систематическое противодействие. Целью последнего было изолировать Францию, ослабить ее влияние в различных частях Европы и в Средиземье. Покровительство побежден-

ной Германии, подрыв Малой Антанты, разложение франко-польского, франко-чешского, франко-румынского, франко-югославского союзов, поддержка антифранцузских тенденций Испании, сопротивление образованию континентального фронта против Англии — таковы были задачи Форейн-Оффиса. В этом плане использовалась им и фашистская Италия. Заостряя ее трения с Францией — по вопросам о Танжере, Марокко, Тунисе, Балканах, Сирии, — британская дипломатия создавала под боком французов непосредственную — германскую и итальянскую — угрозу. Эта поджигательская политика увенчалась на первых порах крупным успехом. Соглашениями в Локарно терроризированная Франция признала Англию арбитром и гарантом во взаимоотношениях своих с Германией.

Чемберлен мог торжествовать. Но успехи великобританской политики в Старом свете сопровождались обострением взаимоотношений Англии с заокеанским колоссом — Соединенными штатами Северной Америки. Борьба за сырье и топливо, погоня за рынками для товаров и для вывозимого капитала осложнились состязанием за первенство на морях и соперничеством из-за руководящей роли в международных отношениях. Другая оп. сность возникла на Востоке: прервались отношения Великобритании с Советским Союзом, зашевелились английские колонии и доминионы, грозным валом поднялась революция в Китае. Положение гегемона Европы стало критическим. В воздухе запахло пожаром. Англии пришлось подумать о скорейшей страховке. Страховой полис, как и накануне мировой войны, получен был ею в Париже. За него — хотя бы на время — англичанам пришлось отказаться от тактики поджигателей Европы.

Образовать общеевропейский фронт против Америки, с одной стороны, а с другой — установить согласованную тактику держав старого континента в русском и восточном вопросах — возможно было лишь при условии, что антагонизмы крупнейших держав — Франции с Германией, Италии с Францией, Германии с Италией, Франции с Испанией — будут сглажены, хотя бы в некоторой степени и по крайней мере на ближайшее время. К этому и направлены были усилия английской дипломатии с половины 1927 г.

Форейн-Оффис старается успокоить Францию относительно действий Италии в Албании. Итальянцам он внушает, что франко-югославский договор не представляет для них никакой опасности. Совместно с французами склоняет он Югославию вступить в переговоры с Италией и продлить действие раппальских соглашений. Переговорами Чемберлена с Примо де Ривера в Пальме вынуждает он испанское правительство умерить свои требования в вопросах о Танжере и Марокко. Дипломатические аргументы Форейн-Оффиса подкрепляются вескими доводами лондонского Сити: Белграду и Мадриду сулятся займы в награду за доброе поведение. Для вящшего поощрения послушных Совет Лиги наций торжественно предлагает Испании вернуться в его лоно. Для обсуждения же средиземноморских вопросов намечается конференция заинтересованных держав — Франции, Англии Испании Италии. Нечего и говорить, что место арбитра за зеленым столом, как всегда, предназначается для Великобритании.

Новая тактика начинает применяться Англией и в отношении Германии — главного соперника французов. Английская политическая печать развертывает против нее широкую кампанию. Немцев обвиняют в служении идее реванша, в мечтах об исправлении восточной границы. Их клеймят за преступную близость с Советами. Ряд публицистов — Мечрей, Кэлдуэлл, Дэдли Хеткот — защищают притязания Польши на «коридор»

и на самый Данциг, упрекают Германию в забвении локарнских обязательств, восхваляют Малую Антанту как барьер против большевиков и немецкого «Дранг нах Остен». Достаточно известный «Авгур» в статье о «Затруднениях Штреземана» весьма настойчиво приглашает германского министра иностранных дел покончить с оглядками на большевиков, обуздать ненавистников Польши в собственном министерстве и решительно взять курс на сотрудничество с Францией и Великобританией. Для того же, чтобы более осязательно дать почувствовать Германии необходимость такого сотрудничества, Лондон демонстрирует согласованность своих действий с Парижем в существеннейших для немцев вопросах — об освобождении Ренании, о союзных долгах, о репарациях.

Франко-английская солидарность выявляется не только в области политических отношений, но и в вопросах чисто военного характера. На маневры французской армии в Ренании прибывает английский кавалерийский полк. Британский министр авиации присутствует на эволюциях французского воздушного флота. Французская теза о разоружении — с акцентом на гарантиях безопасности — поддерживается и английским правительством. Увенчивается все это франко-английским морским соглашением, после которого мировая печать, уже не обинуясь, говорит о действительном возрождении Антанты.

Если розы этой Антанты выпали преимущественно на долю Франции, то шипы ее вскоре дали себя почувствовать Италии.

Уже по поводу последнего договора своего с Албанией (ноябрь 1927 г.), фактически установившего над государством Ахмед-Зогу фашистский протекторат, Рим получил от Лондона многозначительное напоминание о национальном суверенитете этой страны. Неодобрительно отнеслось английское правительство и к агитации итальянцев за пересмотр послевоенных договоров. Не постеснялось оно и выдворить за пределы Англии италофильствующего румынского принца, собиравшегося подготовить из Лондона фашистский переворот в Бухаресте. Совсем недвусмысленным предостережением против заигрывания Италии с македонцами явилось согласованное представление английского и французского посланников болгарскому правительству о необходимости прекратить деятельность македонских чет на югославской границе. Холодок, веющий из Лондона, чувствовался в Риме все сильнее и сильнее. Английская печать заговорила о «подозрительной» политике Муссолини, угрожающей миру Европы. Появились статьи, разоблачающие «миф» о процветании Италии при режиме фашистской диктатуры. С цифрами и документами в руках авторы этих статей рисовали перспективу экономического банкротства страны, картину ее политического угнетения в рамках «конституционной» реформы Муссолини. Правда, чаще других под этими статьями стояли итальянские имена — Анджело Креспи, Савемини. Но не знаменательно ли, что руководящая печать Великобритании столь охотно начала предоставлять свои страницы политическим эмигрантам из Италии, врагам фашистского режима?

Англо-французское морское соглашение вызвало в Италии негодование и тревогу. Конечно, острие его направлено, главным образом, против Соединенных штатов и Советского Союза. Но не договорились ли Лондон и Париж и по другим вопросам внешней политики? Не условились ли они и о генеральных линиях ее в центральной Европе и на Балканах, в Средиземье и на Востоке? Ведь если Англия охраняет первенство свое на морях, то для Франции жизненный вопрос — господство на континенте. Ей нужны — Германия, разоруженная, ампутированная, посаженная на цепь репараций и союзного контроля; Малая Антанта —

сторож послевоенного статус-кво, кордон против опасности большевизма; Италия, запертая в клетку своих границ, не смеющая задеть союзников Франции на Балканах, посягнуть на французские земли в Африке, протянуть руку к сирийскому мандату или Александретте. Не таковы ли условия, на которых вступила Франция в блок с Великобританией? И если последняя поддерживает этот блок, не предает ли она интересов Италии?

И вот «Тевере» уже открыто упрекает Англию в том, что дружба ее с Италией никогда не шла дальше платонических манифестаций. Вновь ставится газетой вопрос о соглашении держав, неудовлетворенных послевоенным положением. В своей запальчивости она закусывает удила: она требует пересмотра внешнеполитической линии фашизма. Прежний курс не оправдал ожиданий Италии. Берлин и Москва — вот каковы должны быть вехи ее новой ориентации.

Отнюдь не следует преувеличивать серьезность этих заявлений. Конечно, Италия раздражена. Быть может, она и несколько обеспокоена. Но слишком ясен торгашеский расчет, скрывающийся за всей этой истерикой. Крикливая демагогия фашистов служит своекорыстным целям. Ее вопли о «несправедливости» и угнетении «слабых» являются приемом вульгарного международного шантажа.

Курс на Берлин. Как — при страхах Италии перед австро-германским Аншлуссом? При экономическом соперничестве ее с немцами на Дунае и в балканских странах? После скандальных приемов насильственной фашизации Тироля? Несмотря на решительные заявления влиятельнейшей немецкой печати, что Германии — не к лицу затевать роман с Муссолини? Кто же примет все это всерьез?

Не верят собственным угрозам и сами фашисты. Они просто пробуют припугнуть англо-французский блок. Они напоминают, что нельзя Лондону и Парижу сговариваться без Рима. Они набивают себе цену перед очередными дипломатическими торгами. И, наверное, глядя на них, улыбками авгуров обмениваются между собой сих дел мастера во Франции, Великобритании и прочих империалистических державах.

Не так давно в примечательной статье «Сущность итальянского империализма» один из последовательнейших идеологов фашизма — Франческо Коппола — с полной ясностью формулировал, чего желает современная Италия.

Живая сила страны, якобы превышающая емкость итальянской территории, вынуждена рассеиваться по всему свету. Она служит обогащению и мощи других народов. Такое положение недопустимо. Итальянец не может быть вечным скитальцем на чужбине. Не хочет он и отрекаться от своего отечества. Он должен быть хозяином земли, на которой находит себе пристанище. Это значит, что Италии нужны такие же колонии, какие имеются у Англии и Франции.

Средиземноморская страна по преимуществу, Италия находится, однако, в положении пленника в этом бассейне. Двое ворот Средиземного моря — в чужих руках. От Танжера до Александретты, за исключением пустынной полоски Ливии, все африканское и азиатское побережье принадлежит другим. От Тулона к Корсике, от Корсики до Бизерты, от Бизерты до Мальты, от Мальты до Корфу, от Корфу до Спалато и Безенико — Аппенинский полуостров охвачен морскими базами иных держав.

Там, где высилось здание Римской империи, где утверждалось когда-то величие Генуи, Неаполя, Венеции, — чужестранцы установили свое господство. В Марокко и Сирии — Италия зависит от Франции,

в Египте и Палестине — от англичан. В Алжире 150 тысяч сынов Италии подвергаются принудительной ассимиляции со стороны французских властей. То же творится и в Тунисе. Наконец, Италию вытесняют из Танжера. Не позволяют ей овладеть и Додеканезом, приобретенным ее оружием во времена ливийской войны.

Италия окружена со всех сторон. Не только естественному росту ее территории, но и ее пропитанию, свободе, безопасности — ставятся неодолимые препятствия.

Италия требует себе достойного места в ряду других держав. Она не потерпит долее, чтобы на мировой сцене выигрышные роли отдавались другим, а ей оставалось место статиста. Это называется империализмом? Пусть так! Таков, значит, итальянский империализм!

Современная Италия, — заключает ее б:рд, — противополагает себя слабости и шатаниям нынешней культуры. Она враждебна анархии, начавшейся с реформации и приведшей к коммунизму. Она не приемлет романтики и демократизма, борется против социализма и интернационализма. Ей чужды ложь парламентаризма, фальшь избирательных систем, прелести классо ой борьбы. Она реставрирует принципы классического Рима и охраняет римско-католическую цивилизацию от боль шевизма и от владычества доллара.

Существенные мысли, высвобожденные из-под цветов всей этой риторики, чрезвычайно просты и совсем не так возвышены. Италия добивается колоний. Она хочет укрепить свое положение в Средиземье. Она желает более широкого участия в дележе добычи империалистов. За это она предлагает им использовать ее силы для борьбы на обоих фронтах — противоамериканском и противобольшевистском.

Тога Кола ди Риенци сбрасывается с плеч его фашистских эпигонов, римские фасции заменяются костяшками счетов, трибуна форума — грязноватым прилавком. Купец предъявляет к оплате векселя, раскладывает свой товар, приступает к торгу.

Конечно, в коммерции — не без запроса. Купцы Лондона и Парижа отлично знают, что Рим дорожится больше для порядка. Кое в чем он согласится уступить. Не будет же он наст ивать, например, что Италия больше всех стран страдает от перенаселения: ведь достаточно будет напомнить ему о Голландии, Бельгии, Германии. Не решится же он доказывать всерьез. что итальянцы мучатся от земельной тесноты: ведь неудобной земли в Италии не свыше 8%, а весь юг страны и Сицилия — покрыты латифундиями магнатов. Не станет же он жаловаться, что ему негде повернуться в колониях: ведь на 400 тысяч населения Эритреи итальянцев приходится всего 4 тысячи, на полмиллиона с лишком в Сомали — 600 душ, на миллион в Ливии — не свыше 10 тысяч. Вряд ли захочет он распространяться и о благодеяниях римско-католической культуры в своих колониях; не могут же не знать французы и англичане, что рабовладение фактически существует в итальянской Сомали и в Эритрее и что кнут —«курбаш»—служит первоосновой дисциплины в цветных войсках фашистской Италии?

Танжер, Тунис, Абиссиния, границы Ливии, Арабистан, Додеканез, Адриатическое побережье, все та же Албания, Югославия, Болгария, Дунайская область, меры против политэмигрантов из Италии, охрана национальности итальянцев во французских колониях — вот о чем будет торговаться фашистская дипломатия с англо-французским блоком. Конечно, Франция напомнит ей о том, что итальянцы сами увели войска из Анатолии, облегчили туркам разгром греков и тем лишили себя Адалии. Она разовьет свою тезу: «Балканы для балканских наро-

дов», — будет возражать против капитуляционного режима в пользу итальянцев в своих колониях, станет изобличать Италию в военных приготовлениях на французской границе. Однако перед глазами французов будут стоять призрак возрождающейся Германии, большевистская зараза, восстания в колониях, опасность затруднений в доставке цветных войск из Африки в случае войны... Все это сделает их более или менее сговорчивыми.

А как же Англия?

Конечно, и она менее всего расположена ссориться с Италией. Сбросить фашизм со счетов было бы крупнейшей политической ошибкой. Отнюдь не склонна Великобритания и заходить слишком далеко в направлении сотрудничества с Францией. Уже раздаются голоса британских политиков, предостерегающие против забвения интересов чисто английской национальной политики. Уже упрекают Чемберлена в излишней «сентиментальности» относительно французов. Уже говорят, что он «держится за полу господина Бриана» легкомысленно обостряет англо-американские антагонизмы, отталкивает во враждебный лагерь Германию — этого желательнейшего союзника Англии. Внешнеполитическая дискуссия переносится на избирательную платформу. Противники правительства консерваторов выступают с резкой критикой его внешней политики. Либерал Ллойд-Джордж обвиняет кабинет Болдуина в «унижении» национального достоинства Великобритании. Представитель рабочей партии, бывший канцлер казначейства, Сноуден заявляет в Палате общин, что Черчилль предал финансовые интересы страны, дав возможность Франции «мошеннически» увильнуть от уплаты четырех пятых своего долга англичанам. Невзирая на патетические предостережения французского официоза, внушительная делегация английских промышленников едет в Советский Союз. Она хочет восстановить связи с его гигантским рынком, смягчить остроту кризиса английского сбыта, предупредить опасность дальнейшего роста безработицы в Соединенном королевстве. Вновь вносятся в парламент запросы правительству: не намерено ли оно содействовать возобновлению нормальных отношений с Союзом? Явное дело: боевой курс твердолобых против Америки и против Советов вызывает реакцию. Слишком решительная линия на политическое сотрудничество с Францией не встречает достаточной поддержки английского общественного мнения.

В противоположность этому вспоминаются услуги, уже оказанные Великобритании Италией. В пору острых споров Англии с Турцией о Моссуле — не она ли стала «бросать взоры на Восток», угрожающе бряцать оружием, снабжать свою базу в Родосе всем необходимым для десанта в Анатолии? В наиболее критический для Англии момент революции в Китае — не итальянский ли крейсер первым бросился на соединение с британской эскадрой? Итало-абиссинский, итало-испанский, итало-албанский, итало-венгерский, итало-румынский, итало-греческий, итало-турецкий договора — не закреплялись ли ими последовательно антифранцузские позиции Италии? И не отвечали ли они в свое время интересам также великобританской политики, — поскольку противодействовали усилению французского влияния в международных отношениях?

Отдав дань англо-французскому сотрудничеству, Чемберлен назначает свидание Муссолини во Флоренции. Ранее зеленого стола англо-франко-испано-итальянской конференции два авгура встретились за белым столом интимного обеда. Здесь они могли уже не только обмениваться тонкими улыбками, но и посмеяться вдоволь, без стеснений. Мус-

солини — над Францией, которую Чемберлен так серьезно уверяет в своей друбже. Сер Остин — над Турцией, Грецией, Албанией, которых Муссолини старается пока заворожить своей любезностью, чтобы в надлежащий момент удобнее схватить их за горло.

Они расстались, довольные обедом, друг другом и положением. Чемберлен отправился подрабатывать конкретные основы франко-итальянского компромисса, дипломатически отвечать на запросы оппозиции в Палате об англо-советских отношениях, кроить кисло-сладкие улыбки по адресу Вашингтона. Муссолини — настраивать на прежний англофильский лад свою прессу, снаряжать Гранди к поездке в Тирану и Польшу, готовить гала-прием для турецкого министра иностранных дел.

Когда отгорят огни этого пышного приема, дуче снимет фрак и облечется в покойную пижаму. В домашнем кругу, без стеснений и околичностей, будет говорить он с близкими людьми, зачем нужна фашистской Италии «дружба» с восточным соседом.

Быть может в этот час вспомнятся ему слова, сказанные совсем недавно его собственным братом, Арнальдо Муссолини, сотруднику одной американской газеты:

«Тунис? Может быть, — но только потом. Триполи мы имеем уже сейчас. Но Триполи — только начало. Далее — восточный бассейн Средиземья. Там — остатки старой Оттоманской империи. Албания — страна сравнительно богатая маслом, в котором мы нуждаемся. Сирия — страна, которую никогда не сможет колонизировать Франция, за недостаточностью собственного населения. Смирна, которая отлично может принадлежать нам. Наконец Адалия...»

Албанию фашизм пока кушает с маслом. Удастся ли ему так же комфортабельно проглотить и другие куски? Взять, для примера, Турцию. Недавний опыт греков и союзников в борьбе с турецким национальным движением как будто сулит фашистским воителям нечто совсем иное.

Да и пройдет ли безнаказанно для фашистского режима новая военная авантюра? Один из итальянцев, слишком хорошо знающий свою родину, высказался на этот счет достаточно определенно:

«Всякая попытка бросить массы Италии в новую внешнюю войну неизбежно вызвала бы в стране войну гражданскую».

«Для мудрого — достаточно», — гласит старое римское изречение. Нынешним хозяевам Рима, конечно, далеко до мудрецов. Тем хуже для них самих. Тем лучше для итальянской социальной революции.

Либерал или черносотенец.

(По поводу воспоминаний Б. Н. Чичерина).

Ф. Раскольников.

Издательство Сабашниковых выпустило отрывки из воспоминаний известного историка и юриста, профессора Б. Н. Чичерина. По своему социально-классовому происхождению Чичерин принадлежал к родовому поместному дворянству. Его отец был богатым тамбовским помещиком и откупщиком. В то же время Борис Чичерин по своей профессии состоял профессором Московского университета. Землевладельцы дворянского происхождения нередко вступали в ряды либеральных профессий. В следующем поколении они, наряду с городской средней буржуазией, составили один из основных элементов кадетской партии.

По социальному положению и по политическим взглядам Чичерин может считаться предшественником кадетов. Какова же была его идеология? Во вступительной статье С. В. Бахрушин называет его умеренным либералом. Эта характеристика Бахрушина вполне совпадает с установившейся традицией. Я считаю нужным пересмотреть этот взгляд и разрушить сложившуюся легенду. Опубликованные воспоминания, раскрывающие сокровенные тайники политической идеологии Чичерина, дают основание для критического пересмотра идейных позиций Чичерина в истории русской общественной мысли.

Давая оценку эпохе 60-х годов, Чичерин в своих воспоминаниях, написанных через 30 лет после событий, не может хладнокровно говорить о революционном движении. Всякий раз, когда он упоминает имя великого революционера Н. Г. Чернышевского, с его уст слетают слова, брызжущие безудержной ненавистью и нескрываемым озлоблением.

«В литературе высказывались самые крайние мнения, — пишет Чичерин, — в «Современнике» главный руководитель этого движения, Чернышевский, явно проповедывал социалистические и материалистические теории. Он был в это время на вершине своей популярности и выступал перед публикою *с самыми наглыми изъявлениями*» (курсив мой, стр. 22).

Легко представить, как был взбешен Чичерин, когда в начале 60-х годов, незадолго до своего ареста, Чернышевский приступил к чтению публичных лекций.

«Говорят еще, — прибавлял я, — что Чернышевскому разрешено читать публичные лекции. Это тоже искра на порох» (стр. 58).

Чичерин критикует правительство Александра справа — за его мнимый «либерализм»; по мнению Чичерина, лекции Чернышевского следовало бы запретить. Неменьшую ненависть питал Чичерин к А. И. Гер-

цену: «Русская интеллигенция предавалась тому неистовому беснованию, которое так возмущало меня в Герцене» (стр. 14—15).

В 1861 г. появилась прокламация Н. В. Шелгунова и М. И. Михайлова «К молодому поколению». По поводу нее Чичерин с раздражением замечает: «В это самое время явилась безумная прокламация Михайлова» (стр. 22). «Наглые изъявления» Чернышевского, «неистовое беснование» Герцена, «безумная прокламация» Михайлова — таковы эпитеты нашего мракобеса. С пеной у рта он говорит обо всем, относящемся к революции. Немудрено, что революционеры для него просто-напросто «гады», копошащиеся где-то внизу (стр. 22). Он — яростный враг студенческого движения. Аксаков, Катков, графиня Салиас ему кажутся рьяными либералами. Он расходится во взглядах даже с умеренным Кавелиным. Но при всем этом он с гордостью величает себя либералом и выдвигает свой лозунг: либеральные меры и сильная власть.

«Либерализм» Чичерина мы уже видели на примере его отношения к представителям передовой революционной мысли. А что означала на его языке «сильная власть»? Яркий свет на этот вопрос проливает одно из его писем к брату, относящееся к 1861 г., где Чичерин пишет: «Я все здесь твержу, что дело кончится тем, что нас всех пересекут — и правых и виноватых, — что найдется же, наконец, в правительстве хоть один храбрый человек, который возьмет палку в руки, — и тогда все возвратится к старому порядку. Не то могут случиться страшные несчастия. Русский человек любит, чтобы его изредка посекли; не нужно только держать его в постоянных кандалах» (стр. 25). Здесь наш автор доходит уже до неприкрытого воспевания самовластия и прелестей кнута. Эта апология плетки привела к тому, что даже Кавелин, который далеко не отличался радикализмом, почувствовал себя вынужденным от него отмежеваться.

В полном соответствии со всем его мировоззрением Чичерин был закоренелым противником женского образования. «Допускать молодых женщин в университет, — писал он, — когда не знаешь, как справиться с молодыми мужчинами, это было верхом безумия» (стр. 60).

Сторонник конституционной монархии, горячий поклонник «великих» реформ, Чичерин не находил слов, чтобы выразить свой восторг перед освобождением крестьян, на самом деле еще более закабалившим крестьян помещикам. «Изучая положение 19 февраля, — пишет он, — я исполнился благоговением к этому созданию созревшей русской мысли. Я видел в нем лучший памятник русского законодательства» (стр. 12).

Тщательно охраняя интересы дворянского землевладения, Чичерин энергично выступил на защиту идеи сохранения дворянского сословия. «Вся русская журналистика, — вспоминает Чичерин, — ополчилась против моих статей. В Москве не только «День», но и «Русский вестник» ратовали против сохранения дворянства... Среди самого дворянства выдающиеся люди находили мое направление слишком консервативным» (стр. 70). Даже П. П. Шувалов, который, по собственному отзыву Чичерина, «далеко не принадлежал к числу рьяных либералов», обмолвился по его адресу следующей нелестной фразой: «Я нахожу, что он нас слишком усердно защищает» (стр. 71). Одним словом, социально-классовая сущность политического учения Чичерина совершенно ясна. Он являлся идеологом дворянско-помещичьих слоев, осознавших необходимость буржуазно-капиталистического развития России. С упорством фанатика Чичерин защищал интересы своего класса. Ожесточенно борясь за интересы дворянского сословия, он всемерно поддерживал аграрную реформу, совершенную правительством Александра II в интересах дворянского

землевладения и в ущерб интересам широких крестьянских масс. Если трудовому крестьянству приходилось выносить на своем горбе прелести этих реформ, то Чичериных это не смущало. «Только кое-где со стороны крестьян обнаруживалось упорство», — признается он в своих воспоминаниях (стр. 11).

Не избежала этого крестьянского «упорства» и личная вотчина Чичерина. В связи с реформой 19 февраля 1861 г. там тоже произошло волнение крестьян. Необычайно эпически, кратко и сухо изображает он это событие в своих мемуарах: «И у нас в карауле произошло маленькое замешательство. При разверстании надо было перенести один поселок на другое место. Крестьяне не хотели согласиться; все попытки властей уговорить их были напрасны. Решили, наконец, привести роту солдат» (стр. 11).

Со слов Чичерина можно подумать, что речь идет о пустяках. На самом деле помещичий произвол подвергал принудительному переселению с одного места на другое целый поселок. Естественно, что крестьяне ни за что не хотели покидать своих насиженных мест, — тем более, что новые участки земли, предоставленные барином, были, очевидно, хуже.

Итак, сторонник умеренной конституции, защитник либеральных мер и в то же время закоренелый враг революции, студенческого движения и передовой общественной мысли, противник женского образования, проповедник диктатуры и физической порки, отчаянный крепостник и убежденный заступник прав дворянского сословия, — вот каким рисуется образ Чичерина со страниц его мемуаров.

Чичерин занимал положение как раз на стыке между либералами и консерваторами, — на том стыке, где либеральный барин незаметно переходил в верноподданного защитника царизма, в открытого черносотенца. Либеральные идеи служили красивым прикрытием, внешней маскировкой охранительной, монархической позиции. Не либералом, а черносотенцем был на самом деле Борис Николаевич Чичерин. Однако он оставил большое влияние в истории русского либерализма. Идея умеренной конституционной монархии вошла составным элементом в политический инвентарь кадетской партии. Только после Февральской революции кадеты наспех перекрасились в республиканцев, изменив соответствующий пункт своей партийной программы. Подобно Чичерину они были сторонниками сильной власти, ведущей страну по пути буржуазно-капиталистического развития. Подобно Чичерину они ненавидели революцию и боролись со студенческим движением. Страх перед массовым рабоче-крестьянским движением заставил кадетов после 1905 г. броситься в объятия царизма и фактически поддерживать политическую реакцию. Одним словом, уроки Чичерина не пропали даром. Правда, кадеты не брызгали бешеной слюной по адресу Герцена, а напротив — пытались установить с ним свое родство, но это уже был тактический маневр, в свое время блестяще разоблаченный в статьях В. И. Ленина, посвященных столетнему юбилею со дня рождения А. И. Герцена.

«Копните русского и вы найдете татарина», — сказал когда-то Наполеон. Копните ученейшего Чичерина — и под маской либерализма вы откроете черносотенца.

Поездка в Аравию.

Г. Гастов.

Яркое солнце заливает Одесскую гавань. Медленно отчаливает пароход. Все в изнеможении расходятся по каютам. Летящая за пароходом чайка долго не исчезает с голубого фона круглой амбразуры каютного иллюминатора.

Мы едем открывать для советской торговли новую страну — И е м е н, куда еще не заходило ни одно советское судно и в сердце которой ни разу не была не только советская, но и старороссийская нога. Наш груз невелик. После всех недогрузок он состоит примерно из семидесяти тонн муки, шестидесяти тонн сахара и пятидесяти четырех ящиков мыла, спичек, посуды, самоваров и всякого мелкого барахла. Основной груз направляется в южноперсидские порты. В Джедду — главный порт Геджаса — пароход везет около сотни паломников. Это большей частью проехавшие из Персии транзитчики. Наших эсесесерских паломников всего восемь человек астраханских татар.

Пароход «Теодор Нетте» — по имени дипкурьера, погибшего в Латвии, — раньше назывался «Тверь» и совершал рейсы в северных морях между Камчаткой и Владивостоком. Приспособлен он для полярных рейсов. Паровое отопление автоматически, беспрерывно нагревает все закоулки парохода, невзирая на то, какая температура во-вне. Нет вентиляторов и пресных душей. В полной полярной готовности пароход направляется в тропический рейс через Красное море и Персидский залив к самым жарким местам на земле в самое жаркое время года.

Впрочем в Черном море мы этого еще не чувствуем. Еще холодно, и мы рады лежать в каютах, нагреваемых постоянным теплом из кочегарки. Не нужны пока ни холодные души, ни нарзан. Мы еще отдыхаем от предотъездной сутолоки.

А паломники полны молитвенно-боевой зарядки. Пять раз в день они молятся, стоя на ковриках и обратив лицо к югу, на Мекку. Варят себе пищу в котелках, на угольях и как полуслепые бродят по пароходу, изучая, где что и как. Многие впервые видят море, впервые выехали за пределы своего селения.

Поздно вечером входим в Босфор. Наш пароход ввиду присутствия на нем паломников — словно заклейменный. Сходить на берег никому нельзя. Мы останавливаемся в Буюк-Дере — карантинном местечке в начале Босфора. Прошумела якорная цепь. На борт приехал турецкий врач...

...Мелькают зеленеющие холмы Босфора, старая стена, минареты, пестреют дома. Как зачумленный, под желтым флагом бежит наш паро-

ход мимо манящего зигзага Зологого Рога и выплывает на слегка взъерошенную гладь Мраморного моря.

Впервые наблюдаем морской закат. Вдали виден вход в Дарданеллы. Чистый, отточенный солнечный диск. Постепенно он превращается в расплавленный ромб и сплющивается, словно под ударами невидимого молота. Понемногу утончается ромб, превращаясь в продолговатый брусок — отточенный, горящий. Вот его пересекает черной проволокой мачта далекого, качающегося сторожевого пароходика. Вот он стал уже накаленной пластинкой, маленькой точкой огня и исчезает в сверкающе-красной глади как будто им накаленного моря...

В темноте проходим Дарданеллы. Течение легко несет в даль. Утром просыпаемся уже близ острова Тенедоса. В маленькой бухте торчат из-под воды мачты затопленного пароходика. Это одна из тех памяток о войне, которые разбросаны по всем морям, как скелеты павших животных по степи.

Климат меняется. Лето быстро бежит навстречу. Спим еще в каюте, но с постоянно-открытым окном и сбросив одеяло. Становится жутко при мысли о том, что будет через два-три дня.

Под брюзжание моряков и стоны кочегаров, начавших изнывать под накаляющимися стенами машинного отделения, пароход скользит вдоль зеленеющих островов Эгейского моря, когда-то бывших очагами древней культуры, а теперь полузабытых, расхваченных по кускам всевозможными великими и невеликими державами. Мелькают зеленеющие зубцы Митилены, Хиоса, Родоса и плеяды других знаменитых в древности островов, имена которых теперь даже капитан не помнит, с трудом прочитывая их на старых морских картах. Еще недели не прошло, как мы в плавании. Болячки далекого путешествия еще не назрели. Пища еще хорошая (одесский запас), пресной воды вдоволь, солнце дает себя чувствовать лишь в кочегарке. Для нас на палубе оно все еще лишь источник тепла и света. Паломники спокойно ночуют в трюме, на специально сделанных нарах. Лишь утром выползают они наружу.

На рассвете жуткие сцены. В глубине трюма десятки паломников маститых седобородых персов, с белыми чалмами на голове — с влажными глазами слушают муллу. Мулла захлебывающимся, рыдающим голосом рассказывает известные уже всем слушателям до мельчайших подробностей истории из жизни и страданий пророка Мухамеда и его зятя Али. И хотя рассказчик, вероятно, повторял эту историю не одну сотню раз, а слушатели не одну сотню раз ее воспринимали, они все же считают нужным во всеуслышание всхлипывать и рыдать или, по крайней мере, вытаскивают платки и прижимают их к глазам, издавая глухие стенания.

Выходим в Средиземное море, оставляя позади последние острова Архипелага. Чувствуется дыхание африканских берегов, все выше заползает ртуть градусника. Над капитанским мостиком, над палубой растягивают обширную парусину тента. Старые моряки мрачно расписывают перспективы жары, которая предстоит в Красном море.

В открытом море скучновато. Радиоконцерты прекратились. «Разряды», — уверяет радист. Идет лишь обмен телеграммами с Одессой. Кто хочет, дает телеграмму семье, ожидая ответа. Кто-то интересуется, получила ли приз его собака на выставке. Запрашивает жену: «Сообщи результат». Ответа — день, два нет. Наконец радист пишет и вручает самим сочиненную ответную телеграмму: «Результат через девять месяцев». Для моряков и в этом на целый день — развлечение.

Жизнь втягивается в свою колею. Каждое утро — подобие сказочной процессии — словно Нептун, появляется боцман с трубкой в зубах

и с концом колоссальной, весь пароход обматывающей кишки в руках; за ним — пять-шесть подручных с метлами подметают окатываемую водой палубу. Боцман направляет мощную струю во все стороны, лицо его, невозмутимое всегда, становится особенно застывшим в тот момент, когда поток воды с ног до головы обдает зазевавшегося пассажира.

Бьют склянки, сменяются вахтенные, капитан и помощники «ловят» солнце в стеклышко секстанта, копаются в альманахах и таблицах, определяя местонахождение корабля. Дежурный матрос регулярно перебегает с кормы на капитанский мостик, докладывая, сколько миль накручено на лаге. Оживают судком и ячейка, начинаются собрания, доклады, совещания с администрацией, бурлит коллектив, коллективно и порознь негодуя на запутанность колдоговора, возмущаются условиями плавания и мечтают о закупках в Порт-Саиде. Паломники волнуются: успеем ли прибыть в Джедду двадцать четвертого мая, — крайний срок, чтобы не опоздать в Мекку к началу хаджа (ежегодное молебствие, приуроченное к главному религиозному празднеству). Исчезают под поварским ножом коровы и куры, скупей и рассчетливей становится повар, сокращая обеденный паек, все короче дни и длиннее ночи, выше и жарче солнце, сильнее дыхание Африки.

После полудня вырисовывается серая, неказистая полоска земли, появляются колыхающиеся на волнах красные баканы, обозначающие вход в Суецкий канал. Африканский берег чужд эффектов; в то время как азиатские берега видны за десять-двенадцать часов до того, как якорь корабля коснется их отмелей, северо-африканский берег издали незаметен, приземист и выплывает за какие-нибудь два часа до причала.

И все же, когда видишь первую, неясную полоску африканского берега, всплывают в памяти отроческие представления, навеянные романами Жюль-Верна, фантастикой Хаггардта и Бенуа. Представляются пустыни, караваны верблюдов, самумы, львы. Нил, фараоны, сфинксы, пирамиды, мумии, оазисы, пальмовые леса, неведомые черные люди, обезьяны бесчисленных пород, бегемоты, крокодилы — и где-то там на далеком и уже холодном юге героические буры в борьбе с английским империалистическим колоссом.

Мозг говорит: это не так. Немыслим теперь пятнадцатилетний капитан, который завел бы корабль вместо Южной Америки к африканским берегам и повел бы команду и пассажиров вслепую пересекать континент. Знаем, что уже прорезана автомобильной дорогой Сахара и нет в ней места для воображаемых осколков Атлантиды, что раскопаны, перетряхнуты, раскрадены и развезены по европейским музеям мумии фараонов; вымерены, оплеваны и оплетены трамвайными линиями пирамиды; превращены в товар, взяты на учет и доживают свои дни в глубинных чащах слоны; а героические буры, получив кусок подачки от английского завоевателя, послушно идут у него на поводу и совместно устанавливают для черных туземцев черту оседлости. Знаем, что вся Африка охвачена цепкой паутиной империализма, безжалостно высасывающего ее лучшие соки и дающего взамен, в первую очередь, сифилис, виски и штык. Знаем, что лишь здесь, на севере Африки, в Марокко, Алжире, Тунисе, Киренаике и Египте начинает рваться эта паутина и что здесь в Египте, куда мы подходим здесь, на первом плане не сфинксы и мумии, а сдавленная, но неукрощенная борьба против английского империализма — борьба, сдерживаемая железной уздой, которую в образе нильских истоков держат в своих руках англичане, вгоняя в мыло и пену поднимающуюся надыбы страну. Знаем, что романтический налет исчез. И все же хочется верить, что где-то, как-то он еще сохранился и что ка-

кой-то особенной должна казаться эта Африка, которую видишь в первый раз.

Но холодный и беспристрастный объектив цейсовского бинокля открывает вдали за красными баканами лишь чернеющую линию каменистого мола, острой шпилькой врезывавшуюся в морскую гладь. Видны дымки пароходов, силуэты землечерпалок, купальный пляж памятник строителя канала Лесепса да вывески с рекламой виски и огромное казино. В этом пока вся Африка.

Повинуясь точным указаниям своевременно причалившего к нам на специальном суденышке портового лоцмана, наш пароход останавливается недалеко от города за шершавой шпилькой каменистого мола. Как пиявки, нас облепляют полицейские моторы, наполненные египетскими архангелами в красных фесках и зеленых галунах. Это ищейки и сторожевые псы английской полиции, но в египетской форме и арабской национальности (есть среди них мальтийцы) — им англичане поручают самые гнусные роли. Они облепляют наш пароход, боясь как бы невзначай не вылез с него пассажир, как бы не выпала бумажка. Несколько людей— ищеек влазят на палубу вслед за карантинным врачом, обшаривают помещение и заглядывают даже в каюты. Распределяют роли, кому за кем следить. Степенный карантинный англичанин в ответ на наше возмущение солидно отмежевывается заявляя, что Англия здесь не при чем, а все эти причуды придумало египетское правительство. В этой отговорке — символ египетской «независимости». Ширма английского произвола, полотенце, которым агенты Скотланд-ярда вытирают грязь со своих рук...

Вспоминать ли о том, как суетились эти по существу глубоко жалкие люди в красных фесках, как их тон из наглого делался мягким и заискивающим, едва они оставались наедине с нами, без надзора пробкового шлема!.. Подплывали к пароходу угольная баржа и цистерна с водой... Шумливые, черные люди — египетские рабочие — раскачивали помост, взбегали по нему на борт с корзинками угля, восторженно ловя папиросы и хлеб, протягиваемые им нашими моряками.

Быстро темнеет яркое небо. Город загорается тысячами огней, переливаются блеском канал, набережная, шумящая морским разгулом европейская часть с магазинами, складами, притонами, казино и публичными домами. Замирает и исчезает во тьме далекая арабская часть Порт-Саида. Высыпаны последние угольные кошелки, бойкий шипшандлер (посредник для закупки товаров на берегу) передает морякам привезенные им вещи, увеличивая цены в полтора-два раза против магазинных. Советским морякам сходить на берег ни в Порт-Саиде, ни вообще в портах Египта — нельзя. На нос парохода ставят прожектор, прибывает специальный лоцман, чтобы провести пароход через канал, и в глухую заполночь мы трогаемся. Тихо покачиваются огромные электрофонари над водами канала, скользят в темноте чернеющие силуэты кранов, землечерпалок, пароходов и барж. Потом они исчезают, огни уплывают назад. Мы скользим по узкой упругой глади и словно втягиваемся в жерло печи, из которой дышит огненным зноем.

Рассвет. Узкая, не шире хорошей улицы, гладь коробится от пароходного винта, передавая свои морщины до берегов. По обе стороны — бесконечное желтое пространство, лишь на правом берегу слегка окаймленное узким забором растений. Между желтым песком струя воды, как расплавленное стекло, катится, сверкая на солнце, отмеривая четко обозначенные столбы километров. На африканском берегу вьется автомобильное шоссе, за ним колея железной дороги. Вдали видны отдельные рощицы. Временами — железнодорожные будки, домики смотрителей,

чисто сколоченные, обсаженные садиками с пристройками, порой с радиомачтами, пристанями, площадками для тенниса. Временами по шоссе бежит автомобиль, по железнодорожной колее изредка погромыхивает состав. В палисадниках появляются степенные белые служащие, дети бегают по двору. Налетом культуртрегерства слегка смазана правая африканская сторона. Моряки, бывавшие здесь лет пять тому назад, поражаются, как в голой пустыне возникли домики, рощи, палисадники. Это неизбежная декорация, фасад колониальной эксплоатации.

Налево нет дешевой вуали. Там — голая, обнаженная правда.

Безжизненное море песка. Ни деревца, ни травинки. Лишь кое-где видны колючки. Ни домика. Кое-где шалаши, загородки, из-за которых вылезают полуголые черные люди и принимаются за работу. Это рабочие по расчистке и обслуживанию канала. Работы по расчистке производятся ежедневно, иначе канал затянет песком.

Полуголые, в грязных лохмотьях люди собираются кучками и принимаются за работу. Вдоль берега разъезжают надсмотрщики в неизменных пробковых шлемах, угрожающе поднимаются в седле в разговорах с туземцами, и видно, как сжимаются плети в руках. Ни подобия домов и палисадников. Это рабочий берег, о котором не хотят заботиться культуртрегеры.

Канал — пищепровод колониальной экономики Европы. Ежедневно, круглые сутки, при жгучем свете дня и в сыром удушьи ночи десятки, сотни судов — парусных, товарно-грузовых, пассажирских — всех наций вереницами проталкиваются через это горлышко, переливая европейский товар в колониальный желудок и наоборот — передавая кипы колониального сырья на огромную перерабатывающую фабрику Европы.

Чай Цейлона и Китая, хлопок Индии, мясо и шерсть Австралии, каучук и какао Малайских островов, нефть Борнео и Моссула — все это сырье или полусырье всасывается со всех морей и океанов в воронку Баб-эль-Мандебского пролива и отсюда через Красное море попадает в узкий пищевод Суэца, откуда расплывается по индустриальному желудку Европы.

...И знойный — выше тридцати градусов Реомюра в тени — воздух кажется насыщенным эссенцией колоссального количества мировых ценностей, сгустком крови и пота миллионов рабочих масс. Будто тени витают над вереницами грузовых, пассажирских, наливных, парусных судов, почти непрерывной цепью тянущихся по узкой ленте канала, которую ребенок может переплыть.

Но все миллионные богатства, проплывающие по тягучей ряби, лишь дразнят причудливым ароматом своего насыщения убогую выжженную пустыню, упрямо и неохотно расступающуюся перед носовым разрезом кораблей. Выжженная страна глазами голых, голодных кочевников жадно смотрит на проплывающие богатства, которые уделяют ей лишь ничтожный процент в виде нищенской зарплаты нескольких сот — пусть тысяч — рабочих, занятых расчисткой канала. Все взносы, которые платит каждое судно за проход канала (с нашего скромного «Нетте» дерут что-то около пятисот фунтов) попадают в карманы акционеров и плеяды иностранных чиновников, обслуживающих канал, а золото, вылетающее из карманов моряков проходящих судов, переправляется в кассы иностранных банков и фирм Порт-Саида или рассасывается по ридикюлям портсаидских проституток. Пустыня остается голой и выжженной, кочевники остаются голыми и нищими.

И пустыня будто мстит. Ее песок лихорадочно быстро затягивает тощее дно канала, и ежедневно, непрерывно десятки судов - землечер-

палок должны отбивать ее наскоки. Упорная, злая борьба не затихает ни на день. Природа не сдается, и оба разъединенных берега упрямо стремятся вновь слиться, закупорив главную вену далекого врага.

И наши моряки на фоне песочного бесплодья начинают понемногу осознавать всю мощь и богатство родного далека.

— Эх, да как же мы богаты и не понимаем этого, — философствует помощник боцмана, обводя глазами расстилающуюся по обе стороны пустыню. — Ведь у нас таких песков искать надо, за песок в городах деньги платят, а у них негде сеять, скотину пасти негде!

— Ну, брось! Верблюдов пасти есть где. Небось колючек хватит,— слышится возражение сбоку.

— Да нешто верблюд — скотина? А вот смотри, где здесь хоть сеять можно? А пшеницу где посеешь?.. А сады наши вишневые?..

Скользит пароход. Он лишь звено той цепи, которая тянется впереди и позади его. Временами цепь прерывается. Два больших озера, через которые пробирается змея кораблей, служат разъездными путями, где расходятся встречные составы. По каналу может плыть только одна колонна; двум судам можно разойтись лишь при условии, что одно судно пришвартуется к берегу. Для разъезда служит также пара больших озер, где одна колонка ожидает встречную, пропуская ее вперед.

...Где-то вдали белеют минареты небольших арабских городов. Вот массивное сооружение — незаконченное — с надписью: «В память защиты Суэцкого канала 1914—1918 гг.». Опять озеро становится каналом, дальше снова вливается в еще более обширное озеро, и наконец, выбравшись из удушья болотистых испарений, пароход попадает в узкое жерло между палящими золотистыми горами песков и выбирается к глади Суэцкого залива.

Порт Тефик, а не Суэц, — конечный пункт канала. Воздух дышит египетской сухостью. Видны набережная, стереотипный памятник в честь чего-то или кого-то, а вдали Суэц, белые силуэты домов и белые цилиндры нефтяных инсталляций, издали кажущихся причудливым лагерем белых палаток. Вьется железнодорожная колея, виден бегающий поездной состав. На рейде, в стороне от встречных судов, ждущих пропуска в канал, бросается в глаза пара железных коробок — суда незадачливого геджасского экскороля Гуссейна, мнившего себя, милостью англичан, королем Аравии и милостью же англичан выброшенного на далекий Крит. Как все короли, он не постеснялся угнать суда своей страны, отдав их в чужие руки.

Короткая остановка. Лоцман, полиция, лодочник покидают наш пароход, гудок — и через полчаса белые инсталляции Суэца кажутся лишь белыми точками, отраженными в кровавом тропическом закате.

Красное море — самое горячее, самое удушливое, самое отвратительное море на земном шаре — всасывает нас в свое дышащее огнем и сыростью нутро. Накаляемое жаром Аравийской пустыни и удушьем африканских нагорий, оно пропитано удушливой сыростью, которая, в сочетании с тридцатиградусной (по Реомюру в тени) жарой, выжимает тело как губку, выгоняя всю выпитую воду из пор на поверхность кожи. Каждое движение, малейшее усилие превращаются в пытку, а спуститься вниз в каюты, усердно подтапливаемые к тому же теплопроводными трубами, становится совершенно невыносимым испытанием. Тело через два-три дня пребывания в Красном море покрывается мелкой зудящей сыпью— следствие непрерывного пота. Аппетит пропадает; желудок, почки перестают существовать, почти не напоминая о себе. Весь организм превращается в перегонный аппарат, перерабатывая стаканы, кувшины, ведра

воды в потоки пота. Душ не помогает, — на нашем судне все души из морской соленой воды, которая не облегчает, а напротив — растравляет потную сыпь в кровавые язвы. Вода в Красном море — злая, острая, соленая, фосфористая. Люди, даже арабы, не купаются в этой воде. Это удел советских моряков, плывущих через Красное море на полярном пароходе. Они становятся под душ, хотя не успевают надеть платье, как оно становится насквозь мокрым от пота.

Если задыхаемся мы, пассажиры, имея возможность пить нарзан и лежать недвижимо, растянувшись в походных кроватях, то трудно вообразить себе, что делается в кочегарке, где при услужливом содействии полярного оборудования температура доходит до пятидесяти градусов Реомюра (только что не до точки кипения). Мои спутники рискнули слазить в кочегарку. Пробыв пять-десять минут, выскочили оттуда под общий хохот, как ошпаренные, и больше спускаться не решались. Неудивительно, что закаленные, в дыму и копоти стажированные кочегары не раз падали в обмороке и их, бесчувственных, приходилось откачивать пароходному врачу.

Ночь не приносит облегчения: на один-два градуса упадет ртуть в термометре, но воздух пропитывается лишней дозой зловещей сырости и к рассвету пароход будто облит водой. Спать нельзя без навеса, — иначе схватит ревматизм или что-то вроде паралича. При этом удушье. Каюты забыты. Заброшены кубрик, столовая, радио, красный уголок. Живут, едят, спят на палубе, все кроме той кучки мучеников, которые вынуждены отстаивать вахту в кочегарке и машинном отделении.

Злое море Красное. Жара и сырость. Рифы и акулы... Рифы пестрят там и сям. Подчас они даже не занесены на карту. Ночью они не видны, и лишь днем их можно заметить по белесоватым бурунам и красно-зеленому цвету воды. Рифы постоянно грозят катастрофой. И понятна тревога, которая охватила машинную команду, когда один из пассажиров от нечего делать решил подшутить, повернув в открытом море ручку судового телеграфа с полного хода на «стоп». Лишь несколько минут спустя выяснилось, что это было необъяснимое дурачество взрослого человека, к сожалению, оставшееся безнаказанным. Терпеть аварию в Красном море было бы не так страшно. Вода насыщена солью более чем где-либо, плыть легко, волны слабые, берег сравнительно недалек. Но акулы, стаи которых неотступно плещутся около парохода, любую аварию могут превратить в катастрофу, так как попавший в воду человек, особенно белый — черных акулы как будто не любят — будет немедленно съеден.

Зной, сырость, удушье, безводье, угроза рифов и акул — выявляются постепенно за два-три дня пути от Суэца до Джедды. От зноя испаряется религиозный пыл паломников. Вместо истерик и рыданий они бессильно бродят, как больные мухи, помахивая веерами, или беспомощно лежат на ковриках, припадая к чайникам с водой. Лишь при проходе параллели, на которой расположена Меддина, паломники по сигналу пароходного гудка совершают молебствие, — однако нас, ожидавших увидеть здесь исключительный приступ экстаза, ждет разочарование. Полусонные (дело было ночью) люди медленно поднимаются, вполголоса бормочут молитвы и, еле дождавшись вторичного гудка, данного после пяти-шести-минутной паузы, вновь в изнеможении укладываются на коврики.

...Позади остались Суэцкий залив, исчезла панорама Синайских гор, промелькнули небольшие маяки рифовых островков Дедала и Двух Братьев. Пройдены тропик и меддинская параллель, все ниже к горизонту склоняется Полярная звезда, все длиннее ночи и короче дни, все резче и стремительнее переход от дня к ночи, все выше ртуть градусника,

все злее и усталее лица команды, — и вот перед закатом при ослепительно-злом блеске солнца вдали показываются туманные силуэты гор и острая белая полоска города, колыхающаяся в переливчатом воздухе строений. Яркие, белые шпили мечетей, причудливые зигзаги белых домов, серые конуса соломенных загородных хижин — все это на фоне семицветного сине-красно-зелено-голубого моря говорит о том, что мы прибыли в злую, душную, но издалека красивую и обманчивую Джедду.

Паломники спешно завязывают свои узлы, молятся, толпясь на носу парохода. Лавируя между рифами с помощью подъехавшего лоцмана, пароход входит на рейд, где уже столпились двенадцать-тринадцать судов разных наций — немцы, англичане, французы, голландцы, турки и даже одно старорусское судно под французским флагом, но со старым названием «Иерусалим». Все они привезли солидные охапки паломников и ждут конца хаджа, чтобы взять их обратно.

Трудно придумать более наглядную иллюстрацию узкотоварного значения религии, чем картина хаджа. Ежегодно, ко дню байрама (праздник в память бегства Магомета из Мекки в Меддину) около двухсот тысяч пожилых людей — мужчин и женщин — бросают свои занятия, соскребывают многолетние сбережения, запаковывают в пару тюков необходимый скарб и устремляются в страну зноя, безводья, пыли и эпидемий со всех концов земного шара — с Гималайских подножий, индийских джунглей и цветущих островов Малайского архипелага, не говоря уже о соседних странах — Персии, Турции, Аравии, Африке. Если они движутся по суше, на караванах или пешком, то их грабят кочевые племена, отбирая последние крохи. Если они едут на пароходах, то их основательно обирают агенты пароходных компаний, сдирая бешеные деньги за проезд в условиях, которым могла бы позавидовать австралийская скотина, отправляемая в Англию. В Джедде с них взыскивают плату за въезд и карантинный сбор, затем к ним привязывается мутавиф (нечто вроде религиозного гида) обирая их по каждому поводу. С них берут бешеные деньги за помещение, пищу, воду, в особенности за воду, которая при короле Гуссейне, принявшем соответствующие меры вплоть до намеренной порчи водопроводов, достигала цены буквально на вес золота — по золотому за стакан. Скитаясь по «святым местам» от горы к горе, из города в город, в обстановке исключительной грязи, почти без пищи и воды, без малейшей врачебной помощи, паломники растрачивают последние деньги, последние крупицы здоровья и вымирают от болезней и просто от истощения и усталости. В лапах геджасских спекулянтов, проводников, владельцев верблюдов и автомобилей и прочей своры остается до восьми миллионов фунтов стерлингов барыша, и за это до пятнадцати тысяч мертвецов удерживают пески Геджаса из полуторастотысячной охапки фанатиков, которые, как бабочки на огонь, ежегодно стекаются под палящее солнце аравийских пустынь.

Религиозное паломничество имеется во всех странах: китайцы идут на гору Тайшан, где жил и учил Конфуций; японцы, одев белые одежды, поднимаются на конус горы Фудзи и идут в храмы Никко; католики — съезжаются в Рим, — но во всех этих паломничествах есть все же какой-то элемент эстетики. Там люди все же любуются красотами природы, произведениями искусства и едут в сносных, а кто хочет и может — даже в комфортабельных условиях. Но ничем кроме оголенных религиозных эмоций, нескольких камешков с могилы Магомета да бутыли со святой водой не вознаграждается изнуренный мусульманский богомолец, возвращаясь из Мекки и Меддины. Он не видел никаких красот кроме песчаных пустынь, оголенных, безжизненных гор, глыбы черного метеорита

в Мекке и алчных лиц проводников. И при этом едут на хадж в большинстве случаев бедняки или, во всяком случае, люди малозажиточные. Богачи, желающие вписать в число своих заслуг хождение по «святым местам» (а это дает почет и привилегию среди односельчан), нанимают для этого бедняков, хождение которых и зачитывается в актив нанимателей. Религия — товар — разрешает эти своеобразные индульгенции. Остается неясным: в случае смерти во время хаджа, попадет ли в рай умерший наемник — а рай умершему во время хаджа считается обеспеченным, — или же и тут все лавры достанутся нанявшему его богачу?

Кому выгодно эта планомерное, организованное вымогательство? Прежде всего купцам, спекулянтам, владельцам верблюдов и автомобилей и, разумеется, духовенству и властям Геджаса. Малейшее сокращение хаджа явилось бы смертельным ударом этим слоям и отразилось бы на всей стране. Но и иностранные державы также немало зарабатывают на этом психозе. Англия, держащая в своих руках подступы к Геджасу — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив, — взыскивает повсюду карантинные сборы, не оказывая действительной помощи паломникам. Иностранные державы зарабатывают на пароходных фрахтах, подвозя пассажиров и товары. Товары же во время хаджа продаются по ценам почти вдвое выше мировых. Кроме того нажива идет по линии взысканий въездных и выездных виз и всевозможных сборов. Не зарабатывает лишь наш совторгфлот, который даже здесь терпит убытки.

В результате всего этого создается как бы грандиозное акционерное грабительское общество в составе англо-франко-голландских биржевиков, купцов и мулл Геджаса и многих тысяч мелких акционеров в виде всевозможных прихлебателей, торгашей, проводников, проституток. Последние обслуживают паломников в вертепах Мекки с соблюдением всех предписаний религии на положении «временных жен». «Святые места» становятся рассадником грязи, разврата, эпидемий, проказы, чумы, сифилиса; город пророка превращается в гнездо разврата и вымогательств, а вся страна становится могилой наиболее фанатичных глупцов, не могущих обеспечить себе минимум удобств в пути. Народ Геджаса покрывается паразитическим налетом, понемногу усваивая навыки паразитов, которые копошатся вокруг гробницы храмов, упиваясь соком наиболее ревностных жертв мусульманской религии. Кроме святынь в Геджасе никаких ценностей нет. Нет ни земледелия, ни промышленности. Редкий бедуин имеет пару верблюдов или финиковую пальму. Хадж является основным и, пожалуй, единственным источником дохода.

И становится жутко при виде колоссального запаса энергии, которая бесплодно и нелепо гибнет в песках и колючках Геджасских пустынь. Так непрерывный поток солнечных лучей бесцельно изливается над тысяче-километровыми пространствами аравийско африканских пустынь, в то время как на полюсах дорог каждый луч. И подобно тому как хотелось бы изобрести огромное увеличительное стекло, которое сконцентрировало и перебросило бы миллиарды киловатт солнечной энергии отсюда в тундры и льды, так же точно сверлила мысль о способе, которым можно было бы убить мутно-паразитический религиозный дурман, направив все необъятные силы миллионных масс на преодоление той косности и спячки, в которой до сих пор еще томятся многие и многие страны колониального Востока.

И еще одно следствие хаджа: люди-паразиты становятся поневоле рабами, прислужниками. Англия держит в своих руках ворота в Геджас-Суэц и Баб-эль-Мандебский пролив. Легким росчерком пера, малейшим карантинным нажимом она может регульнуть, сорвать хадж и обречь

на разорение и голод население Геджаса. Пальцы английского империализма держат за горло изнеможденный паразитический Геджас.

Во время войны Англия прекращением хаджа толкнула Гуссейна на восстание против турок и тем предопределила турецкую неудачу в наступлении на Суэцкий канал и крах турок в мировой войне. И последние годы сменивший Гуссейна его победитель король Неджда Ибн-Сауд— глава неукротимых ваххабитов, — почувствовав на своем горле эти стальные пальцы, вынужден был смирить свой бешеный наскок и перейти к методу тяжелого. мучительного лавирования, не решаясь итти на бой, но и не желая уступать.

Геджасо-Неджд в лице полудиких ваххабитов грозит английским путям в Индию. Эта угроза не дает спать Англии, которая прокладывает путь от Палестины в Индию через Ирак и Персидский залив. Англия твердо решила держать Неджд в кулаке, грозя ему тупой силой паломнической блокады и разрывами аэропланных бомб.

Ваххабизм — причудливое сочетание устаревших религиозных форм со стремлением к прогрессу. Отчаянная попытка ударом меча вывести Аравию из тупика, куда ее загнали естественная нищета и нажим империализма. Ваххабиты не бреют бород не пьют и не курят, запрещают музыку, пение и игры. Поощряют фанатизм и культивируют ханжество.

Но они же организуют автотранспорт. ввозят оружие и аэропланы, проводят автодорогу от моря до столицы Эр-Риад где до сих пор побывало лишь восемь европейцев. Они поощряют переход кочевых бедуинов к оседлости, создавая деревни на место бродячих палаток, заменяя земледелием примитивное скотоводство.

Они перестраивают дома, отменяют наиболее хищнические способы эксплоатации паломников, они уже избегают взвинчивать цену на воду теми шарлатанскими способами, какими это делал Гуссейн. Они разрушили «гробницу Евы» — наиболее гнусный образчик религиозного шарлатанства (сооружение в двадцать-тридцать метров длиной — рост Евы!).

Причудливый сумбур клерикализма и прогрессивности, воинствующего национализма и примитивной индустриализации заволакивают собой перспективы ваххабитского будущего. Тысяча триста с лишком лет тому назад бедуины арабских пустынь под руководством меддинской торговой буржуазии, толкаемые нуждой и избытком физической силы, подняли одно из величайших в мире движений, прошедшее под знаком религии Магомета. Современный ваххабизм многие понимают как слабый рецидив древнего ислама. Но его соперники — не Византия и Персия, с которыми, разложившимися и одряхлевшими, победоносно справились Магомет и его преемники. Перед неомусульманским движением стоит вооруженный до зубов английский империализм со всем арсеналом военно-экономической мощи. Воинственный пыл ваххабизма был подбит на границах Ирака и в трансиорданских степях. Отрезвленное бомбами английских аэропланов движение, не достигнув даже общеарабского размаха, забилось бессильно, едва вырвалось к Красному морю, в его фосфористых валах.

Это неудивительно. Удивительно то, что при всей скудости, нищете и примитивности военно-экономического оборудования Геджасо-Неджд вырос до размеров соперника Англии в аравийских просторах. Пойдя на тактику лавирования, ваххабизм не хочет капитулировать перед Англией. Уже трижды ни с чем отчаливал английский посол Клейтон от берегов Джедды. Упрямый вождь ваххабитов не хочет и не может — из риска лишиться поддержки племен — отказаться от прав на захва-

ченный англичанами порт Акаба и требует упрочения своей власти на берегах Персидского залива.

Времена теперь не те, что тысяча триста лет тому назад. Ибн-Сауду не суждена роль Магомета и первых халифов. Но упорство, с каким ваххабизм до сих пор еще отстаивает свои национальные требования, говорит о том, что в глуши аравийских пустынь, в местах, куда не проникала нога европейца, зреет сила, которая в нужный и подходящий момент сумеет больно ужалить дряхлеющего британского льва.

* * *

Джедда — душный, пыльный, портовый городишко. Высокие, трех-и четырехэтажные белые дома, в полумавританском стиле, с окнами без стекол; две-три улицы, где кипит торговля, где под навесами ютятся мелкие, грязные лавчонки; несколько автомобильных гаражей; ряд таможенных зданий на берегу; тюрьма, нижние этажи которой под водой; городская стена с башняи и воротами; за стеной — военные казармы, построенные еще турками, развалины «гробницы Евы», негритянская деревушка с конусообразными шалашами и домиками из керосиных бидонов, подальше — небольшой пальмовый оазис и широкая, теряющаяся бесчисленными разветвлениями меж песков дорога на Мекку, по которой в месяцы хаджа движутся десятки тысяч паломников, сотни верблюдов, десятки автомобилей. Городок живет лишь хаджем, а после, когда хадж кончается, застывают тихие улички, пустеет портовый рейд, все сворачивается, и город засыпает, как медведь в берлоге, подремывая в пыли и удушьи и мечтая о новых десятках тысяч паломников, которых корабли привезут на следующий год.

В Джедде мы застаем другой советский пароход — «Тобольск», прибывший сюда за неделю до нас с неполным грузом. Выясняется, что обоим пароходам дальше плыть незачем, так как весь груз можно поместить на один корабль, а другой, забрав паломников, может спокойно возвращаться в родные воды. После бурных споров и митингования (в Персидский рейс никому итти неохота, — погода адская, интересных портов нет), приходят к решению перегрузить все на «Тобольск». «Нетте» остается в Джедде. Перегрузку сначала производят местные рабочие — арабы. Работают вяло, рвут мешки крючьями, подрядчик выписывает зарплату на двойное число против действительного состава рабочих, забирая разницу себе; к тому же и эти рабочие прекращают работу на несколько дней ввиду начавшегося хаджа. Решено производить перегрузку силами своих моряков. Моряки залезают голыми в трюм, начинают грохотать лебедки. Работа продолжалась три ночи (днями почти не работали). За эти три ночи сделали то, что туземцы навряд ли могли сделать за десять дней. В часы работы интенсивно трещали рычаги, ходуном ходили лебедки, перебрасывая охапку за охапкой с одного парохода на другой мешки сахара и кипы мануфактуры. В глубине трюмов ползали силуэты обливающихся потом людей. Изредка, как ошпаренные, они вылезали на палубу затянуться папиросой и глотком свежего воздуха и снова ныряли в удушливую дыру.

Вот, наконец, перегрузка закончена. Моряки получили на руки деньги, заработанные буквально в поте лица и в поте всего тела.

Кончено. Трюмы «Нетте» опустошены. На «Тобольске» загружено все вплоть до палубы. Мы перебираемся на «Тобольск», вернее — на его капитанский мостик: в каюты спускаться невозможно, там остаются лишь вещи. Утром мы трогаемся. Развеваются с мотора последние платки про-

вожающих, и наш пароход, лавируя между рифами, выходит на широкий простор Красного моря, снова беря курс на юг. Впервые советский пароход идет в это плавание, впервые красный флаг и советские товары покажутся в Иемене и портах южной Персии.

Иемен дал себя почувствовать еще в Джедде. Там появился некий купец с рекомендательным письмом от иеменских властей, предложил нам свои услуги в качестве сопровождающего и комиссионера в Ходейде. Уверял, что без его содействия нас ждет неудача. От его услуг мы отказываемся, он, недовольный, уходит. Во всяком случае он — первая ласточка из Иемена. По ней видно, что на торговлю с нами иеменцы возлагают надежды. Об этом говорит, впрочем, и пара писем, полученных нашим агентством НКИД в Джедде от двух видных деятелей Иемена.

Первое письмо, помеченное печатью принца Мухаммеда, являющегося губернатором Ходейды, адресовано одному из его доверенных лиц, но предназначено для передачи советскому агенту. Текст его следующий:

Во имя бога милостивого, милосердного смиренный Мухамед, сын повелителя правоверных!

... Наше мышление озабочено одним вопросом, который уже не раз обсуждался. Наше правительство никогда не отказывалось пожать каждую руку, протянутую ему. Оно заявило об этом в газете «Эль-Иман». Оно стремится к дружбе с восточными народами. В настоящее время наше правительство настойчиво заявляет о своем стремлении установить взаимопонимание с восточными народами, особенно с теми, кто питает прогрессивный образ мыслей и борется против империалистического угнетения. Великое российское правительство бдительно стоит настраже интересов народов Востока. С этим правительством борются империалисты, направляя на это громадные денежные средства, военные и политические силы, стремясь воспрепятствовать тому, чтобы восточные народы были просвещены духом свободы. Это правительство завоевывает симпатии угнетенных народов. Мы надеемся на установление хороших отношений между нашим и этим правительством.

Письмо заканчивалось молитвенными воззваниями, славословием бога.

В более деловом и сдержанном тоне было составлено письмо первого секретаря Имама-кади Рагиба, адресованное непосредственно «советскому консулу» в Джедде:

Храня в сердце любовь к России, я решил положить начало созданию торговых связей между независимыми государствами Россией и Иеменом. В бытность мою первым секретарем Оттоманского посольства в Петербурге, я был связан узами крепкой дружбы с русским народом. Я нашел целесообразным обратиться к вам по этому поводу через посредство моего друга. Прошу вас принять соответствующие шаги и поставить меня об этом в известность.

Эти письма, пролежавшие чуть ли не год без движения в Джедде, явились, таким образом, первыми документами, положившими начало заключенному впоследствии в Санаа советско-иеменскому договору. Но пока пароход двигался по пути от Джедды к Ходейде, все это еще казалось недостаточно убедительным. Полной уверенности в том, что нас ждут, не было. А тут постоянно всплывают слухи о начале английских аэропланных налетов, о восстании племен близ Ходейды.

Некоторую уверенность вселяет в нас старик араб, едущий на нашем пароходе из Константинополя в Иемен. Ему уже за семьдесят лет, он — бывший офицер турецкой службы и мечтает о том, чтобы спокойно дожить свои дни в Санаа. Об этом городе он говорит с благоговением и дрожью в голосе.

— Очень красиво, очень красиво!.. Все хорошо, все там есть — воздух, вода, фрукты. Бутылочки с водой из Санаа можно везти хоть на край света, вкуснее не найдешь. И воздух, как мед... Кругом сады: персики, абрикосы, инжир, лимоны, виноград — тридцать пять сортов винограда!

Но Санаа — это далеко. Ближайший этап — Ходейда, с жарой во много раз превышающей джеддинскую. Чего ждать, когда здесь на пароходе, как-никак обвеваемом морским ветерком, мы не в силах двинуться и с невероятными усилиями проглатываем кусочки пищи, запивая ее бутылями воды.

К полудню проходим группу островов, зовутся они «Птичьи горы» (Джэбель-Таир), потому что служат местом отдыха для перелетных стай. Это безжизненные, голые, красноватые скалы. Лишь маяк, сверкающий по ночам, одушевляет их безжизненность.

Еще несколько часов — и в сумеречной мгле мелькает группа островов, на европейских картах названных словом «Джэзаир» — слово, которое по-арабски значит просто «Острова». Специального названия им так и не было дано. Эти острова — их пять или шесть — представляют собой попросту большие скалы, на одной из них — маяк. Трудно было бы придумать более тяжелые места для ссылки преступников.

Пройдя эти острова, круто поворачиваем на запад, устремляясь прямо к Ходейде.

Глухая, безлунная полночь. Капитан решает, что, судя по секстанту, мы должны быть недалеко от берега. Но впереди ни одного огня. Под мерное постукивание винта вахтенный, забрасывая лот, рапортует глубину.

— Семнадцать!.. Шестнадцать!.. Четырнадцать!..

И когда глубина доходит до двенадцати метров, капитан резко поворачивает ручку телеграфа на «стоп». Остро трещит телеграфная цепь, передавая сигнал в глубь машинного отделения. Некоторое время пароход по инерции движется вперед. Затем, пауза — мы ждем рассвета. Впереди ни зги.

Мы лежим на койках. Не спится. Незримый, но близкий берег, успел вздернуть нервы, прогнав сон. При бледном свете фонаря перелистываю морской справочник, изданный еще до войны. Под словом «Ходейда» читаю следующую справку: «Ходейда — город, насчитывающий тридцать-сорок тысяч жителей, с величественными зданиями и хорошей водой...» Дальше следует что-то специально морское.

А в книжке стихов Брюсова, лежащей под рукой, Иемен именуется сказочным Офиром, страной сокровищ. Итальянские авторы называет его «страной роз и ароматов». А наш спутник — старик-араб — вполголоса продолжает бормотать о красотах дороги по пути в Санаа.

...При бледном рассвете вижу в цейсовский бинокль серенькую полоску берега, растянувшуюся в нескольких милях от нашего парохода. Она приземистее и неказистее, чем в Джедде.

Вижу каменные выступы мола, несколько белых зданий, набережную в форме небольшой площади, серые силуэты низких пригородных домов.

Громыхает якорная цепь, — пароход останавливается вторично. Двигаться дальше к берегу капитан не решается. Ждем шлюпки с берега. Через час-полтора к нашему пароходу мчится около десятка огромных парусных лодок с надутыми ветром парусами. Черные лица с любопытством выглядывают из-за бортов, черные тела прыгают с лодок в воду и плывут к нашему пароходу, подтягивая на буксире самбуки — так называются арабские парусные суда. Еще немного — и мы облеплены самбуками, ждущими начала выгрузки наших товаров. Но сначала нужно выполнить формальности. Причаливает полицейский самбук, на борт поднимаются представитель власти и итальянский пароходный агент, которому Совторгфлот поручил телеграфно встретить наш пароход.

Сомнений нет. Мы прибыли в Иемен.

Неизданные литературные работы [1].

В. В. Воровский.

В кругу и вне круга.

(Женские настроения.)

I.

Елена Сергеевна Галич вышла из круга [2])...

«Ей вдруг представилось, что все люди, сколько их есть в мире, взявшись за руки, образовали большой круг, опоясали всю землю и играют в какую-то игру... И вот она опустила руки, вышла из круга, — и цепь замкнулась перед нею. Все кружатся, играют, а она стоит в стороне, уже свободная от их законов, идеалов, мечты».

С того момента, как она покинула круг людей, она стала добычей какого-то особого закона — слепого, неумолимого закона, — который заставил ее перейти через ряд испытаний, через падение, через тяжкую жертву и привел к самоубийству. Но все эти испытания — и ее падение, и самая смерть — были только праздной игрой судьбы с безжизненным телом, ибо Елена «умерла давно уже — с той минуты, как отвернулась от людей, ушла из их круга...»

Итак, уйти из круга людей значило для Елены Галич умереть, и физическая смерть [была] лишь увенчала то, что уже давно совершилось в душе этой женщины.

Но почему же Елене понадобилось покинуть круг людей? И почему, однажды покинув этот круг, она умерла, перестала существовать, как будто только в этом людском кругу и возможна была для нее жизнь?

Мы знакомимся с Еленой в апогее ее жизненного благополучия. Она в расцвете сил и красоты, ею восхищаются, ей завидуют, ее окружают поклонением и лестью, и на этом фоне тем ярче рисуется ее вечно юная, не стареющая любовь к мужу. У Галичей уже двенадцатилетний сын-гимназист, а они влюблены друг в друга, как в «утро любви». И эта любовь для них все: она заполняет их жизнь, она заслоняет собою все житейские заботы, заслоняет друзей, и знакомых и даже родных детей. Такая любовь в наше время большая редкость. Жизнь интеллигентных кругов стала неуравновешена, нервна; люди стали более впечатлительны, легче воспламеняются и увлекаются, но зато чувства их менее глубоки и менее прочны. Еще Тургенев сказал про Рудина, что легче всего увлекаются люди бесстрастные. Бесстрастие стало характерной чертой «героев нашего времени». Резко и быстро реагируют на впечатления, но так

[1]) Первые две неизданные статьи В. В. Воровского: «О М. Горьком» и «Распад в темном царстве» были напечатаны в № 4 «Красной нови». Там же см. предисловие тов. Н. Мещерякова.

[2]) Семен Юшкевич, Вышла из круга. «Земля», сборник X.

же быстро утомляются, впечатлительность притупляется, является жажда нового, свежего, более острого. Быстро загораются и быстро тухнут, как электрические лампочки, при свете которых они чувствуют и мыслят. И современные отношения между полами стали непрочны, неустойчивы. Там, где побочные соображения не вынуждают супругов жить вместе, — хотя бы у потухшего очага, — где люди руководятся только чувствами, а не «заповедями» или «общественным мнением», — там старый, «пожизненный» брак наших праотцев давно стал легендой. А там, где в угоду обветшалым кумирам — общественному мнению, ложно понятой нравственности, положению в обществе и т. д. — люди насильно связывают друг друга, — там за внешним благополучием таятся глубокие трагедии, разбитые иллюзии, горькие разочарования, тоска и неудовлетворенность, или же — озлобленность, скрытая вражда, измена и самый пошлый, самый шаблонный адюльтер.

И не в «распущенности нашего века» здесь причина, и не в «тлетворном» влиянии новой литературы, которая, в конце концов, сама только рабски передает то, что творится в жизни. Распущенность бывала во все времена, случается она и теперь, может быть даже чаще, чем прежде; новая литература — нечего греха таить — весьма плохонькая и носится без руля и без ветрил по воле неустойчивых общественных настроений; но не от них пошла беда. Мы живем в эпоху внутреннего переворота, в революционную эпоху, хотя у нас внешне царит покой кладбища. Идет большая ломка, тем более болезненная и тем сильнее уродующая лики общества, чем упорнее темные силы противятся и препятствуют родам нового.

Переворотные моменты всегда отличаются хаосом и смешением нравственных понятий. Новое общество не рождается из старого совсем готовым, чистеньким и хорошеньким, как бабочка, выскочившая из куколки. Глубокие материальные основы грядущего наталкиваются на отсталый, противоречащий им строй идеологии, особенно моральных понятий, господствующих в обществе. Они подтачивают их, как вешние воды подтачивают снег. Но пока новые моральные и вообще идеологические представления, соответствующие новому строю жизни, твердо оформятся и установятся, — царит хаос, смесь старого бурелома и новых побегов, нет твердых нравственных начал, нет того внутреннего критерия добра и зла, который руководил бы деятельностью личностей и масс. Если нет бога, тогда все можно, — говорил Иван Карамазов. Почти теми же словами рассуждает и Елена Галич: «Если человечество создало мораль, чтобы ввести порядок в жизнь, то ей до этого нет дела, потому что в человеческих законах она не чувствует божественного, а только человеческое, мелкое человеческое, его выгоду... Не ради бога, а для выгоды». Страх перед карающей десницей закона, «человеческого» закона, может удержать только мелкую душонку, как удерживает он или заставляет прятаться воришку или взламывателя. Для настоящего человека выше этого внешнего пугала стоит его собственное нравственное сознание, его внутренний бог, говорящий ему, что добро и что зло. Ради этого сознания человек, не колеблясь, переступает закон, и его мало трогает, что на его голову падут все бичи и скорпионы человеческих кодексов.

Но в моменты перелома средний массовый человек двоится. Он уже потерял своего старого бога, спутал некогда ясные и твердые границы добра и зла. А нового бога не обрел, не выработал в себе нового нравственного сознания, столь же твердого и бесспорного, столь же «категорического», как некогда было старое. И в этой раздвоенности он

теряет себя, мечется, ищет бога, строит бога [1]), хватается за внешние нормы, забывая, что нужна только одна единственная норма — внутреннее нравственное самосознание.

Естественно и понятно, что эта раздвоенность и эта внутренняя борьба резче всего и глубже всего захватывают натуры эмоциональные, привыкшие руководиться по преимуществу чувством, не развившие в себе контроля дисциплинированного ума и сдерживающего аппарата воли. А такими натурами являются прежде всего женщины и юношество. Неудивительно, что в этой среде процесс разрушения старых моральных основ идет особенно бурно и безудержно. Вчерашние кумиры оплевываются и низвергаются, недавняя горячая вера осмеивается, отвергаются все устои нравственности — той, старой, нравственности, хотя новой на ее место не выдвигается, — даже ценность самой жизни ставится под сомнением и нередко отрицается бесповоротно. Одним словом, наступает то состояние нравственной анархии, которое обычно прорывается в революционные моменты, когда на арену выступают широкие массы, выбитые из колеи старой жизни и не поставленные еще на рельсы новой. И сколько бы ни вопили охранители — люди очень твердых, очень старых и очень скверных принципов, — сколько бы ни кричали они о распущенности, безнравственности, хулиганстве и вырождении, — именно в твердости и устойчивости их принципов и кроется одна из причин этого «хулиганства».

Но Иван и Елена Галичи не повинны в этическом «хулиганстве». Они — отчаянные консерваторы в супружеской любви. Вся их жизнь вращается около нее, как земля вокруг оси.

«Что важно для их жизни? Важно, чтобы завод Ивана хорошо работал; важно, чтобы кругом них все было налажено и не беспокоило, чтобы старший, двенадцатилетний, мальчик и младший, шестилетний, были веселы и здоровы, чтобы старики, отец и мать Ивана, ни в чем не нуждались, чтобы прислуга не менялась и не нарушался привычный покой, а еще важно, важнее всего этого — их любовь».

Две самодовлеющие величины — Иван и Елена — заперлись в этом эгоистическом и самодовольном чувстве, и весь мир для них не более, как придаток к их жизни, к их любви, к их потребностям. «Я никого и ничего не люблю, — говорит Галич жене, — ничем не интересуюсь, кроме тебя. В жизни я, как хорошая машина, работаю исправно, но и равнодушен я ко всему, как машина. Для меня весь мир, — это я и ты, и никого в нем, кроме нас, не существует». И они создали для себя гнездо на высокой скале, вдали от людского глаза, приют счастья и радости.

Все, чего могла бы желать Елена, у нее есть. Она достаточно богата, т. е. имеет широкую возможность ходить по магазинам и тратить деньги, а для дамы из общества это одно из самых важных условий благополучия. Муж для нее не просто «сожитель» и отец детей, а близкий друг, который делится с нею своими мыслями и самыми интимными переживаниями. Он развивает перед нею свои философские взгляды, — плоды этого мы увидим впоследствии, — а она передает ему свои настроения звуками Моцарта; для этого она даже рояль в спальню поставила, чтобы иметь его во всякий момент под руками. Утром, прямо с постели, в одной рубашке, она часто садится за рояль и уходит в мечтах куда-то в неведомые миры. Наконец у нее есть дети, которых она очень любит. Правда, ее материнская любовь несколько особого свойства, — это любовь свет-

[1]) Современное богоискательство и богостроительство в русской жизни имеют своим источником эту самую жажду заполнить новым нравственным содержанием пустоту, образовавшуюся после разрушения старой этики.

ской женщины, любящей детей, как она любит свой рояль, свою болонку, свой японский сервиз и прочие дорогие для нее предметы, делающие жизнь приятной и разнообразной. Дети, конечно, всецело находятся на руках наемных рабов, и когда матери иной раз вздумается побеседовать с любимым ребенком, она с отчаяньем думает про себя: «Как я холодна к детям, как мне неинтересно с ними... Отчего же это? Я ведь люблю их, я страстно люблю их...» Но вне этих минут горечи — быстро проходящих, конечно, — она имеет все основания быть довольной своею жизнью. Чего ей еще желать? Птичьего молока? Кажется, — ешь, пей и наслаждайся жизнью, как говорил Базаров. А между тем — между тем Елена вышла из круга и погибла. Почему же?

Очевидно, не помогло ей, что она скрылась на высокой скале в башне из слоновой кости, оградившись от всего мира. Очевидно, злое поветрие, опустошившее души ее современников, проникло через все запоры и поразило и ее душу. Очевидно, нельзя безнаказанно жить во время развала и переворота, нельзя отворачиваться от «проклятых вопросов», нельзя скрыться от них за крепкими стенами и массивными дверями, — эти вопросы в той или другой форме ворвутся в конце концов в ваше святая святых, как вихрь, опрокинут аккуратно и красиво расставленные фигурки в вашей кумирне и заразят вас ядом сомнения и раздумья — этого начала всякой новой жизни, но вместе с тем и конца всякого покоя, благополучия и уютного счастья. И тем опаснее и гибельнее эти сомнение и раздумье, чем больше досуга имеет человек, чтобы копаться в своей душе, чем восприимчивее он к новым впечатлениям, чем слабее в нем сдерживающие силы ума и воли.

II.

Все эти условия, так благоприятствующие ращению семян сомнения и раздумья, имеются в Елене Галич налицо. Ее жизнь — жизнь праздной женщины. Благодаря заводу Ивана — т. е. людям, вынужденным работать на его заводе, — Елена окружена комфортом. Ей нечего делать, — за нее все делают другие. Имеются наемные люди, которые ведут хозяйство, подают в определенное время обед, чай, ужин; есть наемные люди, которые заботятся о детях, — умывают, одевают, кормят, учат, укладывают спать; есть наемные люди, которые доставляют Елене нарядные туалеты, модные шляпы, изящное белье и обувь; все за нее делают наемные люди, ибо она имела счастье родиться в эпоху капиталистического хозяйства, и притом совершенно исключительное счастье стать женою не рабочего, трудящегося на заводе Ивана, а самого этого Ивана, владельца завода, предпринимателя, капиталиста. Этим положением определена ее роль в «национальном хозяйстве».

Это, конечно, не личная вина Елены, это беда всех дам из общества — из буржуазного общества, — хотя редкие из них сознают эту беду, — что им совершенно нечего делать на свете. Есть два стимула работы в широком смысле слова, это — нужда, печальная необходимость трудиться для заработка, то проклятие труда, которое было возложено на семя Адамово, обреченное в поте лица своего есть свой хлеб насущный. И есть другой стимул: жажда интересной, приятной, захватывающей работы — работы, дающей внутреннее удовлетворение. Такой работой «по душе» обыкновенно является *творческая* работа в самом широком значении. Женщине обеспеченного буржуазного круга чужды оба эти стимула. Работать по нужде ей, конечно, не приходится. Работа же творческая ей недоступна. Попадаются, конечно, и в этой среде та-

лантливые единицы, но это не изменяет общего правила. Вот возьмите хотя бы Елену: она прекрасная музыкантша, но разве это может заполнить и осмыслить ее жизнь? Профессионально музыкой она не занимается— и все по той же причине: для заработка ей это не нужно, а творческих элементов в ее музыкальности нет, ибо она, как почти все женщины-музыкантши, не исключая и профессионалок, способна только воспроизводить чужое творчество, но не творить сама.

В среде зажиточной буржуазии и крупной буржуазной интеллигенции вы встретите немало способных, умных, интересных женщин, но жизнь их в конце концов уходит на пустяки, на искусственное заполнение пустоты жизни. Они читают, рисуют, играют, поют, даже думают, — но все это остается в узких рамках более или менее приятного препровождения времени, все это обесценивается своей собственной бесцельностью. К чему все это? Для того чтобы развить цельную, гармоническую личность. Прекрасно, но ведь для этого нужно быть прежде всего свободной личностью, а не придатком к мужу, не частицей квартирной обстановки. А разве может быть свободна женщина, когда она на каждом шагу связана с мужем, с его материальным и служебным положением, с его денежными и карьерными соображениями, когда она, не разрывая по существу семейной жизни, не может устроить свою личную жизнь так, как подсказывает ее внутреннее стремление? Она может свободно распоряжаться убранством квартиры, расставлять мебель по своему вкусу, менять обивку кресел, подбирать под стиль сервировку, — но как только вопрос коснется ее свободы распоряжаться своей собственной личностью, она больно чувствует цепь, крепко приковывающую ее к жизни мужа. Какая же личность может выражаться в таких условиях, кроме личности изящной игрушки, служащей предметом развлечения для мужа и украшением его гостиной?

Жизнь зажиточных слоев в доброе старое время требовала других качеств от жены. Тогда было сложное хозяйство, нуждавшееся в бдительном надзоре и руководстве хозяйки. При куче слуг, даже при рабском труде дворовых, хозяйки всегда должны были много работать и много знать. Этой устойчивой, крепкой жизни отвечала столь же устойчивая и крепкая нравственность, — простые, ясные, незатейливые правила, «заповеди», дававшие готовые ответы на все случаи жизни.

При современном строе эта хозяйственная деятельность женщины сохранилась только в среде мещанства да старозаветного купечества, до сих пор тяготеющего к идеалу «дома — полной чаши». Женщине интеллигентного зажиточного круга она стала чужда. Какая может быть хозяйственная деятельность, когда повар или повариха лучше вас знают, что делать, когда кладовая и погреб помещаются в большом магазине, откуда вы по телефону заказываете каждый раз все, что вам нужно, когда всякая вещь покупается готовой или заказывается мастеру, а дома ничего не производят, а только потребляют? Что тут делать хозяйке? Ей остается только изыскивать способы, как заполнить день.

Этим новым — нелепым и нездоровым — условиям жизни женщины соответствует и новая психика ее. Сознание женщины приспосабливается к ее бесполезности. Она сама смотрит на себя как на игрушку, украшение, предмет роскоши. Ее положение кажется ей вполне нормальным и разумным, — мало того, она готова возвести себя в перл создания. «Всякий сказал бы, что люди работают для людей, а Елена знает, что — только для нее. Весь мир и существует для того, чтобы удовлетворить все ее желания... Даже солнце работает на нее, согревает землю, освещает улицы, а вот она ничего не делает и лишь бесстрастно принимает».

И только в силу этой гармонии внутреннего мира женщины с ее внешним положением может она спокойно жить, наслаждаться жизнью и не чувствовать ее убийственной пустоты, бессмысленности и унизительности. Только пока чуждо ей сомнение, пока спит в ней раздумье, и возможна эта жизнь. Правда, в силу всех условий воспитания и жизни женщины-игрушки редким из них доступно сомнение и раздумье; быть может, одна на тысячу появляется — как урод в семье — с мыслью, способной к движению, с чувством, способным к подъемам, с волей, способной к действию. «Среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей» такие глубокие натуры бывают только исключением. Да и они подчиняются влиянию круга, живут общей жизнью, поклоняются общим кумирам и довольствуются пустотой и бессмысленностью такого существования. Но довольно, чтобы какое-нибудь — нередко пустяшное — обстоятельство вывело из равновесия такую женщину, встряхнуло ее бездеятельную душу, и червь сомнения и раздумья начнет грызть ее мозг и сердце. И тогда — горе ей — он не остановится в своей разъедающей работе, не оставит своей жертвы, пока не доведет ее до гибели или возрождения. Такими моральными толчками для спящей женской души является нередко любовь; но в эпохи глубоких общественных переломов душа женщины способна проснуться и от ярких событий социальной жизни. Вспомните тургеневских женщин, живших в годы переворота 50—60-х годов и сумевших подняться так высоко над своим кругом.

Елена Галич тоже жила прежде спокойной, уравновешенной, самодовольной жизнью. «Все человеческое имело для нее ценность. Она верила в бога, знала, что хорошо, что дурно, что нужно и что ничтожно». Она вела ту же праздную, пустую жизнь, и ни над чем не задумывалась, ничем не смущалась — выезжала, принимала у себя, а в минуты лирических настроений призывала на помощь Моцарта и Бетховена. Но лет пять тому назад произошел переворот. Под влиянием философских разговоров с мужем, вследствие чтения книг, благодаря размышлениям, — Елена постепенно растеряла свои прежние этические устои. Убедилась, что бога нет, изверилась в человечестве, утратила критерий добра и зла. «Какую роль можно отвести добру и злу, исканиям и вере среди ужаса этих квадриллионов лет и биллионов верст, и во что ей верить, если она все это знает; знает, что непременно умрет, как комарик какой-нибудь, как василек?» Это разрушение прежней косной, рабьей психологии Елены имело, конечно, свою положительную сторону. Оно пробудило в ней сомнение и раздумье. Но вместе с тем оно таило в себе серьезное жало, зародыш гибели. Есть духовные ценности, без которых не может существовать человек, по крайней мере обыкновенный, средний человек. К ним в первую голову принадлежит нравственная мирооценка. Если вы отнимаете у человека его этический критерий, не давая ему нового, — вы погружаете его в мрак, вы толкаете его, слепого, на бездорожье, готовите ему гибель. А философия Ивана — очень поверхностная и банальная, но исключительно разрушительная, бесплодная, как камень, — могла только вытравить прежние этические ценности из души Елены, но не могла дать ей ничего нового. Появись на пути Елены другой человек, с бодрой душой, с верой в будущее, с смелым полетом мысли, — и он увлек бы ее на вершины, огнем своей души вытравил бы ее старую, истлевшую веру, зажег новое пламя в ее сердце и повел бы ее — правда, прочь от мужа, от сытого довольства и покоя, — но к новой богатой, деятельной жизни. Но ее учителем был ее муж, представитель поколения, упершегося в тупик, видящего перед собою единственную перспективу — смерть. Он возвел смерть в оправдание жизни,

сделал ее ключом бытия, целью и смыслом земного существования человека. И этим трупным ядом он заразил душу Елены. Она осталась в своей пошлой, скучной светской обстановке с опустошенной душой и в то же время с сомнением и раздумьем.

«В чем смысл моей жизни? — размышляла она. — Когда я думаю о себе и оглядываюсь на свою жизнь, то вижу, что я всегда была паразитом... Какой же тут смысл? Я ничего не принесла ни людям, ни миру, никому ничего не дала, ни для кого ничего не сделала, не приносила жертвы, не трудилась; не творила добра, ни зла, не знала радости усилия, ни восторга достижения, — какой же смысл в моем существовании и для чего я явилась на свет?»

Когда человек задает себе вопрос: для чего я существую — именно я, живая, конкретная, данная личность, а не человек вообще, — тогда вы можете быть уверены, что этот человек — нравственный банкрот. Каждый человек, нашедший свое место в обществе, — даже самый маленький — твердо знает цель своего существования, знает, даже ни разу в жизни не задумавшись над этим вопросом. Какова бы ни была эта цель — осуществление идеала, карьера, научная работа, чин действительного статского советника, воспитание детей и т. д. — она осмысливает жизнь, вкладывает в нее содержание, делает ее разумной и нужной.

Но горе человеку, перед которым встает вопрос: зачем я существую? Значит, жизнь его потеряла смысл, лишилась разумного содержания, стала ненужной. Так стала ненужной и бессмысленной и жизнь Елены Галич, после того как она потеряла своего прежнего бога и не нашла никакой новой путеводной звезды в жизни. Жить той жизнью, бессодержательной и праздной, стало немыслимо: сомнение и раздумье делали свое дело. Создать новую жизнь? Но какую? На чем построить ее? Чем осмыслить? Все тот же безысходный вопрос: «в чем смысл моей жизни?» у нее все есть... и вот оттого, что все есть и ничего не нужно, — ей плохо. Она не несчастна, она счастлива, и это хуже всякого несчастья... Сиди перед зеркалом, разглядывай себя со всех сторон, улыбайся или плачь, если хочешь, а душа спит, замерла». У нее все есть, кроме одного — цели жизни.

Когда жизнь человека теряет смысл, становится ненужной для него или для других — ибо есть люди, которые находят цель своей жизни в служении другим, а это далеко не худшие среди нас, — тогда человеку остается только умереть. Бабушка Елены давно стала ненужной, она живет только по инерции, как истлевшие от ветхости предметы держатся в прежнем виде и ждут случайного толчка, чтобы рассыпаться в пепел. Но она уже мертвая, и на все вопросы отвечает коротким «я ушла». И с того момента, как Елена утратила естественный, бессознательный интерес к жизни, с тех пор, как она поставила трагический вопрос: «в чем смысл моей жизни?» — она тоже «ушла», — вышла из круга, умерла духом. Жить ей было больше незачем. Оставалось только умереть. Но молодая, здоровая женщина, окруженная всем, что люди называют счастьем, не может так просто отказаться от жизни. Нужно пройти через ряд испытаний; нужно отрезать себя от этого счастья; нужно сделать возврат к нему невозможным, — и только тогда смерть явится желанным другом и избавителем.

III.

Тот разъедающий анализ, которым заразил Елену ее муж, опустошил и его душу. «Разве в моей душе все спокойно? — раздумывает он. — Для чего мы живем? Зачем явились на землю? Может быть, смерть—

самое важное? Ведь кто понял ее власть, для того уже ничего не существует, нет ценного, ни великого, ни малого, ни призрачного, ни безобразного, ни доброго, ни злого... А я понял». Но, если вы сопоставите эту формулу Ивана с размышлениями Елены в смысле ее жизни, вам сразу бросится в глаза коренное различие в самой постановке вопроса. Елену интересует смысл ее жизни, для неее это л и ч н ы й вопрос, ибо именно перед нею, Еленою Галич, разверзлась бездна, грозящая ей гибелью. Напротив, у ее мужа вопрос ставится в общей, не личной форме, — «для чего м ы живем», мы, люди, человечество, род людской. Такой вопрос может ставить всякий человек, даже совершенно ясно сознающий цель и смысл с в о е й личной жизни. И в этом различии между «я» Елены и «мы» Ивана кроется коренное противоречие женской и мужской психики в современном обществе. Пессимистическая философия Ивана нисколько не мешает ему ездить каждое утро на завод, коммерчески хорошо вести дела; мысли о «квадриллионах лет и биллионах верст» не заставят его ошибиться и на десяток рублей при приеме заказа; ради неизбежной гибели миров он не упустит случая вкусно поесть, повеселиться в кругу друзей и уединиться с женой в спальне. «Не думай ни о чем, — утешает он себя: — люди, мир, вселенная, это — ничтожное. Правда в ней, в Елене, в этом маленьком, отграниченном от природы существе; правда в ее теплоте, в твоей любви к ней, в ее розовых руках». Такова его практическая поправка к теоретической формуле мирового пессимизма. И, понятно, Ивану и в голову не придет кончать жизнь самоубийством из-за этических противоречий. Делец-практик, — а таким является всякий человек, прокладывающий себе путь в людской толпе, — по необходимости оппортунист, его деловая жизнь — сплошной компромисс между принципами и выгодой, а такие условия неизбежно создают и оппортунистическую, двуличную психику, для которой вопросы остаются вопросами, а практическая жизнь — практической жизнью. Делу время, а потехе час. Одно другому не мешает.

Но Елена — женщина, а женщины не участвуют в деловой жизни, а потому не обладают этой своеобразной диалектикой дельцов, умеющих примирять непримиримое и объять необъятное. Женщины — надо отдать им справедливость — редко задумываются над вопросами бытия и долженствования, но когда что-либо выводит их мысль из косности, они мыслят абсолютно, прямолинейно, с бесстрашной последовательностью, без оговорок и без корыстных расчетов. Да — да, нет — нет, а прочее от лукавого. Поэтому так беспомощны они в теории, но зато они часто оказываются более правы и более честны в вопросах практической морали. Не случайность, что в нашей литературе женские типы стоят неизмеримо выше мужских в вопросах этической последовательности; характерно, что эти женские типы более ценны и в художественном отношении. Это лучшее доказательство, что литература верно отразила жизнь. В то время как Иван приходит в результате своих размышлений к культу «теплоты» и «розовых рук», жена, Елена, исходя из тех же посылок, доходит до отрицания всякой этики, всякой общественности, до отрицания смысла жизни, и, в частности, с в о е й жизни. И от слова она последовательно идет к делу.

Когда человек теряет руководивший им нравственный критерий, он тем ниже свергает вчерашние кумиры, чем выше ставил их в своей оценке. Самое дорогое вчера подвергается наибольшему оплеванию. Ренегаты обыкновенно не ограничиваются простым отречением от прежней веры, а со злобою преследуют и топчут в грязь ее учения. То же самое случилось и с Еленой. Утратив ту прочную веру, которая позволяла

ставить ее любовь к мужу во главу угла ее жизни, она должна была неизбежно подвергнуть эту любовь самым тяжким испытаниям, предать ее поруганию, чтобы сжечь корабли и сделать практический вывод из того учения, в которое на свою голову посвятил ее Иван.

Любовь в жизни женщины играет громадную, центральную роль. Как бы сильно и пылко ни любил мужчина, он из-за этого не перестанет ходить на службу, добросовестно и внимательно заниматься делом, исполнять самым корректным образом все свои обязанности. Внутренние перевороты не нарушат внешнего течения его жизни. Напротив, в жизни женщины любовь производит целую революцию — и не только в ее сокровенных переживаниях, но и в ее внешних навыках и образе жизни. Из-за любви женщина может забросить свои дела, может отречься от веры и может бросить отца и мать, может забыть даже родных детей. Вся жизнь современной женщины — а тем более женщины зажиточного круга — складывается таким образом, что сфера сексуальных отношений выходит далеко за пределы, положенные ей законами природы, и налагает на всю ее жизнь свой характерный отпечаток. Неудивительно, что на этом поле происходят почти битвы, испытания, победы и поражения женщины. Здесь же нередко решается и ее гибель.

Когда было нарушено нравственное равновесие Елены, это сразу отразилось на ее сексуальной жизни. У нее появились новые, небывалые мысли.

— «А тебе не странно, что я только тебе принадлежу»? — спрашивает она однажды мужа.

— «Я не понимаю», — ответил Иван.

— «Но я ведь не виновата, что у меня такие мысли! Порой мне хочется чего-нибудь деятельного. Чем мне заполнить день? Иногда мне жаль, что я так и умру, не узнав всего, что есть в мире. Я не обманываю себя. Наша жизнь не совершенство, и ты не совершенство, и бывают минуты, когда мне хочется подойти к окну, открыть форточку и высунуть из нее голову».

Вы видите, как в этих словах положительные элементы сомнения и раздумья нелепо переплетаются с самыми скверными мыслями. Елене хочется «чего-нибудь деятельного»; это очень хорошо. Она уже считает их жизнь несовершенной; это большой шаг вперед. Ей хочется подойти к окну и открыть форточку; и это прекрасно, и не только форточку, все окно следует открыть и впустить в затхлую атмосферу бездеятельного семейного счастья свежего воздуха. Все это пока здоровые зерна самого анализа, выведшего уже не одного человека из тупика эгоистического бытия на широкую дорогу человеческой жизни. Но на ваших глазах эти здоровые семена падают на нездоровую почву — на гипертрофированную сферу половых переживаний. И вместо здоровой любознательности к человеческой жизни эти семена порождают нездоровое сексуальное любопытство. Любовь к мужу у нее осталась и нисколько не уменьшилась, но вместе с облагораживавшим ее нравственным критерием ушла и та целомудренность, девственность, которую сохраняет женщина, знавшая только одного мужчину. После вечера, проведенного в обществе ухаживающих за нею мужчин, Елена сознается, что «ей было интересно с ними... Она даже не сумела бы сказать, что именно. В действительности стыдно, нехорошо и ненужно, — каждое слово Глинского и Болохова, если понять прямо, оскорбительно, но оттого, что оскорбительно, оттого, что стыдно, она испытывала какое-то особенное, незнакомое удовольствие, очень странное и волнующее». Здесь ясна борьба прежней целомудренности, которую оскорбляют пошлые ухаживания салонных львов, с новым любо-

пытством, жадно поглощающим эти «странные и волнующие» впечатления. Трагедия Елены и всякой женщины ее положения в том, что, когда она хочет открыть форточку и просунуть голову, оказывается, что форточка выходит на тесный закоулок пошлости и грязи. Не широкий простор жизни человеческой — богатой, разнообразной, захватывающей — виднеется из окна ее гостиной, а все тот же узкий мирок праздных, пошлых, развращенных людей; не свежим воздухом пахнет на нее через открытую форточку, а все тем же одуряющим запахом крепких духов, от которого кружится у нее голова на всех балах; не бодрый говор разноголосой толпы услышит она через открытое окно, а все те же затасканные банальные комплименты, которые тысячи мужчин тысячи раз повторяли на разные лады тысячам женщин и которые все же женщины выслушивают с удовольствием, как нечто «странное и волнующее». Положение Елены безысходно: она обречена жить в этом обществе, она не в силах выйти из него,— выходя из этого круга, она выходит из круга людей вообще. И раз потеряв равновесие, ей остается только катиться вниз по наклонной плоскости.

А тут еще является как бы логическое обоснование этого «странного и волнующего», что так приятно возбуждает любопытство Елены. Ее приятельница Люба Малиновская бросила любимого прежде мужа и сошлась с другим, и вот как она объясняет свой поступок:

«Если одна, любовь, делает жизнь прекрасной, то почему останавливаться на одной? Другая любовь должна сделать жизнь еще прекраснее, интереснее, богаче... Важно не то, сколько раз любить, а важна правда. Каждая новая любовь раскрывает душу глубже, делает ее и разностороннее, и радостнее, и солнечнее... Пока я любила только мужа, я была точно девушка, а вот теперь, полюбив другого, мне открылось новое. Прежде я была в цепях заповедей, в цепях человеческой выдумки, а когда я цепи порвала и вырвалась на волю, то увидела, что исповедывала ложь и жила в неправде. Я не хочу подчиняться человеческим заповедям, — моя душа — моя заповедь. Указанная Спасителем любовь, закрывающая душе все выходы, это — ужас, каторга...»

Эта своеобразная логика должна казаться весьма убедительной Елене, уже утратившей свою целомудренную неприступность и зараженной сексуальным любопытством. На самом деле, как просто: если одна конфета вкусна, то две вдвое вкуснее; если одна любовь — радость, то две — двойная радость, а три — тройная. Про мужчину сказано в Евангелии: кто смотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Про женщину можно сказать еще более ограничительно: если женщина только в мыслях своих вожделела греха, она уже совершила прелюбодеяние в сердце своем. Правда, не каждая женщина в состоянии шагнуть от этого мысленного прелюбодеяния к физическому падению. Редкая женщина не знает греховных мечтаний и соблазнов; если бы можно было заглянуть в тайники мысли самой целомудренной женщины, она могла бы показаться испорченнее мужчины. Но у женщины сильны некоторые задерживающие моменты, прежде всего с т р а х — страх решительного шага, страх перед мужем, страх перед физической близостью с «чужим» мужчиной, страх перед общественным мнением, страх за свой покой, и много других страхов. Мы уже видели, что у Елены нет возражений этического свойства: если бога нет, все можно, — а у нее нет бога. Но у нее есть другой задерживающий элемент — ее девственность, ее чисто девичий страх перед «чужим» мужчиной (не— мужем). «Я представляю себе чужого на твоем месте», — говорит она мужу... «Страшно, — она даже закрыла глаза, — ужасно страшно!.. Не могу!..» Девушки испытывают безотчетный страх перед близостью

с мужчиной. Физическая любовь сама по себе кажется им чем-то скверным, грязным, омерзительным... И только сильное чувство, горячая, идеальная любовь парализует эту боязнь, заставляет их принимать как естественное и должное то, что вне идеальной любви казалось абсолютно неприемлемым. В сходном положении находятся и женщины, знавшие одного мужчину, — разумеется, если этот мужчина не успел развратить их. Приняв любовь физическую как естественное последствие и дополнение любви духовной, они сохраняют свойственную девушкам целомудренность мысли. В их представлении физика и психика любви нераздельны, — это две стороны одного и того же явления. Попробуйте искусственно разделить их, и вы изуродуете душу женщины. Ограничьтесь одной психикой, — и платоническая любовь породит неудовлетворенность, наводнит мысль «странными и волнующими» образами, заставит женщину «прелюбодействовать в сердце своем», загрязнит ее душу. Прогоните психику любви, дайте самодовлеющее существование физике, — и любовь превратится в игру, в спорт, в рискованное развлечение, при котором сам собою возникает вопрос Любы Малиновской: если одна любовь — хорошо, то две — лучше, а три и того лучше. Есть вещи, которые нельзя расчленить, не изменив коренным образом их природы, и среди них на первом месте стоит единая, цельная любовь.

Люба Малиновская — женщина, повидимому, решительная — бросила мужа, с которым чувствовала себя девушкой, и сошлась с Елецким. Ей кажется, что она обогатила свою душу, но это самообман. Она обогатила только свой жизненный опыт, приобрела материал, а с ним и интерес к сравнительному мужчиноведению; будет только естественно, если она через год бросит Елецкого и займется изучением нового материала. Но душа ее ровно настолько же обеднела. Ибо настоящая, подлинная любовь есть всеобъемлющее, безграничное чувство; ее пределы только в емкости человеческой души — могий вместить, вмещает. Поэтому прибавить к ней ничего нельзя, обогатить, увеличить ею душу нельзя, как нельзя увеличить бесконечность прибавлением к ней хотя бы десяти новых бесконечностей. И по мере того как Люба Малиновская подменивает это огромное чувство любви сексуальным любопытством, поисками «более прекрасного, интересного, богатого» (каковое есть результат, а не цель любви), она ощипывает, умаляет, кастрирует свою любовь. Люба Малиновская не только мирится с такою жизнью, но находит в ней особую прелесть и интерес. Елена Галич не могла бы пойти по этому пути; это натура более глубокая и цельная. Встающие перед нею вопросы она должна доводить до окончательного решения. Либо ее жизнь, вся целиком — с любовью к мужу и детям, Моцартом и Куно-Фишером, с балами и любимыми духами — имеет смысл и оправдание; либо она бессмысленна и бесплодна, и тогда ее не оправдывают ни любовь к Ивану, ни Моцарт, ни дети, ни духи. В душе Елены царит хаос: она утратила свои прежние ясные и определенные нравственные устои, и ей все можно; но она сильно любит мужа, и это служит как бы направляющей ее жизни; ее мысль изъязвлена сексуальным любопытством, но она еще слишком целомудрена, чтобы без отвращения принимать ласки Глинского. А между тем она уже выведена из равновесия, в подпольной лаборатории за пределами ее сознания уже решаются ее судьбы, и какая-то стихийная сила предуказывает ей путь падения: ты потеряла мерило добра и зла, ты изверилась в смысле своей жизни, ты вышла из круга, вне которого для тебя нет бытия, — ты должна погибнуть; тебя манит соблазн жизни, ты хотела бы «узнать все, что есть в мире» — ты отведаешь греха, и он убьет в тебе жажду жизни; тебя привязывают к этому миру любовь к мужу и детям, — ты оттолкнешь

их, ты втопчешь в грязь эту любовь и будешь свободна. И когда ты пройдешь через эти испытания, и ничто уже не будет тебя приковывать к этой жизни, — ты умрешь, и даже рада будешь умереть.

IV.

Первым опытом «выглядывания через открытую форточку» явилось для Елены ухаживание Глинского. Это было худшей формой испытания. Глинский — здоровый, упитанный самец, соблазнитель неумных и ждущих падения салонных красавиц, — представляет наиболее отрицательный, с точки зрения истинной любви, образец мужчины. Это один из тех распространенных типов, которым при слове «любовь» рисуется красивое женское тело, способное удовлетворить похоть. Правда, ухаживание Глинского, грубое и наглое, возбуждает в Елене одно отвращение, но от этой грязи кое-что прилипает к ее душе. Форточка оказалась открытой на самый омерзительный уголок мужской души: через эту форточку Елена впервые ясно и четко увидела, на чем покоится интерес мужчин ее круга к женщине, что лежит в основе их «рыцарства», ухаживания и поклонения. И ей стало противно. Но так как открытая ею черта была общим достоянием всех мужчин, с которыми ей приходилось встречаться, то она вдруг увидела в них всех что-то общее — гнусное общее. Когда пришел уславливаться относительно занятий новый репетитор и, заинтересовавшись изящной барынькой, стал ее разглядывать, она и здесь заметила то же общее, мужское. «Как странно, — думала она, — когда он посмотрел на меня, то сделался похожим на Глинского и Ивана. Я узнала что-то новое, чего раньше не знала. Я как будто открыла ту дверь, к которой мне было запрещено подходить».

Казалось бы, после этого печального опыта Елене следовало захлопнуть форточку, уйти вглубь своей квартиры и спасаться около Ивана, детей и Моцарта. Еще могло спасти ее какое-либо потрясение, которое заставило бы ее сменить праздную жизнь «жизнью деятельной, полной забот и тревог», и утраченную маленькую правду заместить маленькой практической правдой, годной для повседневного употребления. И такой момент был. Захворал Иван. «В один миг перестали существовать и непонятное, и греховное, рождавшие страдание мысли и совести, уничтожилась ее связь с бесконечным, с миллионами верст, с вечностью, и затерся, заглох в душе образ Глинского». Но прошло лето, Иван выздоровел, жизнь вернулась в прежние рамки, и Елена очутилась опять у той же форточки, от которой не было отступления к старому покою. Ведь у Ивана Галича есть друзья — кроме Глинского есть Болохов, кроме Болохова есть Савицкий, и еще, и еще. И каждый из них за честь почтет совратить жену приятеля: уж так устроен этот нравственный мир господ жизни. В Елене есть некоторая доля отпорности, и она борется с засасывающей ее тиной. Своей — вернее мужниной — философией, смутным стремлением к «открытой форточке», сексуальным любопытством, всем тем хаосом, который образовался в ее душе, после того как она вышла из круга, — она загипнотизировала себя, внушила себе, что изведать неведомое, достичь того неоформленного, что волнует ее мысль, она может только через любовь. Любовью, или суррогатом любви, может она освободиться от невыносимой раздвоенности. Но с этим неясным, инстинктивным стремлением встречается, складывается последний запас ее отпорной силы, и получается неожиданная равнодействующая: Елена отдается Савицкому. Савицкий — уже немолодой, обрюзгший, опустившийся человек, с седеющими усами и мешками под глазами, — самый неподходящий любов-

ник. Но он — мягкий, нежный, сентиментально влюбленный в Еле его любовь кажется ей менее тягостной, менее наглой, менее обидн вообще меньшим злом. Ведь эта любовь для нее не радость, а неизбе ное испытание, последняя жертва. Свою любовь к Ивану, свою любо к детям она должна бросить в ту трещину, которая образовалась в душе и с которой она не может жить. И это испытание Савицкий сдела более легким, чем кто-либо другой, эту жертву он сделает менее тяжел и оскорбительной. Так, больные женщины нередко охотнее обращают к посредственному, но доброму и сердечному врачу, чем к врачу хор шему, но суровому. Ласка нужна женщине, как солнце цветку.

Елена полюбила Савицкого: «она ни в чем ему не призналас ни разу не проронила слова о своих чувствах, и все-таки он знал, что о полюбила...» Когда он попросил ее притти к нему, она ничего не ответил только кивнула головой. Этим кивком она бесповоротно решала вопро

Вот она у Савицкого, — «лицо ее, бледное, без кровинки, сурово почти монашеское, выражало покорность. Точно она пришла сюда ради любви, а принести последнюю жертву, может быть, поставить п следний вопрос...» Елена все время ведет себя как загипнотизированна Словно она дала кому-то обет совершить роковой шаг, вымолила се наименее тяжелые условия и теперь добросовестно, честно исполняет св обещание. Нет больше ни Савицкого, ни любви — есть только необход мость принести себя в жертву. «Она ясно слышит торжественные, сп койные звуки Моцартовой фантазии: трали-там-там, я сделала непопр вимое, трали-там, непоправимое... И опять то же, но уже очень грустн и глубоко: трали-там, непоправимое...» И, сделав непоправимое, она л жит на кровати, устремив взгляд в одну точку, и беззвучно плачет.

Савицкий, конечно, ничего не понял в происшедшем. С отсутствие чуткости, обычным у мужчин, привыкших переходить от женщины женщине, не останавливаясь над их психикой, не задумываясь над и сложными движениями, он с первого же момента не понял значени любви Елены. Он понял только, что Елена «необыкновенная» женщина этим отличил ее от десятков других женщин, прошедших через объятия, — и успокоился. Он слишком жаждал ее тогда, чтобы догадаться заглянут в ее душу, — ведь женская душа для мужчин этого круга «потребител ной ценности» не имеет. Теперь, после ее жертвы, он почувствовал фальшь но все-таки ничего не понимает. «Он ходит от дверей к окну и обратно и думает о том, как все вышло гадко, нехорошо, точно с девуш кой. Вместо восторгов забытья, упоения было мучительно и грустно Все время она молча плакала, плакала и, уже принадлежа ему, был такая же далекая, незнакомая, необыкновенная, как всегда». «Необыкно венная» — в этом Савицкий, бесспорно, прав. «Обыкновенные» женщин его круга не делают трагедий из того, что потеряли веру в бога и критери добра и зла, не ставят себе вопросов о смысле жизни, не кончают жизн самоубийством из-за душевного разлома, а либо живут «верными супру гами и добродетельными матерями», либо заводят любовников и осмысли вают этим свое бессмысленное существование.

Когда Еелена, одетая, стояла уже в передней, ей хотелось сказат Савицкому: «скорее, скорее отсюда! Всего один час прошел, как я здесь а мне кажется, что я перешагнула вечность... Миллионы верст отделяю меня от прошлого». Ведь собственно это посещение Савицкого и был роковым переходом через грань вечности. После этого умереть был легко и даже радостно. Но этот шаг был самым трудным, самым мучи тельным. Если бы она смогла умереть, не сделав этого шага, ей и тогд смерть казалась бы легче, чем такая жертва. Тогда бы даже из петли —

если бы ее случайно спасли — был бы еще возврат к жизни. Но от ее жертвы есть только один путь — к смерти. Быть может, перед лицом смерти эта жертва ценна, ибо через нее она «поняла что-то, чего никто понять не хочет, и перестала нуждаться в любви, в людях». Но перед лицом жизни Елена очутилась бы — останься она жить — живым трупом, человеком с мертвой душой. «Так же спокойно, как пошла она к Савицкому, подчинившись неизбежности и нужному, так же спокойно пошла она к смерти и, как там, беззвучно заплакала, увидев ее».

«Вот шла она, беззаботно играя, шаля, и вдруг потеряла самое ценное, без чего человек не может жить — его правду... Как это случилось? Шла, играла и незаметно уронила. То, что потом было с нею — и ее старания отдаться детям, и мысль о том, что ей все можно, и Глинский, и мечты о больших преступлениях, жизнь козявкою у моря, чувство к Савицкому, жертва своей любовью к Ивану, — все она делала только для того чтобы закрыться от бездны, вернуть себе прежнюю правду».

«Играя» и «шаля», уронила она правду. Но с правдою не играют, с правдою не шалят. Она слишком дорогой предмет, чтобы превращать ее в игрушку, и, раз упав на землю, она превращается в камень, о который больно ушибается уронивший; вернуть потерянную правду немыслимо. Потеряв одну правду, можно, пожалуй, — не всегда — найти другую правду, но для этого нужно выйти из своего круга, — не из круга людей вообще, а из круга тех людей, которые выдумали ту, потерянную, правду. Этого Елена не в силах была сделать. Она и родилась, и выросла в своем тесном кругу, там прошла ее жизнь, да вряд ли она и знала о существовании других кругов и других правд. Для нее ее кругом покрывался круг всего человечества, а потому выйти из этого родного круга значило то же, что выйти из круга людей. Перед ней было два пути: либо следуй рабски раз заученным заповедям, ничего не спрашивай, ничего не допытывайся; либо отбрось завещанную тебе правду и бросайся, очертя голову, в анархию мирового хаоса. «Если бы она была послушной и ходила во тьме осторожно, как учили пророки и учителя жизни, она бы не оступилась. — Такой итог подводит она своей жизни. — А она не послушалась, на минуту вышла из круга людей, и — погибла».

«Я увидела свет, — утешает она себя перед смертью, — и разбилась об этот свет, и я рада, — рада потому, что мне не нужно мое благополучие, потому что я не хочу ходить во тьме... я так безмерно счастлива...»

Человек редко бывает вполне искренен даже с собою, даже в минуту смерти. У него всегда есть некоторый «возвышающий» самообман, а в глубине души чуть слышен голос беспощадной правды. Неудивительно, что после этого самооправдания Елена на минуту дает волю тому внутреннему голосу: «почему же я плачу». И конечная правда слышится в ответе на этот вопрос:

«И еще о том она плакала, что так дурно сложилась ее жизнь.»

Ева и Джиоконда.

(Литературные параллели).

Среди писателей-модернистов, — у нас их обыкновенно называют декадентами, — которыми все больше и больше начинает интересоваться русская читающая публика, выдающееся место занял в последнее время

польский беллетрист Станислав Пшибышевский. Из немногих произведений его, переведенных на русский язык, особенно повезло драме «Снег», вышедшей в нескольких переводах и обошедшей чуть не все доступные новым веяниям сцены. Болезненно чуткая душа, оригинальный взгляд на жизнь, крупный художественный талант — все это захватывало читателя, очаровывало его, а потому неудивительно, что польская драма нашего автора была встречена с восторгом и приобрела популярность у публики.

Но критика не может ограничиться одними субъективными впечатлениями: ее задача произвести объективную оценку данного художественного произведения, отнести его к накопленным сокровищам человеческого творчества и указать место среди них. Всякое художественное — истинно художественное — произведение представляет некоторую сумму творческой энергии, аккумулированной в определенной форме и способной в будущем служить источником эстетических эмоций, выполнять ту функцию в эстетическом и этическом воспитании общества, которая выпадает на долю искусства. Поэтому относительно нового художественного произведения мы должны выяснить, является ли оно действительно вкладом в сокровищницу человеческого духа, т. е. стоит ли оно на должной художественной высоте, и если да, то действительно ли обогащает эту сокровищницу, т. е. дает ли что-нибудь новое, или если не новое, то в новом освещении, в новой форме, — одним словом, нечто способное вызвать новый ряд художественных представлений, новый комплекс эстетических эмоций. Если да, то мы должны приветствовать этот вклад, как ценное приобретение; если же нет, если новое произведение является лишь повторением, подражанием, пережевыванием старого, или даже худшим выражением уже созданного,— тогда мы должны отвергнуть такой удар и указать ему надлежащее место — среди суррогатов искусства. Истинно художественное произведение обладает большой живучестью и силой внушения. Они переживают все мимолетные настроения и веяния данной исторической минуты и «сквозь тьму веков» покоряют своей силой грядущие поколения. Но такие произведения редки, и их замещают обыкновенно бесчисленные суррогаты. При недостатке эстетического, а нередко даже и общего, образования нашего общества задача критики выделять жемчужные зерна из массы суррогатов и отсылать читателя, слушателя, зрителя от преходящего, суррогатного к вечному и подлинному.

Великий поэт-лирик, — говорит профессор Овсянико-Куликовский [1], — не меньше великого художника образов, не меньше великого мыслителя и ученого, является аккумулятором (психической) силы, трата которой по мелочам образует сущность психической жизни в обширном смысле — обыденной, частной, общественной, политической и т. д. И не только великий художник, но и всякий истинный художник является таким аккумулятором, ибо разница между ними — между Пушкиным и Чеховым, например — только количественная. И эта роль аккумуляторов психической силы, источников «благотворного, освежающего, живописного» действия на душу побуждает к строго критическому отношению, к отделению плевел от питательного зерна, к очищению этих источников.

Таким образом, чтобы оценить данное художественное произведение, нам необходимо приложить к нему обе мерки: во-первых, отвечает ли оно требованиям художественности, т. е. является ли оно вообще истинно художественным произведением и, во-вторых, дает ли оно что-нибудь

[1] «Вопросы психологии и творчества», СПБ, 1902, стр. 168.

новое и высшее, и что именно нового, чем обогащает оно литературную сокровищницу. С этих двух точек зрения нам и придется оценить «Снег» Пшибышевского.

Исходной точкой художественной критики должно быть определение сущности данного рода поэзии, и, надо признаться, в этом отношении царит теперь полный хаос. В старое доброе время различали три основных разновидности: эпос, лирику и драму. В новое время эпос давно уже умер и погребен, и место его заняли роман, повесть и новелла. В драматические формы вопреки всем правилам вторгнулась лирика (Метерлинк, Чехов), появились драмы без действия — contradictio in adjecto, — так называемые драматические сцены, картины и пр. (Горький). Ввиду этого хаоса и полного крушения старых рамок поэтического творчества — крушения, заметим, знаменующего сильное развитие поэзии, а не анархию — критике приходится апеллировать к какому-нибудь принципу. И этим принципом, на наш взгляд, является определение по сущности, независимо от формы. Как ни перепутались взгляды и понятия о родах и формах поэзии, у критики осталось нечто более прочное, ибо зависящее от способности эстетического переживания — именно формы эстетического восприятия. И этих форм мы знаем три: образы, настроения, типы, которым соответствуют повествовательная поэзия, лирика, драма. В каком бы сочетании ни находились эти элементарные формы в данном произведении, доминирующая среди них всегда определит род поэзии. И внешняя драматическая форма не помешает нам отнести пьесы Метерлинка к лирике, лирический флер в пьесах Чехова не изменит их характера драм, дающих резко выраженные типы. Подходя с этим мерилом к «Снегу», мы должны констатировать, что это произведение никоим образом нельзя отнести к лирическим, как, например, «Аглавену и Селисетти», — кстати говоря, очень родственную ей. По всей концепции пьесы, по желанию воплотить общечеловеческие черты («обнаженную душу») в реальные общественные типы «Снег» Пшибышевского представляет несомненное драматическое произведение. И это определение вместе с тем указывает, где кроются существенные недостатки пьесы. Как только мы перейдем к оценке изображенных в ней типов, пред нами сразу же предстанут вся слабость и неудовлетворительность ее. Но, чтобы рельефнее подчеркнуть эту сторону вопроса, мы сравним «Снег» с другой, ранней пьесой автора, представляющей действительно художественное произведение, именно с драмой «Для счастья». Фабула и драматический конфликт обеих пьес до мелочей те же, но в то время как в раннем произведении выведены живые, типичные люди, и развязка проведена с высоко художественным, можно сказать, даже беспощадным реализмом, — так в позднейшем произведении все подернуто символическим туманом, живые люди превращены в силуэты, драматический момент [так] смягчен и подслащен, чтобы не шокировал нервы эстетических гурманов, и вся пьеса написана в том мертвенном тоне школы «вырождения», для которой посиневшие трупы и кровавые лужи представляются лишь интересными красочными пятнами на данном фоне.

В пьесе «Для счастья» мы имели «eine alte Geschichte», которая вечно «neu bleibt». Карстен любил Грету и жил с ней два года. После этого он встретил Ольгу — grande coquette — и увлекся ею. И ради Ольги он бросил Грету и даже стал уверять свою новую возлюбленную и самого себя, что Греты он никогда не любил. Но Грета из тех натур, которых любовь пробуждается только раз в жизни — и на всю жизнь. Одиночество после жизни с Карстеном для нее смерть, и она лишает себя жизни. В этой драме троих есть еще и четвертый — Бек. Он — бывший возлюбленный Ольги, жаждущий отомстить ей и любящий Грету. Всеми силами старается

он расстроить связь Карстена с Ольгой, но когда это ему не удается, он отравляет эту связь призраком мертвой Греты. Эту простенькую повседневную историю, в которой фигурируют живые, обыденные люди, автор сумел развить в высоко художественнное произведение. Но, видно, впоследствии оно перестало удовлетворять его. Эволюция автора от художника к философу мистико-сексуального направления убила, повидимому, в нем здоровое художественное чутье и заставила переработать прежнюю тему уже в духе новых взглядов. И эта переработка дала художественно несостоятельный продукт.

Из живой, глубокой натуры, какой была Грета — натуры страдающей, борющейся, колеблющейся между жаждой счастья и чувством гордости, — получилась Бронка, бесцветное, сентиментальное существо, с овечьей покорной психологией. Бронка неспособна бороться за счастье, она может только приносить себя в жертву и, даже уходя от жизни, старается не тревожить покой и счастье своего мужа с Евой. Не менее безжизненным и сентиментальным стал и прежний Бек, превратившийся в Казимира и утративший вместе с переменой общественного положения и свои характерные черты живого человека. Получился какой-то рыцарь печального образа. Но самую резкую и отрицательную эволюцию проделали остальные два персонажа: Карстен и Ольга. Автор поставил их на ходули и придал им какой-то таинственный демонический облик, выбросив из них при этом все реальное, жизненное содержание. Получились две схематические фигуры — Тадеуш и Ева. К этим фигурам следует присмотреться: «Ты рожден для борьбы, ты мечтал быть вождем, создать новые миры, останавливаться только затем, чтобы среди трупов и дымящихся развалин, сняв с головы шлем, отереть знойное чело». Такой эффектной фразой характеризует Тадеуша Ева. Но о какой борьбе идет речь, какие миры призван он создавать, вождем каких сил следует ему быть, — об этом мы ни слова не узнали. «Ты последний из великого, прекрасного рода конквистадоров, которым тесен глупый угол, называемый Европой». И это тоже не более, как эффектная фраза. Не говоря уже о том, что *исторические* конквистадоры были далеко не велики и не прекрасны и, во всяком случае, много глупее угла, «называемого Европой», притом руководились не какой-то тоской по идеалу, а просто аппетитом к американскому золоту и рабам, — помимо всего этого опять возникает вопрос, что же завоевывал он, герой «Снега»? К сожалению, из всей пьесы мы узнаем только, что он некогда «завоевал» довольно неприступное сердце Евы, да кроме того, что в момент рассказа он «охотится, ездит по соседям, торгуется с евреями о ценах на хлеб» и торгуется, повидимому, прекрасно, как настоящий современный «конквистадор», судя по тому, что нем[illegible]ый брат поручает ему приведение в порядок его дел. Занятия, как[illegible]е, самые мирные и самые мещанские, во всяком случае, доволь[illegible]ко отстоящие от «завоевания новых миров». Вся напыщенная хара[illegible]истика, данная автором своему герою, не подтверждается никакими деяниями его ни в течение самой пьесы, ни в предшествующей жизни, поскольку она явствует из пьесы. Автор просто хочет, чтобы ему на-слово поверили, что Тадеуш — это сильная, прекрасная личность, временно остановившаяся «среди трупов и дымящихся развалин», чтобы «отереть знойное чело». И такой прием убеждения мы должны безусловно отвергнуть, как нехудожественный, и самый тип признать бессодержательным схематическим построением. Наибольший интерес пробудила в русской публике, поскольку нам удалось заметить, Ева. Вечно тоскующая по идеалу, эта публика усмотрела в Еве символическое воплощение такой тоски; вечно страдающая от слабости и дряблости, она увидела в ней сильную

личность. Эти две функции Евы нам и придется разобрать. Что такое Ева в нашей драме? «Была ли та женщина (именно Ева) зла, легкомысленна? — спрашивает Казимир. — Нет, напротив! Она только утратила способность жить. Она терзала себя и других, ею овладевала какая-то безумная жажда уничтожения». Такова она была в прежний период любви Тадеуша. И любовь эта была больная. «Ах, как я страдал!» — восклицает он, вспоминая это время. Но в нашей драме ее роль другая. «При тебе пробуждается тоска и желания, до того незнакомые, — говорит ей Бронка, — ты можешь приковать и увлечь за собой человека, даже и не подозревая, что он идет вслед за тобой, и он идет, не зная, куда увлечет его твое очарование». Итак, Ева пробуждает в людях тоску, но каков же смысл этой тоски? Есть тоска — и тоска. Есть тоска, глубокая и плодотворная, вызываемая отсутствием известных элементов, необходимых для гармонического развития человека. Эта тоска возвышает и облагораживает личность, она представляет бессознательное стремление к этому недостающему лучшему, стремление, всегда способное перейти в сознательный акт, подвинуть человека на борьбу. Но есть другая тоска — тоска от пресыщения, тоска бесплодная. Одаренные всеми благами земными, пресыщенные материальными и духовными дарами культуры, люди, неспособные к альтруистическим порывам, легко поддаются специфической тоске по бесплотным и бесплодным призракам идеализма. За мишурной идеалистической оболочкой этой тоски скрывается самая прозаическая жажда новых ощущений, новых более утонченных наслаждений. И этим видом тоски одержима наша героиня. Весьма характерен в этом отношении следующий диалог, характерен и для нее и для нашего конквистадора-Тадеуша.

Тадеуш. Гм... Ты так уверена, что я создан завоевателем новых миров. Зачем?

Ева. Чтобы сделать жизнь красивой (Чью жизнь и для кого красивой? — *Ю. А.*) и быть красивым.

Тадеуш. А если я не сумею завоевать их?

Ева. Так пади — и в этом своя красота.

Тадеуш. А если это все пустая трата сил? Бессмысленное уничтожение себя и всего окружающего?

Ева. И в этом красота. Человек, рвущийся куда-то и жаждущий чего-то, хотя бы и недостижимой цели, — все же прекрасен.

Тадеуш. А если он ничего не жаждет, кроме покоя, тихого уголка, теплого камина?

Ева. Это хорошо для Казимира.

Тадеуш. А для меня?

Ева *(с улыбкой смотрит на него долгим взором)*. Для тебя? Я, только я, — одна я...

Вот на что сводится тоска и пробуждение тоски нашей героини. «Нужно прежде всего море усмирить, — говорит она: — разрыть горы, нужно пройти через горнило всех мук и наслаждений, чтобы новый мир открылся взору».

И в конце концов этим «новым миром» оказывается «Я, только я, — одна я», и цель, недостижимая на первый взгляд для человека, рвущегося куда-то, жаждущего чего-то, оказывается очень близкой и очень достижимой. Трагедия тоски свелась к обычному любовному конфликту с той лишь разницей, что герои встали на ходули и начали говорить высокопарным языком героических трагедий.

Ева обманула русского читателя. Вместо тоски пробуждающейся личности, рвущейся из пут всезасасывающего мещанства, она дала тоску того самого мещанства, — только мещанства, возлежащего на верхах культуры, пресыщенного и скучающего. Но и в другом отношении она обманула читателя. Она хотела сыграть перед ним роль сильной личности,

роль резко выраженной индивидуальности, а оказалась и здесь вороной в павлиньих перьях.

Вот послушайте ее откровенное признание:

Тадеуш. Почему же ты оттолкнула меня, когда я все слагал у твоих ног, когда я мог с тобою и при тебе завоевать те новые миры, о которых ты теперь говоришь? Зачем ты меня оттолкнула?

Ева. Потому что ты не сумел стать моим господином.

Это весьма ценное признание. Оно выдвигает из глубины души нашей героини на свет божий те рабские, мещанские черты, против которых борется пробуждающееся самосознание современной женщины.

«Заветным желанием вашей жизни было связать и увлечь человека, который с неугасимой тоской слепо следовал за вами?» — спрашивает ее Казимир, и она категорически утверждает: «да». В этих двух последних цитатах весь смысл и содержание характера Евы. Увлечь человека, которого она любит, и... стать его рабой. Скажите, какая мещанка влагает меньший смысл в свое крохотное существование? Отбросьте все декорации, бутафорию, ходули, пышные фразы, демонические улыбки, — и вы получите старую, как мир, легенду женского сердца, только пересказанную хуже, чем это делали другие, чем это сделал сам автор в драме «Для счастья».

А между тем новое время создало тип новой женщины, сильной, гордой своим человеческим достоинством, чуждой мещанства. Этот тип способен служить не «господину», а тем идеалам, которые дороги и ей, и любимому ею человеку, способен даже свою любовь подчинить этому идеалу и принести и ее, и себя ему в жертвы. Для противопоставления Евы мы укажем на один тип, очень интересный и высоко художественный тип, где автор сумел воплотить в живом человеке целый ряд отвлеченных психологических черт нарождающейся женщины-человека. Мы имеем в виду тип Джиоконды в драме того же названия Г. д'Аннунцио.

Скульптор Луччио Сеттала женат на прекраснейшей женщине Сильвии, типа Бронки или, точнее, Греты. «Это неоценимо высокая душа, перед которой я падаю ниц и благоговею», — говорит о ней муж. Но, увы, он художник и «не лепит душ». Он встречает Джиоконду, образец пластической красоты. «Когда она предстала предо мной, — говорит он, — я увидел пред собой все глыбы мрамора, заключенные в самых далеких каменоломнях, и в них я хотел бы заключить каждый жест ее». Художник и идеальная натурщица естественно сближаются, и любовь причудливо переплетается со служением искусству. Из этой связи возникает шедевр — статуя Сфинкса, вызывающая всеобщие восторги и удивление. Однако семейная драма, ставшая душевной драмой Люччио, терзает его, и, не находя выхода, он пытается покончить самоубийством. Самоотверженный уход жены спасает ему жизнь, и, возрожденный, он думает сначала, что исцелился от прежней страсти. Однако пробуждающаяся потребность творчества идет рука об руку с тоской по Джиоконде, сотруднице в творчестве и побудительнице к творчеству. И несмотря на все отчаянные попытки Сильвии, кончающиеся для нее трагически, он, возвращаясь к работе, возвращается и к Джиоконде. «Я, — говорит Джиоконда, — была горячо любима и возвышенной любовью. Я не принизила, — нет, я вдохновила могучую жизнь». «Когда он (Люччио) входил сюда (в мастерскую), где я ждала его, как ждут творящее божество, он перерождался. Пред своей работой он снова обретал силу, радость, веру. Да, лихорадочное возбуждение горело в его крови, поддерживаемое мною (и в этом вся моя гордость); но в огне этого возбуждения он выковал свою лучшую работу». «Во мне нет ничего безжалостного, — возражает она на упрек

жены Люччио, — но я сама подчинена силе, которая, быть может, безжалостна». «Природа послала меня ему навстречу, чтобы нести ему весть и служить ему. Если б он теперь вошел, он мог бы начать свою прерванную работу, которая уже оживала под его пальцами». Вы видите, что здесь человек служит человеку не как раб господину, а как жрец «творящему божеству». Здесь перед вами не служба, а служение, служение идеалу, и в этом служении и художник и натурщица одинаково велики, одинаково свободны, одинаково горды. А вот смотрите, как любит Джиоконда и как умеет она свое чувство отдать на служение той же идее. «Находясь под запретом, вдали и в одиночестве (когда Люччио лежал больной после попытки самоубийства), я могла только всей силой моей воли собрать и влить все мое страдание в одну мольбу. Моя вера была равна вашей (т. е. жены Люччио); несомненно, она сливалась с вашей в борьбе со смертью. Последней творческой искре, родившейся из его гения, из божественного пламени, горевшего в нем, я не дала потухнуть, — я поддерживала ее живой с религиозной и непрерывной бдительностью». И в то время как Люччио возвращался к жизни под нежным прикосновением «прекрасных рук» Сильвии, Джиоконда, далекая и страдающая от этой дали, прилагала все старания и усилия, чтобы сохранить и спасти от гибели новую работу, начатую им перед смертью. Лишенная возможности помочь творцу, она оберегала его творение, руководимая своей любовью и верой в свое призвание. И потому вполне понятно, что, когда Сильвия, пробуя спасти свое счастье, ложно заявляет ей, что Люччио ее забыл и прекращает с ней всякие отношения, Джиоконда с негодованием обрушивается не столько на обманутую любовь, сколько на обманутую веру в гений художника. «Теперь он уничтожен, его дело кончено, он — бесполезная тряпка. О, теперь я понимаю! Бедный он, бедный! Почему он лучше не помер, чем пережить свою душу?» И в порыве возмущения она пытается не отомстить ему, как сделала бы любая мещанка, а уничтожить ту начатую работу, которую он мог создать только с ней и только благодаря ей. И эта идейная последовательность чувства, даже в минуту сильного возбуждения, указывает на глубокое проникновение этой идеей всей психики Джиоконды, на действительную силу и величие ее души. И такой тип новой женщины, хотя несколько чужд нам по конкретному содержанию — наша жизнь не позволяет нам роскоши служения искусству, — тем не менее очень близок и дорог нам по своему основному настроению, по высокой степени человеческого самосознания и самоуважения, по отсутствию пошлых мещанских элементов. Если нам нужно художественное воплощение женщины-человека и искреннего, действительного отношения к идеалу, то такое воплощение мы скорее найдем в живой, реальной личности Джиоконды, чем в туманном символе Евы, в которой за шумихой трескучих фраз кроется самое обыденное тяготение одного пола к другому. Некоторые черты нашей общественной жизни создают особую складку в психологии, в силу которой такие чувства, как тоска по идеалу, грезы о лучшей жизни и т. п., находят легко отклик в наших душах. Но непростительная доверчивость и неразборчивость заставляют нас нередко принимать без проверки за выражение наших чувств формально сходные чувства, особенно если последние преподносятся под красивой (что еще не означает художественной) оболочкой. Хороша картина мягкого пушистого снега, пригревающего сироты-семена и охраняющего их от гибели. Но раскопайте этот снег, выньте семя — и вы сплошь да рядом увидите, что не питательный злак вырастет из него, а сорная трава или бесплодный злак.

О культурной преемственности и пролетарской культуре [1].

Л. Авербах.

Говорят, что там где философствуют — не действуют. Но мы не можем действовать без света и помощи нашей философии. Стоит нам забыть о ней — и наше действие может оказаться весьма отличным от того, к чему мы стремились. Рожденная в действии и для действия — философия является нашей вышкой, нашим компасом, нашим повседневно необходимым орудием практики. Качество философии нередко отражает качество действия. Недостаточность теоретического обобщения характеризует многие области нашего строительства. Культурная революция на первый взгляд не из их числа. Но это только на первый взгляд.

В этой области много разговаривают, особенно там, где можно говорить не по существу, а в связи и по поводу, вокруг да около. Но не каждый разговор — на уровне философии. Часто количество разговоров действительно переходит в философское качество: дурное качество дурной философии. А между тем в практике культурной революции все более часто сказывается то невнимание к ее принципиальным основам, а то и не доведенное до конца или прямо ошибочное понимание теории ленинизма в данной области.

Находятся такие, которые прямо отрицают наличие у большевизма своей теории культуры. Так, например, Вяч. Полонский в книге, претенциозно и незаслуженно называющейся «Очерки литературного движения революционной эпохи», пишет: «Только Троцкий и Богданов создали стройные системы взглядов на культуру и литературу» (стр. 118). Между этими полюсами, видите ли, расположились все остальные. Любопытно было бы знать, а что Ленин — совсем оставляется без стройной системы взглядов или эта система признается нестройной? Или взгляды Троцкого выдаются за подлинный ленинизм?

Бедная большевистская партия! Она поставила в порядок дня своей практической работы культурную революцию, не отдавая себе видимо отчета в том, что к чему, когда и почему. Или ее теория создается в порядке отталкивания от полюсов — немного оттуда, немного отсюда, кое-что еще со стороны?

Лениным заложены основы большевистской теории культуры. В его работах мы находим все необходимое для принципиального осмысливания практики. Выдвигая лозунг культурной революции, Ленин руковод-

---

[1]) Глава из цикла статей «О некоторых проблемах культурной революции», выходящих отдельной брошюрой в изд. «Московский рабочий».

ствовался определенной системой взглядов. Не его вина, если это не понимает Полонский, ибо непонимание это характеризует не Ленина, а Полонского.

Заявление Полонского не случайно. Им выражена в общей форме та мысль, которая явно в частных случаях и по отдельным вопросам руководила теми или иными «философами», «теоретиками» или простыми делягами, не претендующими на идейную высоту. Потому неизбежно всякое изложение тех или иных проблем культурной революции оказывается критикой, полемикой, вскрытием накопившихся разногласий. Что же делать... Иного нет у нас пути!

Нельзя понять вопросов культурной революции при наличии непонимания некоторых основных вопросов теории диалектического материализма — в частности при непонимании того, что отличает нашу философию от релятивизма. Вопрос об объективной истине неразрывно связан с проблемой культурной.

Незаметно составился у нас хор отрицателей объективной истины.

Тов. Сарабьянов заявляет: «Представим себе, что буржуазия, научно изучая законы общественного развития, познавая объективную необходимость, выступает в согласии с этой необходимостью против рабочего класса. Пролетариат выступает против буржуазии. И тот и другой действуют верным научным образом. И буржуазия права, и пролетариат прав. Созерцатель-объективист пожмет плечами: чего борются? Ведь оба правы. Но мы — активисты. Мы скажем: именно потому — что буржуазия действует научными методами, что ее цели не утопичны, а научно обоснованы, мы должны еще решительнее бороться с буржуазией. Мир знает не одну правду, а множество их. Монархия разумна, но и борьба с нею тоже разумна, говорил Герцен. — Не угодно ли выбирать?» [1]). Тов. Сарабьянов действительно активист — он активист ревизионистского наступления на марксистскую ортодоксию. Выясняется, что буржуазия может в согласии с объективной необходимостью общественного развития, конечно, научно бороться против пролетариата, причем нельзя сказать, чтобы она была не права — с какой точки зрения, своей классовой правоты или правды объективной необходимости? Но указание на точку зрения у нас является вовсе не признанием множественности правд, а, наоборот, указанием на то, что объективно — правильна только одна из них. Герцену была знакома диалектика. Он понимал, что там, где новые классы ведут борьбу против старой монархии, разумна не монархия, в свое время бывшая разумной и сейчас являющаяся действительной, но уже не разумной, в то время как разумна именно борьба против монархии. Выбирать здесь приходилось между двумя противоположными субъективными разумностями, из которых объективно разумна лишь одна. «Выбирать» т. Сарабьянов призывает между субъективизмом, релятивизмом, с одной стороны, и материалистической диалектикой, с другой стороны. К теории ленинизма в вопросах культуры это имеет непосредственное отношение.

Тов. Иоффе в книге «Культура и стиль» — книге весьма «активистской» — утверждает: «Для двух разных социальных групп смысл одной и той же вещи — различен». Заявление не случайное. Вот, например, несколько дальше т. Иоффе повторяет ту же мысль: «нет объективных художественных произведений, но есть условное выражение отношения к миру социальной группы». Как видим, идея множества правд — не только

[1]) Цит. по книге А. Столярова Диалект. материализм и механисты, стр. 17.

частное достояние т. Сарабьянова. Это общая собственность т. Сарабьянова вместе с тов. Иоффе.

Ленин писал: «Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, т. е. признает относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения к этой истине» (т. X, собр. соч., стр. 110). На разные голоса и на разных инструментах наши певчие занимаются сведением материалистической диалектики к релятивизму, к абсолютной относительности, к отрицанию объективной истины.

«Условное выражение отношения к миру социальной группы» может быть более или менее объективным. На определенном этапе общественного развития субъективные намерения буржуазии выражали общественные потребности. Именно поэтому буржуазия имела тогда известные основания свой интерес выдавать за интерес всеобщий. Но это время уже прошло. Объективной истиной является лишь классовая борьба пролетариата против капитализма. В этом споре права лишь одна сторона. Сверхактивность Сарабьянова и иже с ним Иоффе не может не являться сверх всякого их ожидания не чем иным, как явным принижением значения социальной активности рабочего класса. Ежели все правы, ежели объективной истины нет, ежели нет задачи приближения к ней, ежели даже смысл одной и той же вещи определяется не человеческой практикой, а лишь оценкой социального субъекта, то сроки выбора между борющимися сторонами оказываются не вопросом жизни и смерти, не терпящим отлагательства, но чем-то не весьма актуальным.

Мы не становимся на платформу Сарабьяновской активности, ибо мы предпочитаем ей ту платформу материалистической диалектики, которая является единственной подлинно действенной, так как только она объективно научна.

Капитализм — неразумен. Буржуазная культура задерживает овладение человечеством силами природы, угол зрения буржуазной культуры не дает возможности объективно познавать законы развития природы общества. Империализм — препятствие развитию производительных сил. Человечество неизбежно толкается им на путь войн, разрушений, монополистического загнивания. Интересы объективного познания мира, действительного развертывания наступления на природу, организации самого человеческого общества — представляются только пролетариатом, и им одним. Цепь культурной преемственности перешла уже в руки пролетариата — пока, правда, только в одной стране. Или завтра она перейдет в его руки и в других странах, или человечество под бременем империалистической буржуазии пойдет вниз. Здесь, действительно, надо выбирать.

Вопрос о признании объективности истины имеет, следовательно, важнейшее значение для понимания проблемы культурной преемственности и специфической постановки ее пролетариатом.

Марксизм отнюдь не склонен солидаризироваться со Шпенглером, у которого люди одной культурной формации лишены возможности понимать людей другой формации, ибо развитие культуры представляется Шпенглеру процессом механической смены одной культуры другой — ей противоположной и с нею не связанной, хотя и обреченной на те же фазы развития. Класс нисходящий, действительно, не может понять новой культуры, культуры класса, идущего ему на смену. Маркс и Ленин за пределами понимания Шпенглера. Но Шпенглер вполне ясен маркси-

стам-ленинцам. С точки зрения нашей культуры все прошлое человечества не оказывается покрытым фатальной завесой. Пролетариату ясен вчерашний день, ибо сегодня он носитель дня завтрашнего [1]).

В письме к Анненкову Маркс писал: «благодаря тому простому факту, что каждое поколение находит производительные силы, добытые ему прежними поколениями, и эти производительные силы служат ему сырым материалом для нового производства; благодаря этому факту возникает связь в человеческой истории, образуется человеческая история, которая в тем большей степени становится историей человечества, чем больше выросли производительные силы людей, а следовательно, и их общественные отношения».

Единство процесса материального производства — вот основа, на которой вырастает связь поколений, на которой развивается человеческая история, на которой происходит сложное и противоречивое развитие человеческого общества и через соответствующие звенья всех культурных надстроек. Каждое поколение социальное, равно как и возрастное, включается звеном в работу прошлого и будущего, не оказываясь голым человеком на голой земле. Активно приспособляясь к природе, человек переделывает и самого себя и все свое общественное устройство в соответствии с формами и степенью овладения им силами «натуры», т. е. в меру развития своей «культуры».

«Технология раскрывает активное отношение человека в природе, непосредственный процесс производства его жизни, а, следовательно, и общественных отношений его жизни, и вытекающих из него духовных представлений» (Маркс, Капитал, т. I.). Так, единый процесс развития культуры, как всего созданного человеком в противовес тому, что он непосредственно получает от природы, как его «искусственной среды» (Лафарг), предстает перед нами как единство развития материальной и духовной культуры.

В развитии культуры мы не ищем никакого мистического смысла. Мир не рассматривается нами как логический процесс, как небытие идеи. В развитии культуры мы не усматриваем и никакого раскрытия сверхчувственного бытия, представляющегося некоторым единственным источником подлинного познания. В развитии культуры мы вовсе не обнаруживаем и законов собственного рассудка, диктуемых природе мыслящим человеком. Культура для нас и не сводится к чьему-либо «социально-гармонизированному» общественному опыту. «История культуры есть история преобразования природы и в связи с ней самого человека» — этими словами т. Деборин дает точную марксистскую формулировку, в полном соответствии с Марксом, говорившим что, «воздействуя на природу вне его, человек изменяет свою собственную природу».

Такое понимание диалектического единства культуры устраняет опасности как «идеологизации» культуры типа Богданова, так и сверхматериализма типа Иоффе.

Богданов, из субъективно-идеалистической философии которого неизбежно вытекает разрыв между культурой «духовной» и «материальной», определял культуру как «совокупность методов и средств организации социальной жизни людей», рассматривая даже технику как «способы и приемы труда». Культура как объективная данность, далеко несводимая лишь к тем методам и средствам, которыми люди организуют свою социальную жизнь, техника, как, кроме всего прочего, —

---

[1]) Лефы в области литературы именно потому отказываются от прошлого, что они не обладают марксистским методом познания и строительства настоящего.

определенное количество практикой проверенных орудий труда — все это пропадает у Богданова. Так и появляется формулировка Плетнева: «вопросы культуры — шире — вопросы идеологии». Вопросы идеологии шире вопросов культуры, т. е. вся культура, в том числе и ее материальный базис и остов, лишь составная часть идеологии, покрывается ею. Иначе и не может быть там, где существующий объективно внешний мир подменяется комплексами моих ощущений, где, следовательно, снимается вопрос о соотношении культуры духовной и материальной тем, что культура материальная оказывается лишь частью более «широкой» культуры духовной. Такая идеологизация марксизма — весьма активистична. Она, в частности, покоится на подмене марксистского понимания объективности истины — ее общезначимостью для данного, более или менее узкого круга лиц. Но она не имеет ничего общего с диалектическим материализмом. Идеологизация марксистского понимания единства, а не тождества культуры — прямой переход к идеализму, в том числе и к таким последовательно субъективно-идеалистическим формулировкам, какие давались, например, проф. Кареевым, заявлявшим, что «духовная культура имеет чисто ментальное (умственное) существование, т. е. имеет бытие лишь во внутреннем мире человека, в его уме» [1]). Хотели бы мы лишить этого профессора собственных книг, возможности пользоваться библиотекой, отобрали бы мы у него бумагу, ручку и чернила, карандаши и ночной колпак, что осталось бы в его «внутреннем мире», в его уме?

Но марксистское определение культуры имеет и противников «сверхматериалистического» толка. Тов. Иоффе, — а его уже упоминавшаяся нами книга вышла с маркой Ленинградского Коммунистического университета, — считает, что «марксизм далеко еще не всюду одолел гуманитарные традиции. Это главным образом в учении о так называемой духовной культуре и учении об историзме» (стр. 14) [2]).

О каких гуманитарных традициях идет речь? Речь идет о «гуманистах, уверенных, что мнение правит миром» (стр. 20), т. е. об идеалистах чистой воды. Иоффе утверждает, что «марксизм вступил в компромисс с гуманитарными науками» (стр. 30), т. е. с теми же идеалистами очевидно. И такие обвинения выдвигаются в книге, издающейся партийным комвузом. И такие обвинения выдвигаются человеком, явно не разбирающимся в действительных взглядах марксизма. Так, напр., на стр. 16 он пишет: «марксизм рассматривал надстройку как духовную сущность, забывая, что всякое социальное явление имеет общепринятые материально-обобществленные формы и что выработка этих форм имеет свои технологические условия». О чем «забывал» марксизм, мы не имеем ни необходимости, ни желания беседовать с И. Иоффе. Но мы жалеем, что Иоффе не попытался даже указать, где и когда «марксизм» забывался до того, что надстройка объявлялась духовной сущностью. Мы напомним лишь Иоффе, что марксизм никогда не забывал отмежевываться от ретивых «активистов», то начисто сводящих психическое к материальному, зачеркивая особое качество психического, то — как Иоффе — все явления культурного мира сводящих к материальным вещам. «Культура — не временный психологический, идеологический поток, а материальный процесс труда» — утверждает Иоффе на стр. 37 своего примечательного труда. Не идеология, а материальный процесс труда. Одно здесь противопоставляется другому для того лишь, чтобы одно свести к другому, установив их тождество, а не единство.

---

[1]) Н. Кареев, Общие основы социологии, изд. «Наука и школа», 1919, стр. 16.
[2]) И. Иоффе. Культура и стиль, «Прибой», 1927.

С диалектическим материализмом это никак не вяжется. С Богдановым Иоффе много легче договориться, чем с марксизмом, компромиссничающим с идеализмом.

Еще Спиноза говорил, что «порядок и связь идей соответствуют порядку и связи вещей». Вдумавшись в эту достаточно популярную фразу, Иоффе сможет понять и взгляды современного марксизма.

«Вторая традиция, унаследованная от гуманитарных наук марксизмом, — это пассеистический историзм» (стр. 23),— продолжает Иоффе свою прокурорскую речь. «Последовательность хозяйственных форм стоит только в кажущейся обязательной причинной связи» (стр. 34). Надо отказаться от представления о развитии человеческого общества как закономерного причинно объяснимого процесса. Надо отбросить «однолинейную диалектику». Общественные системы нельзя рассматривать как единство, ибо «рассматривать систему как единство — значит судить о ней по доминирующей силе, упуская остальные» (стр. 31). О понятии диалектического единства Иоффе не имеет ни малейшего представления. Ежели в системе имеется сила кроме силы доминирующей — значит нет единства. Здесь Иоффе обнаруживает, что он не дорос еще даже до механического понимания диалектического противоречия как столкновения двух сил в одних рамках. А о действительной диалектике, о вскрытии внутренних противоречий внутри «силы», о самодвижении — обо всем этом у Иоффе, зовущем нас к многопланной диалектике, ни одного слова. Естественно, что, ополчаясь на историзм, Иоффе прощается и с идеей развития. Мир начинает походить на сумасшедший дом — одни системы беспричинно сменяются другими, сосуществуют с ними или рядом или в отдалении, на место определенных общественно-экономических формаций и классов становится «многопланная диалектика», из граммов, помноженных на сантиметры.

Но там, где нет истории — там нет развития. Где нет развития — там нет преемственности. «Аисторический» и «апсихологический» релятивизм рождают нигилизм — или, наоборот, им рождаются и его теоретически покрывают.

Но подобный нигилизм ничуть не менее чужд нам, чем «культурная демократия» Каутского и Гильфердинга, представляющая собою капитуляцию пролетариата перед буржуазной культурой.

Культурная преемственность осуществляется пролетариатом совершенно иначе. В наследство он получает не культуру «вообще», а культуру, существовавшую в определенной классовой форме — и никак иначе. Но пролетариат знает, что в процессе борьбы с природой человечество все более приближается к объективному познанию мира и овладению им.

Рабочий класс не отбрасывает прошлую культуру в сторону, так же, как и не становится перед нею на колени. Культурная преемственность осуществляется им проведением пролетарской культурной революции.

Но можно ли говорить о революциях в культурном развитии? Можно ли говорить об отдельных классах, совершающих некие культурные «перевороты»? Можно ли говорить о классовых культурах там, где признается закономерность культурного развития и культурная преемственность?

* * *

Ежели культура живет не только в нашем уме, ежели ею являются не только субъективные формы организации ощущений, но ежели она имеет и объективное бытие, то можно ли говорить о классовости культуры? Разве арифметика, например, классова? Довод от арифметики стал

уже штампом. Еще Плеханов в эпоху начинавшейся борьбы с ревизионизмом указывал на то, что одним из доводов против научного социализма является отрицание классовости науки и насмешки над социалистической и буржуазной математикой [1].

Над «пролетарской математикой» издевается т. Луппол в книге «Ленин и философия». Посмеивался по поводу «буржуазной» и «советской» математики т. Пистрак в недавней дискуссии по вопросам марксистской педагогики. Так ли, однако, основательны улыбки наших мудрецов? Не помешало ли бы им задуматься, прежде чем начинать смеяться?

Законы деления и умножения одинаковы и для буржуа и для пролетария. Эти законы соответствуют движению материи. Они проверены при познании и при строительстве вещей. Представляет ли однако математика, как наука, лишь некоторое количество законов подобного характера?

Современной биологией установлен ряд законов наследственности — сводится ли к ним целиком вся теория наследственности? Статистика оперирует таким объективным материалом, как цифры. Означает ли это невозможность говорить о классовости статистики? Читатель не посетует на нас за приведение заявлений достаточно крупных научных работников.

Говорит акад. И. П. Павлов: «Сейчас все сводится к собиранию фактического материала. Но, однако, во всякий момент требуется общее представление о предмете, для того чтобы было на что цеплять факты, для того чтобы было с чем двигаться вперед, для того чтобы было что предполагать для будущих изысканий. Такое предположение является необходимостью в научном деле». Общее представление о предмете — вот на чем делается ударение акад. Павловым.

Говорит З. Фрейд: «Уже при описании нельзя избегать того, чтобы не прибегнуть при обработке материала к помощи некоторых отвлеченных идей, которые берутся из каких-либо иных источников, лежащих, несомненно, вне нового опыта». Как видим, у Фрейда речь идет об отвлеченных идеях, тех же и в том же смысле, в каком И. П. Павлов говорит об общем представлении о предмете.

Говорят тт. Смит и Тимирязев в предисловии к сборнику «Статистический метод в научном исследовании»: «От числа к материи или от материи к числу — такова в общем и целом постановка вопроса. В конце концов, защитники статистического мировоззрения, горячо отстаивающие сперва положение, что при всяком научном исследовании «в начале бысть число», постепенно перешли на другую точку зрения, согласно которой при каждом количественном изучении вначале должна быть «организующая идея», причем сама организующая идея является плодом материального анализа объекта количественного изучения».

Приведенные высказывания подтверждают правильность мыслей не тт. Луппола и Пистрака, но Энгельса, утверждавшего, что философы управляют естествоиспытателями. Вопрос о классовости науки оказывается сложнее, чем это представлялось тем, кто недооценивает роли и значения мировоззрения, способа представления, метода.

«Общее представление о предмете» науки во многом различно у материалиста и идеалиста, у метафизика и у диалектика. «Отвлеченные идеи» непосредственно сказываются на «сцеплении фактов». «Организующая

---

[1] Г. Плеханов, Собр. соч., т. XI, стр. 87.

идея» руководит каждым исследователем тогда, когда он пытается осмыслить всю свою практику и конструировать науку, как идеологическую систему, из законов эмпирического познания движущейся материи. Это никак не означает того, что будут правы обе «науки» — и наука материалиста и наука виталиста, например. Две классовые науки — не равны двум объективно значимым наукам. Подлинная наука — только одна. Ею в настоящее время может быть именно наука, исходящая из материалистического способа представления, руководствующаяся диалектическим методом, пропитанная мировоззрением марксизма [1]). Это никак не исключает преемственности развития. Плеханов писал, что «классовая буржуазная точка зрения исследователей не только не мешала в свое время прогрессу науки, но была его необходимым условием». «Необходимым условием» прогресса науки является теперь классовая пролетарская точка зрения — в том числе и в так называемых точных науках. Преемственность культурного развития вовсе не предполагает преемственности одной и той же классовой точки зрения на мир. Когда будет достигнуто построение социалистического общества, когда человечество справится со стихийностью и бессознательностью общественного развития, когда активное приспособление человечества к природе будет происходить все более сознательно и планомерно — тогда не будет классов и классовой точки зрения, тогда и развитие культуры пойдет таким темпом, о котором мы даже неспособны мечтать. Но пока человечество развивалось в условиях классовой борьбы, до тех пор развитие культуры проходило в определенных классовых формах. Даже в области техники — разве экономическая география стран, размещение в них предприятий, направление железнодорожных путей — не отражало и не отражает социальную установку господствующих классов?

«Мысли господствующего класса являются в каждую эпоху господствующими мыслями, т. е. класс, являющийся господствующей материальной силой, является в то же время господствующей духовной силой... Господствующие мысли представляют не что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений». Понятие классовости культуры — есть не что иное, как содержание этих мыслей Маркса и Энгельса. Отрицание классовости культуры — означает непонимание роли господствующих идей и представление о культурной преемственности, как о гладеньком, мирном, спокойненьком эволюционном развитии — совсем в духе культурной демократии Каутского и никак не в духе культурной революции Ленина. Именно так, ибо первая предполагает классовое сотрудничество под идейной гегемонией буржуазной культуры, а вторая — классовую борьбу за превращение пролетариата в господствующую духовную силу.

Лозунг культурной революции отражает своеобразие формы, в которой пролетариат вступает во владение культурой, как класс, не могущий культурно «вызреть» в условиях буржуазного общества. Оказываясь господствующей материальной силой после завоевания политической власти, он еще должен пройти большой и тяжелый путь борьбы за свое духовное господство. Культурная гегемония пролетариата — такова задача, которую должна будет разрешать каждая пролетарская революция и которую уже на практике поставили перед собой строители социализма в Советском Союзе.

---

[1]) См. подробнее об этом нашу дискуссию с т. П. Ионовым в книге «Наши литературные разногласия».

Но может быть, говоря о культурной гегемонии рабочего класса и пролетарской культурной революции, мы забываем об особой роли и положении нашего класса, который берет власть не для того, чтобы строить новое классовое общество, но для того, чтобы использовать государство для строительства социализма, общества бесклассового? Мы не нуждаемся в том, чтобы свои классовые интересы выдавать за вечные истины, строя соответствующие иллюзии. За нами нет ни одного класса, который мог бы претендовать на действительное представительство исторических интересов всего трудящегося человечества. Может быть не следует поэтому говорить о своей классовой гегемонии и культуре — поскольку мы идем к социализму? В этом следует разобраться.

Что такое переходный период? Троцкий, наиболее серьезный и интересный противник идеи пролетарской культуры, отвечал на это так: «Годы социальной революции будут годами ожесточенной борьбы классов, где разрушения займут больше места, чем новое строительство (стр. 141 «Лит. и рев.»)... в основе диктатура пролетариата не есть производственно-культурная организация нового общества, а революционно-боевой порядок для борьбы за него (стр. 144)... прежде чем пролетариат выйдет из стадии культурного ученичества, он перестанет быть пролетариатом (стр. 148)... в эпоху диктатуры о создании новой культуры, т. е. о строительстве величайшего исторического масштаба, не приходится говорить; а то ни с чем прошлым не сравнимое культурное строительство, которое наступит, когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры пролетариата, не будет уже иметь классового характера» (стр. 141).

Похожа ли эта характеристика переходного периода на мысли и утверждения Ленина? Между тем, различная оценка переходного периода и классовой борьбы в этот период вызывает и определяет различное понимание культурных задач пролетариата и проблемы его классовой культуры, в частности.

У Троцкого переходный период — тяжкий перевал, канат, протянутый между двумя вершинами, не производственно-культурная организация нового общества, а лишь боевой порядок для борьбы за него. Здесь не до культурных задач — их место в будущем; на новую вершину мы доберемся, оставаясь еще культурными учениками, ведь годы диктатуры пролетариата — годы преимущественно разрушений.

Но у Ленина переходный период — длительный этап работы, где на место разрушений все больше приходит созидание, где рабочий класс не может дойти до социализма без того, чтобы не проделать культурную революцию, т. е. не развернуть культурного строительства величайшего масштаба, где выход из культурного ученичества оказывается условием — не перехода на новую вершину, но построения нового мира.

У Троцкого нет задачи превращения пролетариата в культурного гегемона — строительство искусства можно, например, передоверить мелкобуржуазным интеллигентам, нет даже постановки вопроса о политическом смысле положения пролетариата, как культурного ученика в условиях его материального господства, нет нигде связи между вопросами культуры и характером и формами классовой борьбы в переходный период. У него «республика наша есть союз рабочих, крестьян и мелкобуржуазной по происхождению интеллигенции, — под руководством коммунистической партии» («Лит-ра и рев.», стр. 168).

У Ленина «республика наша» — диктатура пролетариата, осуществляющего свое классовое господство в союзе с основными массами тру-

дящегося крестьянства. У Ленина вопрос о культуре ставится как проблема классовой борьбы и предпосылка победы рабочего класса. У Ленина идет речь об опасности перерождения, в частности именно в связи с нашей культурной отсталостью — ученичеством. На II съезде партии Ленин делал ударение на том, что «бывает так, что побежденный свою культуру навязывает победителю». У Ленина оценка диктатуры пролетариата как эпохи ожесточеннейшей классовой борьбы неизбежно приводила к подчеркиванию политической опасности бескультурности и малокультурности, к энергичным указаниям на классовый смысл и классовое содержание культурной революции, как пути к социализму, на классовый характер нашего ни с чем прошлым не сравнимого культурного строительства.

Вот т. Сарабьянов считает, что «если говорить об обществе, то революция в нем мыслима только как очень кратковременный процесс» [1]).

Революция здесь понимается, очевидно, лишь как момент острой борьбы за власть и переход ее в руки нового класса. Но такое понимание революции совершенно лишает нас возможности понять специфию переходного периода от капитализма к социализму, специфию, заключающуюся в том, что пролетариат на основе своей власти и при помощи своего государства продолжает революцию, захватывая ею все более и более глубокие основы старого общества. Ежели встать на точку зрения т. Сарабьянова, то выражение «культурная революция» вообще не может быть законно, ибо о каком же кратковременном переходе власти от одного класса к другому может итти речь в области культуры? Между тем ясно, что переходный период — в понимании Ленина — это и есть дальнейшее углубление и развертывание революции как социалистического строительства, частным, хотя и одним из существеннейших моментов которого является культурная революция. Переходный период — это «длящийся многие годы процесс развития масс с ускоренным темпом движения» (Энгельс).

«Не было еще, кажется, ни одного человека, который, задаваясь вопросом об экономике России, отрицал бы переходный характер этой экономики. Ни один коммунист не отрицал, кажется, и того, что выражение «социалистическая советская республика» означает решимость совласти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание данных экономических порядков социалистическими» — так ставился вопрос Лениным [2]). В переходный период (в узком смысле этого слова) каждый шаг по пути к социализму завоевывается величайшей решимостью совласти как диктатуры пролетариата, разбивающей ожесточенное сопротивление своих врагов и преодолевающей колебания промежуточных элементов. Переходный период характеризуется тем, что еще стоит вопрос «кто кого», что еще продолжается борьба за путь развития. Лишь подлинное построение фундамента социалистической экономики приводит нас к социализму как к первой фазе коммунизма. Можно, конечно, не производить такого различия между переходным периодом и социализмом, определяя общим понятием весь путь от капитализма до коммунизма как второй, высшей фазы социализма. Речь у нас идет не о терминологии, а о понимании длительной эпохи, непосредственно следующей за установлением диктатуры пролетариата. А такое понимание является условием верного ответа на вопрос о классовом содержании культурной революции.

У нас были в партии такие теоретики, которые возражали против характеристик культур как классовых, предлагая говорить о культурах

[1]) В. Сарабьянов, Исторический материализм, 1925 стр. 115.
[2]) Ленин, Собр. соч., т. XVIII, ч. I, 2-е изд., стр. 253.

общественно-экономических формаций. Так, например, неправильно, дескать, говорить о буржуазной культуре. Следует говорить, о «культуре буржуазного общества». Или, что нам еще интереснее, неправильно говорить о пролетарской культуре, а следует говорить, о «культуре переходного периода». Такие предложения в своё время вносились А. Слепковым, П. Ионовым и некоторыми другими. Действительно, культура буржуазного общества не сводима к одной буржуазной культуре, ибо уже в пределах такой общественно-экономической формации как капитализм зарождается и начинает развиваться культура пролетарская, которая будет возглавлять, окрашивать следующие шаги человеческого развития. Но у Слепкова — Ионова речь шла вовсе не об этом. Указание на культуры «формаций» служило у них доводом против культур «классов», чем затушевывалась внутренняя противоречивость того же буржуазного общества и открывалась дверь к замазыванию и принижению классовой борьбы в области культуры. Возражать против пролетарской культуры и предлагать говорить о культуре переходного периода вообще или просто о «переходной культуре» — не означает ли это проявления величайшего непонимания классовой борьбы в переходный период, — тем более обостряющейся в области культуры, чем решительнее пролетариат проводит свою культурную революцию? Не случайно наши споры по вопросам культуры со Слепковым и Ионовым были еще в 1926/27 годах производными от споров по вопросам классовой борьбы, где эти товарищи проповедовали именно те идеи, которые лежат сегодня в основе философии правого уклона [1]).

Говорить о «культуре переходного периода» значит не понимать ни смысла переходного периода, ни содержания лозунга культурной революции.

В переходный период, в годы обостряющейся классовой борьбы, культурное строительство рабочего класса не может не носить печати «железных тисков диктатуры пролетариата». Культурная революция отлична от культурной демократии оппортунистов именно тем, что она представляет собою не простое «приобщение» масс к старой культуре, но критическое овладение всем накопленным человечеством опытом и богатством, не врастание пролетариата в старую культуру по рецептам немецких меньшевиков, но классовую борьбу за свою пролетарскую гегемонию в области культуры. Говорить, повторяем, о «культуре переходного периода» в противовес понятию пролетарской культуры означает забывать об этом. Но забывают об этом нередко.

Вот, например, т. Бобровников в книге «Пролетариат и культура» так интерпретирует Ленина: «Одно дело, когда Плетнев, повторяя Богданова, учит «кудрявый пролетариат» из пролеткульта, что необходимо «сотворить новую пролетарскую культуру», которая была бы «в основе своей» «культурой боевой» и которую можно было бы «противопоставить» культуре буржуазной, как «антитезу», — другое дело, когда Ленин вразумляет рабочую молодежь: вздор все это; если вы хотите создать пролетарскую культуру, приобщайтесь сперва к культуре, «выработанной под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества», а уже потом двигайте эту культуру (курсив везде мой. — *Л. А.*) дальше» — (стр. 32). На той же странице т. Бобровников заявляет: «Русский язык мы пока не меняем на телеграфный, не перестраиваем «заново» ни науки, ни искусства, и обо всем этом теперь можно говорить уже так же спокойно, как об анекдотах о социализации женщин». Жен-

---

[1]) См. Л. Авербах, Наши литературные разногласия, «Прибой», 1927.

щины могут не волноваться по поводу слухов о социализации прекрасной, — как принято было выражаться — половины человеческого рода, но Бобровников слишком рано успокоился. Его интерпретация Ленина и его иронизирование над перестройкой науки много ближе к той же культурной демократии меньшевизма, чем к культурной революции большевизма.

Ленин учил рабочую молодежь вещам отнюдь не похожим на те оппортунистические пошлости, которые приписываются ему Бобровниковым. Ленин не говорил им: сперва приобщитесь, а потом уже двигайтесь дальше — без всякого указания на критическое отношение к прошлой культуре, без всякого призыва к строительству культуры новой. Ленин нигде не предлагал им двигать эту — старую — культуру дальше, ибо культурная преемственность понималась Лениным диалектически, революционно, а не постепеновски, либерально.

Вот что говорил Ленин рабочей молодежи: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества» [1]).

В той же речи Ленин так характеризовал работу Маркса, ставя ее в пример комсомольцам: «Маркс показал неизбежность развития капитализма, ведущего к коммунизму, и, главное, он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения этого капиталистического общества, при помощи полного усвоения всего того, что дала прежняя наука. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что человеческой мыслью было создано, он переработал, подверг критике, проверив на рабочем движении»...

У Ленина речь идет об усвоении, неотрывном от переработки. У Ленина речь идет о таком изучении прошлой культуры, которое являлось бы критическим, которое проверялось бы на рабочем движении. Маркса он вспоминает именно для того, чтобы подчеркнуть свое понимание культурной преемственности, понимание автора лозунга культурной революции.

Тов. Бобровникова пугает мысль о перестройке науки «заново». В русском, а не в телеграфном языке слово «перестраивать» включает в себя и понятие заново и понятие усвоения, использования, учета того, что перестраивается. В этом смысле мы и приступаем к перестройке науки — и будет это делом не специалистов по пролетарской культуре, но содержанием работы миллионов в процессе культурной революции. Перестройка науки для нас обязательна, ибо пролетариат не может все более сливать науку с жизнью, не может пропитывать наукой всю свою работу без перестройки науки, без материалистического похода во все

---

[1]) Тов. Луппол в своей книге, приведя на стр. 176 эту же цитату из Ленина, сопровождает ее следующей фразой: «Как видит читатель, Ленин прослеживает здесь генезис «пролетарской» культуры далеко в глубь веков...» «Как видит читатель», т. Луппол ничтоже сумняшеся поставил Ленину кавычки там, где их у Ленина не было. Тов. Луппол — противник пролетарской культуры, но для чего превращать Ленина в своего союзника путем скромной прибавки скромных кавычек?

области естествознания, например, без подлинной и всесторонней гегемонии марксизма, например, в общественных науках.

Предположение о том, что мы будем перестраивать после, а сперва будем воспринимать старое в положении культурных учеников, — учеников старой школы муштры и зубрежки — предположение нередко, в более или менее откровенной форме, встречающееся в литературе по культурным вопросам. В основе его лежит непонимание того, что каждый новый класс, воспринимая старую культуру, критически перерабатывает ее, или в той или иной мере подпадает под ее влияние. Это вопрос классовой борьбы, вопрос, решаемый на практике, повседневно, на всех ступенях культурной лестницы.

Кто — кого — этот вопрос стоит и в культурной области.

Но здесь мы опять сталкиваемся с рассуждениями Вяч. Полонского. Им развивается теория иммунитета пролетариата по отношению к классово-чуждым произведениям буржуазного искусства. Больше того, он заявляет, что «подлинные революционеры, соприкасаясь с подлинным и высоким искусством, на практике испытывали как раз обратное: буржуазное искусство организовывало их психику именно в сторону целей и задач пролетариата». (Курсив Полонского. Л. А.) Именно! В основе этого подлинного психологического наблюдения подлинного психолога Полонского лежит сложное построение — дескать, «разные классы — разные вкусы», бытие определяет сознание, бытие у пролетариата пролетарское, и вкусы пролетарские, а буржуазное искусство, это — буржуазное сознание, но ведь бытие-то определяет сознание, поэтому буржуазное сознание (искусство), воспринимаемое пролетариатом, не может его «заразить», ибо бытие определяет сознание. Крупица верного пропадает совершенно в этой фаталистической, насквозь пассивистской белиберде.

«Организовать сознание класса в сторону противоположную его интересам — это ведь и значит перевернуть вверх ногами тезис «бытие определяет сознание». Другими словами, — продолжает Полонский — богдановский тезис о том, что искусство организует сознание вообще в том именно направлении, в каком желал художник, базируется на антимарксистском, антиматериалистическом положении «сознание определяется сознанием». Выходит так, будто искусство, т. е. «идеология», может организовать сознание вопреки классовому бытию».

Более вульгарного механистического понимания соотношения между бытием и сознанием трудно найти. Ленин, конечно, явный идеалист, — он говорил о буржуазном влиянии на пролетарское сознание, он, как мы уже упоминали, говорил даже об опасности культурного перерождения, он нигде и никогда не рассматривал пролетариат, как нечто стопроцентно «классово-спаянное и классово-выдержанное», как рыцаря без страха и упрека, под кожаной курткой которого скрывается не сложная психика, не сознание, а бесперебойно работающая динамомашина бытия, не определяющего сознание, а механически порождающего его из себя, из замкнутого классового бытия.

Классы «китайской стеной» не отделены друг от друга. Классовое сознание формируется в классовой борьбе, в процессе взаимодействия, отталкивания и влияний разной силы и разного характера. Бытие определяет сознание — общественное бытие, общественное сознание — и то, в конечном счете, а в еще более конечном счете классовое бытие определяет классовое сознание. Кто не понимает того, что буржуазная школа, буржуазная печать, буржуазное искусство были величайшими орудиями буржуазного господства, тот еще не дорос до понимания идеи классовой

борьбы. Классические буржуазные литературные произведения «организовывали» сознание передовых идеологов пролетариата в сторону их — пролетарских — классовых целей и интересов, уже во всяком случае не именно, а вопреки их буржуазному характеру, именно в меру того, например, насколько эти художники оказывались в состоянии объективно познавать мир.

Политический либерализм, свобода печати закономерно вытекают из теории Полонского, — ведь заразить пролетариат враждебные нам органы печати не могут, ведь он обладает классовым иммунитетом по отношению к буржуазной идеологии. От вывода о свободе печати Полонский может попытаться спастись ссылкой на колеблющиеся мелкобуржуазные слои. Это будет правильное напоминание, дополнительно разрушающее, однако, теоретическую конструкцию Полонского. Ведь ежели «бытие определяет сознание», то значит мелкобуржуазное бытие определяет мелкобуржуазное сознание и т. д., и т. п. А между тем мы переделываем сознание; и не только мелкобуржуазных элементов, но и самого пролетариата, который, по словам Маркса, может только в революции очиститься от всей грязи старого общества и стать способным построить общество новое бесклассовое, социалистическое.

В резолюции ЦК о художественной литературе говорилось о необходимости перевода крестьянских писателей на рельсы пролетарской идеологии. Не одного крестьянского писателя, а вообще крестьянских писателей, крестьянских — и на рельсы пролетарской идеологии. Но это же явно «антиматериалистично», ведь крестьянское бытие определяет крестьянское сознание, а... и т. д. с начала и т. п. до конца.

Теория иммунитета — теория комчванская, покоющаяся именно на вопиющем непонимании форм классовой борьбы в области культуры в переходный период. Именно из этой теории вытекает практика либерализма в той или иной идеологической области — пошлая практика трусливого примиренчества.

Классовое бытие, «само по себе» не гарантирует пролетариату нужного ему развития «классового сознания». Мы должны драться за то, чтобы массы критически усвоили буржуазную культуру, развертывая свою пролетарскую культурную революцию и против того, чтобы буржуазная культура овладела массами, превратив завоевателей в завоеванных. Наше классовое бытие, наличная степень нашей сознательности и наличное развитие наших культурных принципов дают нам все необходимые условия для победы. От нас зависит такое проведение культурной революции, при котором вопрос кто — кого будет разрешен в нашу пользу. А такое разрешение проблемы кто — кого предполагает разоблачение и ликвидацию теории иммунитета в рядах культурных работников рабочего класса.

Овладевая старым, критически перерабатывая его, мы строим новое. В процессе этого культурного подъема мы перевоспитываем всю армию строителей социализма. Говоря о культурной революции, Ленин всегда подчеркивал, что «мы должны отстаивать революционное строительство, бороться против буржуазии и военным путем и еще более путем идейным, путем воспитания, чтобы привычки, навыки, убеждения, которые рабочий класс вырабатывал в продолжение многих десятилетий в борьбе за политическую свободу, чтобы вся сумма этих привычек, навыков и идей послужила орудием воспитания всех трудящихся, а задача решения вопроса, как именно воспитать, ложится на пролетариат». (Т. XXV, стр. 450, 3-е изд.) Привычки, навыки, убеждения, — повторяет Ленин, указывая на то, что дело идет не о голом восприятии тех или иных, даже самых лучших теорий, а о всестороннем органическом, глубочай-

шем внедрении классовых пролетарских принципов в сознание всех трудящихся. Тем самым Ленин опять подчеркивал роль и обязанности пролетариата, как культурного гегемона, который вовсе не отбрасывает от себя культурные задачи ссылкой на будущую коммунистическую культуру, но проводит культурную революцию под знаком борьбы за свою классовую гегемонию, ибо задача решения вопроса, как именно воспитать, ложится на пролетариат.

Обычно, когда полемизируют против термина «пролетарская культура», имеют в виду лишь теории Богданова — Плетнева. Но это или по незнанию, или по недобросовестности, или по лености мысли, или... путем кавычек к словам Ленина.

Пути пролеткультовской цеховщины, кружковщины, надумывания новой культуры особыми специалистами не имеют, конечно, ничего общего с путями массовой культурной революции. Можно и должно отвергать богдановскую идею пролетарской культуры, как детище его идеалистической философии. Но не надо пользоваться борьбой с Богдановым для отрицания идеи пролетарской культуры, ибо все доводы против Богданова не имеют никакого отношения к пониманию пролетарской культуры, как классового содержания культурной революции, как материализации идеи культурной гегемонии пролетариата.

Кто думает, что мы строим уже социалистическую культуру, тот не отдает себе отчета в характере переходного периода, или путает (как Ваганян, Бобровников и мн. др.) культуру классовую, пролетарскую с культурой бесклассовой, коммунистической, или различает социалистическую и коммунистическую, отождествляя культуру пролетарскую с культурой социалистической.

Нам думается, что интересы отчетливой классовой линии в культурном строительстве совпадают с вполне теоретически правильным и не раз Лениным употреблявшимся термином пролетарской культуры. Проводившаяся не раз аналогия с пролетарским государством вполне справедлива и уместна. Вместе с отмиранием пролетарского государства будет происходить освобождение культуры от всякой классовой окраски, тем более легкое и безболезненное, что у пролетариата, как класса, нет противоречия между его «субъективностью» и объективным познанием действительности, т. е. он непосредственно заинтересован в том, чтобы в его пролетарской культуре все более зрели и росли элементы культуры будущего бесклассового общества. Путь к ней, путь к культуре социалистической — строительство пролетарской культуры, как классового содержания культурной революции.

Смешно и наивно представлять себе дело так, что «классовая культура, если она не преследует задачу сделать господство данного класса вечным, уже не классовая культура» [1]). Это верно совсем не в том смысле, в каком утверждает это Ваганян, тем более темпераментно протестующий против пролетарской культуры, чем менее глубоки и принципиальны его мысли по существу спора. Это верно лишь в том смысле, в каком Энгельс говорил, что переход государства к пролетариату означает прекращение существования государства вообще — в старом смысле, старого государства, из чего Энгельс отнюдь не делал выводов о целесообразности отказа от строительства и укреплений пролетарского государства, какие выводы по отношению к культуре делает Ваганян.

---

[1]) В. Ваганян. «О нац. культуре». Стр. 8. Мы не имеем возможности разобрать здесь его теорию отличия между «культурой класса» и «классовой культурой». Нами это было сделано в специальной статье.

Можно утверждать, что в основе почти всех нападений на идею пролетарской культуры лежит непонимание действительного соотношения ее с культурной революцией, как областью классовой борьбы пролетариата.

Вот, например, т. Бобровников особенно отчетливо вскрыл политический смысл взглядов целой группы противников пролетарской культуры.

«Что значит противопоставить пролетарскую культуру социалистической? Что значит сказать пролетариату: сперва создай свою пролетарскую культуру, а затем создавай общечеловеческую? Это значит, в первую очередь, что пролетариат перестает быть классом, выражающим интересы всех других угнетенных, не господствующих масс. Он выражает интересы крестьянства и вообще мелкой буржуазии лишь постольку, поскольку он способен быть руководителем в борьбе против разоряющего крестьянство капиталистического строя и в создании нового социалистического строя, несущего крестьянству более культурные и более выгодные экономические формы хозяйствования — коллективные». И немного дальше: «Если пролетариат в противовес социалистической культуре создает какую-то свою классовую культуру, то он сохраняет и утверждает специфически классовые пролетарские черты, — не социалистические и не буржуазные, а, значит, враждебные мелкой буржуазии и крестьянству». Здесь ошибки не только во всей теории в целом, но буквально в каждой фразе.

Кто, где и когда противопоставлял культуру пролетарскую и социалистическую? Известно, что Богданов-то, например, как раз и отождествлял культуру пролетарскую и социалистическую, в полном согласии... с т. Бобровниковым. Но если это не может быть отнесено к богдановцам, то, может быть, это относится к Ленину, указывавшему на то, что у нас «в советской рабоче-крестьянской республике вся постановка дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры...».

Очевидно Ленин должен был говорить не о духе классовой борьбы пролетариата, а о духе бесклассового общества будущего? Ленин-то этого как раз и не противопоставлял, ибо различать понятия вовсе не значит обязательно противопоставлять их, да еще в противовес.

Приведенные нами слова Ленина взяты из его проекта резолюции к съезду Пролеткульта. Их особый смысл сразу подводит нас к коренной политической ошибке Бобровникова.

Одним из теоретических устоев богдановского пролеткульта было следующее утверждение: «Советская власть есть государственно-политическая организация, это, как значится на заголовке «Известий», власть, исходящая из советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Это — политический блок весьма различного классового состава, а отнюдь не чистая диктатура пролетариата. Контроль и руководство блока вполне нормальны и целесообразны в деле государственной постановки просвещения для всех классов народа. Но ставить дело организации самостоятельного культурного творчества под контроль и руководство идейных представителей крестьянства, армии, казачества, городских мещан — беспартийных — по меньшей мере большое унижение культурного достоинства рабочего класса, отрицание его права культурно самоопределяться».

Именно с этим полемизировал в числе прочего Ленин. Он ответил пролеткультовцам совсем не так, как должен был бы ответить по Бобровникову, т. е. он не сказал, что пролетариат должен представлять интересы

крестьянства и вообще мелкой буржуазии, что следует бросить разговоры о классовом специфически пролетарском, враждебном этой самой мелкой буржуазии. Иначе говоря, он ответил им вовсе не согласием противопоставлять самостоятельное культурное творчество пролетариата работе советского государства. Ленин ответил совсем иначе: в рабоче-крестьянской республике пролетариату нечего противопоставлять всему государству свои классовые цели, ибо все государство здесь должно работать по-пролетарски, «вся постановка дела просвещения должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата... пролетариат... должен принимать самое активное и самое главное участие во всем деле народного просвещения».

Существо ошибки Бобровникова заключается в непонимании характера взаимоотношений рабочего класса и крестьянства. Тов. Бобровников, кстати, все время говорит отдельно о крестьянстве и мелкой буржуазии, как будто крестьянство не является как раз основной группой мелкой буржуазии. Но эта сравнительная «мелочь» весьма существенна.

Ленинских взглядов по данному вопросу нельзя понять, не приведя следующей цитаты из «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса: «Из всех классов, противостоящих теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же именно ею и создается. Средние слои, мелкие промышленники, мелкие купцы, мелкие ремесленники, крестьяне, — все они борются против буржуазии, чтобы отстоять свое существование, как средних слоев. Следовательно, они не революционны, а консервативны. Более того, они реакционны; они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они революционны, то лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не современные, но будущие свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения и переходят на точку зрения пролетариата» [1]).

Тов. Бобровников, опасающийся «специфических классовых пролетарских черт», сможет заметить, что эти слова Маркса и Энгельса были сказаны 80 лет назад. Возможно, что в этом поддержит его т. Луппол, считающий, что «отношения между пролетариатам и крестьянством есть отношение различия, а не противоположности, или тем менее противоречия» (стр. 129), и тоже очень опасающийся «специфически классового», ибо «искусственное культивирование» пролетарской культуры означает консервирование классовой культуры» (стр. 165). Опасность, видите ли, в нашем культурном строительстве идет со стороны «консервирования», классовой культуры, а не со стороны замазывающих классовую борьбу в области культуры!

Но эти тт. поторопились бы аргументировать датой опубликования «Коммунистического манифеста».

В полемике с Плехановым при выработке проекта программы РСДРП Ленин писал: «и пусть не говорят, что за полвека, прошедшие со времени «Коммунистического манифеста», дело существенно изменилось. Именно в этом отношении ничего не изменилось». (См. Ленинский сборник, II, стр. 79—80.)

Пролетариат, по утверждению Бобровникова, представляет интересы крестьянства и мелкой буржуазии, причем все крестьянство в целом

---

[1]) Гегель. Наука логики. Ч. II. Стр. 210. Изд. ИКП, 1929 г.

оказывается заинтересованным в создании социализма. Отношения пролетариата и крестьянства рисуются в виде идиллической картины т. Луппола, по которому между этими двумя классами не может быть противоположности, ни тем более противоречия. Тогда, естественно, что опасностью становится «консервирование» классовой культуры и специфических классовых признаков. При такой характеристике обстановки, естественно, что вопрос о культурной революции и пролетарской культуре выглядит совсем иначе у Луппола и Бобровникова по сравнению с теми, кто не склонен соглашаться с их политическими высказываниями.

Исторические интересы всех трудящихся действительно представляются пролетариатом. Объективно классовые цели пролетариата выражают в конечном счете интересы всех эксплоатируемых капитализмом. Но за осуществление этих целей и интересов рабочий класс должен бороться и борется в частности и против колебаний промежуточных элементов. Если бы дело обстояло иначе, то проблема пролетарской революции чрезвычайно упростилась бы.

Рабочий класс имеет право на гегемонию, на возглавление всех трудящихся, на руководство ими именно потому, что «передовым представителем» мелкой буржуазии пролетариат вовсе не является, вообще говоря. Если это и бывает, то лишь тогда, когда мелкий производитель сознает неизбежность своей гибели, когда он «покидает свою точку зрения и переходит на точку зрения пролетариата». (Ленинский сборник, II, стр. 78.)

Таким образом мы приходим к выводу, что пролетариат представляет исторические интересы мелкой буржуазии именно постольку, поскольку не он становится на ее точку зрения, а ее переводит на свои рельсы, в том числе нередко и в противовес ее данным временным и субъективным интересам или выгодам или предрассудкам. Понятие гегемонии предполагает не отказ от «своих специфически классовых черт», а, наоборот, их величайшее утверждение именно для того, чтобы оправдать свою историческую миссию гегемона.

Именно такая линия и установка обеспечивают пролетариату возможность маневрирования, умение найти мероприятия, сочетающие интересы социалистического строительства с действительными потребностями промежуточных элементов, — того же крестьянства, например, — способность вести за собой всех трудящихся, не отрываясь от них и не скатываясь к хвостизму. Чем больше пролетариат — без тени классового чванства или цеховщины — следит за классовой пролетарской выдержанностью всей своей работы, чем резче и отчетливее «специфические классовые пролетарские черты» — тем быстрее мы идем к социализму, тем более близко подлинное осуществление исторических и объективных интересов всех трудящихся, всех угнетенных, всех эксплоатируемых капитализмом.

Все сказанное выше в полной мере относится и к области культуры. Культурная революция должна вести к перевоспитанию масс в духе пролетариата, на основе его идеологии, в соответствии с его борьбой. Дополнительная трудность культурной революции заключается в том, что перевоспитаны должны быть и массы самих пролетариев. Вопреки теориям Полонского в их сознании много буржуазного или мелкобуржуазного, много индивидуалистически-собственнического, много и еще от «добуржуазной культуры».

Меньшевистско-богдановской утопией является мысль о возможности создания новой культуры и нового человека еще при капитализме.

Меньшевистски-богдановской контрреволюцией является мысль о том, что пролетариат не должен брать власть в свои руки прежде, чем он культурно «вызреет». Но преуменьшающей волю пролетариата к борьбе является иллюзия возможности притти к социализму после захвата власти без строительства своей культуры, без достижения своей культурной гегемонии, без превращения пролетариата в господствующую духовную силу, без культурной революции. Разоружающей пролетариат является мысль о возможности сначала приобщиться, потом переработать старую культуру, мысль о том, что мы можем обойтись без перестройки «заново» культуры, во владение которой должен вступать пролетариат «на другой день после социальной революции». Объективно способствующей классовому врагу является всякая мысль, клонящаяся к недооценке трудности и длительности переходного периода, к забвению глубины и резкости классовой борьбы на боевом пути от капитализма к коммунизму.

Рамки буржуазных «господствующих идей» не дают развиваться культуре. Под тяжестью капитализма она все больше заходит в тупик. Только классовая культура пролетариата может двинуть вперед развитие человеческого познания природы и общества. Пролетарская культурная революция — условие развития культурной преемственности человечества.

На своем языке Гегель выражал ту мысль, которой руководствовался Ленин при разрешении культурной проблемы рабочим классом «на каждой ступени дальнейшего определения воздвигается вся масса его («понятия». Л. А.) предшествующего содержания и через свой диалектический ход вперед не только ничего не теряет и не оставляет позади себя, но несет с собою все приобретенное...» [1]). Класс-революционер, класс-строитель нового, пролетариат в своем диалектическом «ходе вперед» не теряет и не оставляет позади себя ничего из человеческого опыта познания и изменения мира.

---

[1]) Гегель. Наука логики. Ч. II. Стр. 210. Изд. ИКП. 1929 г.

Литература торжествующей пошлости.

Юджин Лайонс (Eugene Lyons).

I. Роль журналов в жизни Америки.

В каждом городе Соединенных штатов в любом газетном киоске можно найти около двухсот различных еженедельных и ежемесячных журналов, большая часть которых заполнена беллетристическим материалом. За очень немногими исключениями эти журналы — массовые. Они предназначаются, — как не без гордости заявляют их издатели, — для «миллионов мужчин и женщин», т. е., другими словами, для тех американских читателей, которые в области духовной еще не вышли из детского возраста. Запросам же людей умственно зрелых отвечают как в области литературы, так и в области науки или политики, лишь немногие — их не больше пятнадцати, — исключения из общей массы журналов!

Любое из наиболее популярных массовых изданий имеет больший тираж, чем все пятнадцать «умных» журналов, вместе взятых. Рядовой читатель избегает их и полубоязливо, полупрезрительно называет «чересчур мудреными». Вот почему всякий обзор американской периодической литературы, если только цель его — дать представление об истинном положении вещей, — прежде всего должен быть обзором тех дешевых, крикливых и младенчески наивных по содержанию изданий, которые ежедневно поглощаются миллионами американских читателей. Иначе говоря, он должен охватить и «Saturday Evening Post» («Субботняя вечерняя почта») — еженедельник, недавно достигший трехмиллионного тиража, — и женские журналы: «Ladies Home Journal» («Домашний журнал для дам») и «McCalls», — каждый из них еженедельно приносит почти двум с половиной миллионам читательниц порцию тупой удовлетворенности и слинявшего бонтона, — и «True Story Magazine» («Журнал правдивых рассказов»), — более двух миллионов американцев зачитываются печатающимися в нем слезливыми «исповедями», тысячами фабрикуемыми в редакциях, — и десятки других журналов, специализировавшихся на двусмысленных историях, на любовных идиллиях, на приключенческих рассказах или на рецептах, «как достигнуть успеха в жизни» и т. п. — словом, обзор должен охватить все то «чтиво», которое поглощается читающей публикой с такою быстротой, с какою только поспевают его печатать прекрасно оборудованные американские типографии, самые большие в мире.

Эти журналы изо дня в день преподносят под различными соусами основной догмат самодовольного американского мещанства: Соединенные штаты — наилучшая страна в наилучшем из миров, в ней нет ни малейших недостатков и никаких проблем, и немыслимы какие-либо перемены

или столкновения вовеки веков, аминь! Правда, в Америке есть подлинная интеллигенция, но в общей массе населения она составляет лишь крошечное меньшинство, и очень небольшое число журналов выражает ее взгляды и интересы. Являясь всего только робкими комментариям и к бьющей ключом жизни Америки. Журналы, этого рода хотя бы отчасти известные в России, как, например, «Американский Меркурий», «Атлантический ежемесячник» и «Новая республика», у себя на родине незаметны, незначительны и малоизвестны по сравнению с такими гигантскими изданиями, как «Pictorial Review» («Живописное обозрение»), «Liberty» («Свобода») или «Good Housekeeping» («Хорошее домашнее хозяйство»).

Невозможно достаточно оценить ту огромную роль, какую играют журналы в жизни Америки. Показательно уже то, что все журналы, вышедшие за одну неделю, по своему весу тяжелее всей массы книг, изданных в Америке в течение года. Каждый, кто только умеет читать, читает во всяком случае один, а большей частью и несколько журналов. Если же говорить о влиянии, то влияние журналов и глубже и значительнее, чем даже влияние газет.

Американская газета — пухлая, крикливая, бьющая на сенсацию,— служит довольно правильным отражением той жизни, какой живут американцы. В ней та же напряженность, та же спешка и суета, тот же стремительный ритм. Один за другим следуют выпуски газет, каждый со своим кричащим подзаголовком и новым комплектом скандалов, несчастных случаев, стихийных бедствий, забастовок и убийств... Шумная и разнообразная жизнь Америки наших дней, полная конкуренции и борьбы и насквозь пропитанная грубым, примитивным честолюбием, глядит на вас с каждого газетного листа. Ничего подобного вы не найдете в американских журналах. Их задача, самая цель и смысл их существования — отобразить жизнь не такой, как она есть, а такой, какой она должна была бы быть согласно американским буржуазным стандартам. В «Saturday Evening Post» и в «Saucy Stories» («Игривые рассказы») нет более жестоких конфликтов, чем ссора двух влюбленных, и более мучительной проблемы, чем колебания героя, какой марки купить ему автомобиль или какую из двух пленившихся им очаровательных девушек избрать себе в жены. Словом, герои журнальных рассказов живут той жизнью, о которой мечтают их читатели. А может быть, потому-то и мечтают читатели о такой жизни, что двести журналов преподносят им ее как высший предел человеческого счастья? Мужчины и женщины, точно рабы, прикованные к машинам на фабриках и заводах или запертые в душных конторах, ищут и находят, в периодической литературе сказочную страну утопий. Она, как в зеркале, отражается в десятках тысяч мелких рассказов, где жизнь либо беспечна и изящна, украшена «красивыми» чувствами и не знает материальных забот, либо полна отважных подвигов и приключений, неизменно увенчивающихся блестящим успехом.

Взятая в целом американская периодическая литература — это нечто вроде гигантского «предохранительного клапана». Она притупляет остроту недовольства действительностью, затушевывает социальные противоречия, формирует ультрамещанскую идеологию. Это она создает поразительный оптимизм американца — его твердую уверенность, что всякий может стать президентом, что послушание и настойчивость могут превратить любого человека в миллионера и что во всяком случае каждый может сделаться богатым, если только он действительно захочет этого.

Не надо забывать, что приблизительно ту же функцию выполняет и американское кино. Жизнь, представленная на экране, сделана нарочито обыденной, но не в пример действительности мечты становятся реальностью, и благодаря вмешательству всеблагого провидения, покровительствующего героям, все препятствия в конце концов бывают преодолены — к общему удовольствию и действующих лиц и зрителей. Кино и журналы по существу являются пропагандой новой буржуазной религии с ее поклонением комфорту и покорным приятием установленного уклада жизни; идол этой религии — мешок с золотом, а ее жрецы — высший разряд торговых агентов. Точно незаметно действующие наркотические средства, кино и журналы усыпляют сознание и ум широких масс и вызывают у них лишь побуждения еще усерднее работать, покупать еще больше радиоаппаратов и жевательной резины и надеяться на спасение откуда-то свыше, а не на собственные силы.

Большая часть места в журналах отводится, конечно, торговой рекламе. Но все сказанное мною одинаково относится как к литературному материалу, так и к объявлениям. Оба эти отдела находятся в совершенной гармонии. Герои рассказов живут в точно таких домах, катаются в точно таких автомобилях и употребляют именно то туалетное мыло, какие рекламируются на страницах журналов. Самый же «тон» статей и рассказов вполне соответствует характеру заполняющих данный журнал объявлений — реклам. Таким образом объявления составляют очень существенную часть американских журналов и не менее достойны внимания исследователя, чем материал литературный.

Американские журналы так многочисленны и разнообразны, что настоящая статья не претендует дать классификацию, которая целиком охватила бы всю их массу. Мною лишь в общих чертах намечено несколько основных типов журналов, но, конечно, эти подразделения нельзя считать ни окончательными, ни точными.

II. Журналы с миллионными тиражами.

Сейчас, когда я пишу эту статью, передо мной на столе лежат несколько журналов из тех, что имеют наибольшее распространение в Соединенных штатах, — а значит и во всем цивилизованном капиталистическом мире. Дюжина номеров этих журналов по своему весу тяжелее полного собрания сочинений Шекспира. Все они имеют большой формат и превосходно отпечатаны на плотной меловой бумаге. Они щеголяют в вызывающе ярких обложках, а внутри в изобилии украшены иллюстрациями, часто многокрасочными. Эти иллюстрации представляют собой репродукции с картин, писанных масляными красками, с тончайшей работы гравюр или с искусно ретушированных фотографий. Словом, рассматриваемые нами издания являются продуктами самой высокой типографской техники.

Возьмем хотя бы «Saturday Evening Post» («Субботняя вечерняя почта») — самый большой журнал в мире. Он гордится тем, что начал выходить еще во времена Франклина, в революционный период истории Соединенных штатов, и издается в «Индепенденс-сквере» [1]) в Филадельфии, т. е. в некотором роде в колыбели Американской республики. Недавно его тираж перевалил за три миллиона экземпляров в неделю, а так как каждый номер читается не только подписчиком, но и всей

---

[1]) В «Индепенденс-сквере» («Сквер независимости») в Филадельфии была опубликована «Декларация независимости» Соединенных штатов от Англии.

его семьей, то издатели имеют полное основание заявлять, что их журнал еженедельно читают десять миллионов американцев.

Номер, который лежит сейчас передо мной, имеет 204 страницы, каждая в 3 или 4 столбца убористой печати, и по объему равняется любому толстому роману. Иногда число его страниц достигает трехсот. И такой номер продается за 5 центов, т. е. за 10 копеек. Ясно, что эти 5 центов не могут покрыть даже себестоимости издания, особенно если принять во внимание количество бумаги, качество репродукций и расходы по доставке и пересылке. Разумеется, такая низкая продажная цена журнала может держаться только благодаря помещаемым в нем объявлениям.

«Saturday Evening Post» прежде всего служит для рекламирования товаров. В стране, где все построено на конкуренции торговых фирм, этот журнал является самым большим распространителем рекламы. Из 200 страниц только первые 30 целиком отведены под материал для чтения. Остальные заполнены объявлениями, и литературный материал встречается между ними лишь тонкой прослойкой — в общей сложности он составляет не больше 50 страниц. Таким образом около 120 страниц отданы объявлениям. Каждая такая страница в одном выпуске «Saturday Evening Post» обходится рекламодателю в среднем в 8 000 долларов, т. е. объявления в данном выпуске принесли издательству около 1 000 000 долларов дохода. А нередко эта сумма достигает полутора миллиона долларов.

В тот момент, когда героиня изо всех сил выбивается из объятий злодея, трепещущий за ее судьбу читатель находит указание, что продолжение следует на стр. 172, а там по обеим сторонам литературного текста с дальнейшими приключениями героини красуются нарядные рекламы туалетного мыла, крема для бритья или пылесоса для чистки ковров. Борьба героини за свою добродетель продолжается как раз на столько страниц, сколько надо, чтобы перенести взволнованного читателя в мир «превосходнейших шелковых чулок», «бесподобных капель от кашля», «несравненных счетных машинок» и различных других товаров тех первоклассных фирм, которые могут позволить себе платить по 8, а то и по 15 тысяч долларов за каждое объявление. Другими словами, *литературная часть служит только искусной приманкой, чтобы привлечь внимание читателя к объявлениям.* В последнее время некоторые специалисты по рекламе начали утверждать, что приманка стала уже излишней, ибо теперь американцы так приучены читать объявления и так интересуются ими, что читают их не менее охотно, чем беллетристику. Объявления стали в некотором роде такой же беллетристикой. Мы можем с полным правом сказать это, потому что обычно одни и те же художники иллюстрируют как объявления, так и рассказы, и иногда одни и те же литераторы пишут текст для обоих отделов журнала.

Совсем недавно новый еженедельник «Liberty» («Свобода») возвестил всему американскому народу, что считает несправедливым отодвигать объявления на второй план, так как полагает, что они ничуть не менее важны и интересны, чем литературная часть. Поэтому издатели нового журнала не находят нужным отводить каждому из этих отделов особое место и с самых же первых страниц помещают их бок-о-бок. Таким образом статья, написанная знаменитым проповедником евангелия, и реклама не менее знаменитого сорта дрожжей могут разделить между собой великую честь украшать первые страницы нового журнала. После этого мы с полным основанием можем вскоре ожидать появления журналов, в которых литературная часть будет совершенно отсутствовать.

«Liberty» — журнал, возвестивший миру все эти великие истины,— как по объему, так и по тиражу пока уступает «Saturday Evenirg Post», но и то и другое быстро растет. В настоящее время у него около полутора-миллиона подписчиков, и он берет с рекламодателей всего 4 000 долларов за страницу объявлений. «Ladies Home Journal» («Домашний журнал для дам») — самый большой в мире журнал для женщин (тираж — 2 500 000) — не стеснясняется брать по 9 500 долларов за страницу, тогда как в «McCalls» (тоже журнал для женщин, тираж около 2 000 000) можно поместить такое же объявление за 7 600 долларов. «Good Housekeeping» («Хорошее домашнее хозяйство»), ежемесячный журнал для женщин — имеет 1 500 000 читателей и берет 4 000 долларов за страницу. Столько же стоит объявление и в «Hearst's Cosmopolitan» — ежемесячнике с тиражом в 1 700 000 экземпляров.

Есть немало других изданий, имеющих значительно более миллиона подписчиков: «Delineator» — 1 600 000; «Pictorial Review» — 2 150 000; «Women's Home Companion» — 2 000 000 и т. д., — а за ними следует целый ряд журналов, которым недостает до миллионного тиража всего каких-нибудь двух-трех сотен тысяч.

Нарядные на вид, захватывающие по содержанию и доступные для всех (цена отдельного номера колеблется от 5 до 35 центов, причем значительное большинство стоит не дороже 25 центов), эти журналы дают материал для чтения на многие дни. Когда же все они лежат перед вами на газетном прилавке, то от ярких, кричащих цветов их обложек — пурпурного, малинового, зеленого, синего и желтого, от такой нестерпимой какофонии красок — наверное, прозрел бы и слепой. И почти на каждой обложке красуется приторное изображение хорошенькой девушки. Надо сказать, что девушка эта не имеет ровно ничего общего с содержанием журнала. Ее единственное назначение — привлекать внимание покупателей. В Америке каждый газетный киоск — настоящая выставка портретов хорошеньких женщин всевозможных типов и темпераментов, изображенных в фас, в профиль, в три четверти, в обольстительных позах и с чарующей улыбкой. При виде всех этих зазывающих обложек «американской периодической литературы» невольно возникает ассоциация с каким-нибудь ревю весьма легкого жанра. Откройте любой журнал, — и со всех страниц вам будут улыбаться другие такие же девушки. В объявлениях о несравненных чулках известной чулочной фирмы они демонстрируют свои необыкновенно длинные ноги, а в объявлениях о зубной пасте — ослепительно белые зубы; они курят папиросы самых известных марок и разъезжают в широко рекламируемых автомобилях. В иллюстрациях к рассказам они тоже ведут самый элегантный образ жизни. В чудесном мире журналов почти нет некрасивых или бедных женщин, которых мы так часто видим в действительной жизни. А мужчины, глядящие на читателя с тех же страниц, все похожи на Адонисов и необыкновенно напоминают последних кинематографических кумиров.

И у мужчин и у женщин одинаково выхоленный вид, сытые, довольные, тупые лица. Иные из них изображены в роскошно обставленных комнатах, другие — на фоне величественных гор или безбрежного моря, природа тоже дана в самом театральном аспекте.

Кое-где попадаются картинки, говорящие о более простой, более обыденной жизни, — чистенький дворик фермы, скромная гостиная семейства среднего достатка, смеющиеся парни и девушки. Но нигде вы не увидите того, что в жизни во всяком случае не менее обычно, чем богатые дворцы или вечерние туалеты, — этого не станет отрицать даже стопроцентный американец, — нигде вы не увидете нищенских кварталов,

не увидите домов, густо населенных беднотой, ни городов, кишащих неграми, ни угольных копей, ни лагерей хобо. Конечно, в иных рассказах, хотя и осторожно, но все же затрагивается грубая будничная жизнь Америки с ее погоней за наживой, с ее тяжелым трудом и борьбой. Даже самый отъявленный литературный лжец не может совершенно изгнать из своих произведений ту живую жизнь, которая лихорадочно пульсирует и шумит вокруг него. Но такие рассказы составляют исключение, и при первом взгляде их даже не заметишь.

Итак, прежде чем прочитать хоть одно слово, вы видите, что очутились в вымышленном мире, в сказочной стране буржуазного комфорта и развлечений. Просмотр литературного материала только подтверждает это впечатление. Здесь рай, куда попадают все добрые американцы, — та самая счастливая утопия, которую так заманчиво рисуют вам текст и картинки объявлений. Герои рассказов употребляют те товары и воодушевлены теми стремлениями, о каких говорится в рекламах. Эти герои — по большей части люди из «общества», настоящие герцоги и герцогини, или те, кто соответствует им в Америке, т. е. богатые и праздные. Затем идут рассказы о счастливчиках из среднего класса, ставших миллионерами, или даже о рабочих, достигших обеспеченности и почтенного общественного положения среднего буржуа. Журналы также изобилуют многочисленными историями о девушках, заполучивших богатых мужей, о молодых людях, снискавших расположение своих хозяев, и т. д. Но во всех рассказах успех неизменно является следствием усердного труда, щепетильной честности и бескорыстной любви.

Массовые журналы для женщин обладают совершенно особым, только им свойственным душком — это аромат засушенной лаванды, витающий над тихим, романтичным и нежно-сентиментальным миром, — миром, в котором имеют первостепенное значение узоры для вышивания или рецепт для приготовления какого-либо особого деликатеса на завтрак. Кто бы мог подумать, читая «McCalls» или «Good Housekeeping», что конторы, фабрики и заводы полны женщин и что уже давно прошли времена странствующих рыцарей короля Артура, если они даже и были когда-нибудь. И уж, конечно, никто бы и не предположил, что в наши дни наука и техника могут так же интересовать женщину, как пудра для лица или рецепт для печенья! Ведь журнальные героини живут своей особой жизнью, спокойной и защищенной от всяких тревог и забот, и в ушах у них никогда не перестает звенеть романтический призыв любви!

Если бы археолог грядущих времен стал бы рыться в кипе этих журналов, и затем на основании произведенных им открытий попытался бы восстановить жизнь 1929 г., то у него получилась бы прелюбопытная картина. Он, бесспорно, написал бы о расцветшем в 1929 г. «золотом веке», когда все мужчины были отважны и благородны, все женщины — невинны и прекрасны, а добродетель всегда вознаграждалась жизненным успехом; о том счастливом веке, когда все люди любили друг друга и не было и помину об эксплоатации, неравенстве и несправедливости. Он с восторгом стал бы писать, что если дела людей в те отделенные времена иногда и не шли как по маслу, то только для того, чтобы доставить им более разнообразные переживания, а кончались эти дела всегда счастливо,—как раз на самой последней строчке между объявлениями о лучших в мире швейных машинах и о не менее превосходном туалетном мыле.

Но, быть может, этот будущий археолог несмотря на свою ученость будет обладать некоторым воображением?.. А тогда он в ужасе содрогнется и скроет от мира картину той скучной и самодовольно-тупой жизни, какую он найдет в американских журналах.

III. Журналы без объявлений.

Вслед за чудовищной армией журналов, с миллионными тиражем каждый, идет более скромная группа периодических изданий, целиком отданных беллетристике. Журналы этой группы меньшего формата, они печатаются на дешевой бумаге, не имеют роскошных репродукций и иллюстрированы скромными рисунками в тексте.

Журналы первого типа прежде всего служат рекламе, рассматриваемые же нами теперь — почти не печатают объявлений, самое большее — несколько страниц в самом начале и конце текста; да и объявления эти совсем иные — неостроумные и ненарядные, они рекламируют рецепты красоты, патентованные лекарства и различные средства против полового бессилия. Издатели этой группы журналов и не думают давать за скромную цену в 5—10 центов отличную бумагу или произведения высоко оплачиваемых писателей и художников. Они не работают в рекламном деле; их цель — за 20—25 центов продать миллионам доверчивых читателей некоторое количество бумаги стоимостью в 4—5 центов. А для этого они берут бумагу, покрывают ее типографской краской, разрезают на небольшие страницы и переплетают в книжечки. В результате этого несложного процесса получаются издания как по внешнему виду, так и по содержанию, совершенно похожие друг на друга. Таких журналов существует несколько десятков, и число их непрерывно растет. Тираж их колеблется от 50 до 500 тысяч, а выходят они два, три, иногда четыре раза в месяц. Некоторые издательства, — например Стрит и Смис — специализировались на выпуске подобной макулатуры. Их огромные типографии круглый год работают с максимальной нагрузкой, расходуя бумагу сотнями тысяч тонн, а целая армия наемных писак без устали строчит для них рассказы, повести и новеллы.

Журналы без объявлений подразделяются на несколько групп, но внутри каждой группы они отличаются друг от друга только своими названиями. Вся же разница между книжками одного и того же журнала заключается лишь в их порядковых номерах да в числе и месяце на обложке. Миллионы американцев покупают это «чтиво» и требуют еще и еще, занимая свой досуг подобной младенческой литературой для взрослых.

Рассказы, печатающиеся в таких изданиях, строго стандартизированы; не допускается никакого отклонения от приемлемых «завязок и развязок»; герои и злодеи могут носить различные имена в каждом рассказе, но фабула в общих чертах остается одна и та же. Искушенный читатель — а судя по тому, как расходятся эти журналы, таких читателей должны быть миллионы, — с первых строк уже знает, что будет дальше, а также и то, что все непременно хорошо окончится. Журналы этого типа дают в течение года десятки тысяч мелких рассказов и небольших новелл, скроенных все на один фасон. Всю эту продукцию целыми ярдами выпускают несколько сот переутомленных литературных ремесленников, работающих либо в конторах издательства на постоянном жаловании, либо у себя на дому сдельно по 1 — 2 цента за слово. К литературе фабрикация подобного «чтива» имеет не большее отношение, чем копание канав — к археологии.

Остановимся для начала на группе журналов со столь выразительными названиями, как «Snappy stories» («Задорные рассказы»), «Peppy stories» («Рассказы с перчиком») «Telling tales» («Предательские рассказы») и т. п. Поле действия этих бесчисленных рассказов находится обычно в спальне или очень близко от нее, а на обложках точно символ изображены женщины, оголенные до пределов, дозволенных законным стра-

жами нравственности. Вышеупомянутые журналы идут навстречу представлению американцев о «пикантном» и поставляют двусмысленные истории, в которых мужчины и женщины, не соединенные брачными узами, попадают во всевозможные запутанные и рискованные ситуации, причем все повествование сопровождается выразительными подмигиваниями и облизыванием губ. Однако не бойтесь, — в этих рассказах никогда не происходит ничего чересчур неприличного. «Кровать всегда должна находиться на сцене, но на глазах у публики никто не должен занимать ее», поучал некий издатель стремящихся к славе молодых писателей. Потребители подобной литературы, очевидно, удовлетворяются эротическими предпосылками и двусмысленными намеками, и поэтому добродетель и законность в конце концов всегда торжествуют, как бы плохо им ни приходилось в самом начале.

Итак существа, населяющие журналы типа «Задорных рассказов», ведут весьма возбуждающий, но не дающий удовлетворения образ жизни, от которого нервы их должны были бы притти в совершенное расстройство. Но, к счастью, у этих существ нет нервов, присущих живым людям. Это бездушные автоматы, сделанные по образу и подобию буржуазных бездельников. В те редкие моменты их существования, когда они не обнажены или не разгуливают в шелковых пижамах, они появляются в вечерних туалетах или во фраках и с томным видом вращаются в высшем обществе или посещают самые шикарные рестораны и балы. Если же какое-либо из этих существ посмеет выказать эмоцию не чисто сексуального порядка или выразить мысль, несколько выходящую за пределы интересов умственно-отсталого подростка, то он или она немедленно изгоняются издателями, а вместе с ними вылетает на улицу и злосчастный автор, в поте лица своего создавший их.

Рядом с миром пикантных приключений находится другой мир — мир «Любовных историй», «Нежных рассказов», «Рассказов о влюбленных» и т. д. и т. п. И тут также вопросы пола — альфа и омега всего человеческого существования, но они уже не носят игривого, задорного или соблазнительного характера. Эти журналы подают своим читателям «настоящую» любовь, ту самую, о которой мечтают девушки, прикованные к кухонной плите или к фабричному станку, и женщины, не смеющие бросить постылых мужей, так как получают от них кров и кусок хлеба. Здесь мы найдем сентиментальность, нежность и сердечное томление, раскрытые до их самых приторных сахаринных глубин, где, как всем известно, обретается супружеское блаженство. Каждый рассказ — вступление к непременному браку, освященному свыше. И каждая глупенькая девушка, которой посчастливилось забрести на эти страницы, может быть уверена, что найдет себе возлюбленного, и не простого, а в самом шикарном фраке и цилиндре, — возлюбленного, имеющего множество слуг, готовых выполнить его малейшее приказание, и столько лимузинов, сколько никогда не имел нижних рубах ни один из читателей.

Рассмотренные нами группы журналов отнюдь не исчерпывают всех видов периодической литературы, отвечающей интересу к сексуальным вопросам. Целый ряд журналов занимает промежуточное положение между «нехорошими» рассказами с неизменной кроватью с одной стороны, и сентиментальными «салонными» рассказиками на тему о «возвышенной» любви — с другой. Затем идут журналы, специализировавшиеся на иных возбуждающих воображение средствах — на приключениях, на рассказах с тайной и на уголовно-детективном жанре: «Приключение», «Черная маска», «Детективные рассказы», «Страшные рассказы»,

«Эйнслиз», «Флинз», «Морские рассказы» и т. д. и т. д. К ним примыкает большая группа изданий, разрабатывающих тему о героическом Уайльд-Весте («диком Западе»); народное воображение окружило его легендой и населило индейцами, ковбоями и конной полицией нрава весьма мрачного, но зато отваги необычайной. Герои «Рассказов с запада», «Рассказов о ковбоях» и т. п. ездят верхом на диких лошадях, каждую минуту палят из револьверов, спасают из беды красавиц, усмиряют взбунтовавшиеся команды кораблей, покоряют дикарей, находят зарытые сокровища и совершают еще сотни всевозможных подвигов, о которых целые годы мечтают пятьдесят миллионов усталых рабов, беспомощно застрявших на кухнях, в конторах, на фабриках и заводах... Это — более дешевый, более мишурный, более откровенно нереальный мир, чем в «Saturday Evening Post», но в конце концов — все тот же самый вымышленный мир, где кроме любви, необыкновенных удач и беспечной праздности нет ничего другого. Все эти журналы, вся эта огромная гора из слов на время заслоняет от взора масс грубую действительность. И хотя бы на одно мгновение их бесцветные жизни освещаются отраженным блеском фальшивой романтики.

IV. „Правдивые рассказы“.

Если верить внешним признакам, Америка переживает в настоящее время прилив сильнейшей самокритики, и можно ожидать, что начисто омытая раскаянием совесть американцев станет белее снега. Как самые высоко стоящие на общественной лестнице люди, так и самые скромные изливают на бумаге свою душу, чтобы мир, потрясенный их признаниями, задумался над собственными грехами. Мечтающие о славе молодые романисты в наши дни непременно начинают свою писательскую карьеру автобиографическим романом. Летчики, перелетающие через океан, одной рукой управляют аэропланом, а другой описывают свои впечатления для нью-йоркского «Таймс». Преступники, осужденные на долгие годы тюрьмы, пишут для «Американского Меркурия» мемуары о своих преступлениях. Директора колледжей так и пекут анонимные признания о своей тайной любовной жизни. Известные служители церкви открывают простым смертным, как они грешили и заблуждались, но снова находили свой путь к господу богу, а заодно и к доходному приходу. Осужденные на казнь проявляют за три дня до смерти на электрическом стуле достаточную ясность ума, чтобы писать для таблоидов сильно драматические истории о том, как они убивали свои жертвы.

Иные из этих исповедей подписаны, иные нет, но все они дышат честнейшим порывом и подкупающей искренностью. Боксеры и драматурги, хористки и индустриальные магнаты — все точно поддаются одному и тому же непреодолимому импульсу: честно и искренно обнажить до дна свои души, чтобы оказать моральное воздействие на население Соединенных штатов, а заодно и развлечь его. Почти нельзя найти такой книги, журнала или газеты, где не было бы какого-нибудь потрясающего разоблачения самых сокровенных помыслов и объяснения самого непонятного поведения субъекта, признание которого неизменно начинается с местоимения «я». За последние годы, повидимому, десятки тысяч американцев облегчили таким образом свою совесть через посредство прессы.

Но самые сливки этой покаянной эпидемии мы находим в целом ряде особых журналов, сравнительно недавно занявших видное место в соци-

альной жизни Соединенных штатов. Под лозунгом: «жизнь нередко чудеснее вымысла» каждое из этих изданий раз или даже два в месяц предлагает читающей Америке кипу «исповедей», таких драматичных и с такими потрясающими подробностями, что ни одному католическому священнику не приходилось выслушивать ничего подобного в течение всей своей жизни. Первое место среди этих изданий принадлежит «True story Magazine» («Журнал правдивых историй») с двухмиллионным тиражом. Его издатель Бернар Макфадден основал целый ряд журналов подобного же типа: «True romance» («Правдивые любовные истории»), «True confessions» («Правдивые исповеди»), «True Detective stories» («Правдивые детективные рассказы»), — все они в общей сложности имеют около 5—6 миллионов читателей в месяц.

Все перечисленные журналы и еще один-два других издаются также роскошно, как журналы с массовым тиражом вроде «Saturday Evening Post». Но кроме них существуют и другие: «I confess» («Я сознаюсь»), «Правдивые рассказы о брачной жизни» («True Marriage stories») и пр., которые печатаются на дешевой бумаге и не имеют объявлений. Если бы не то, что все рассказы в них ведутся от первого лица, они были бы совершенно тождественны с уже описанными нами журналами без объявлений. Инициатива издания таких журналов с исповедями приписывается Бернару Макфаддену. Начав свою карьеру как скромный, но весьма настойчивый проповедник физической культуры, он вскоре принялся пропагандировать всевозможные им самим изобретенные рецепты для укрепления здоровья и для правильного питания, а также выпустил заочный курс, как в 12 легких уроков восстановить бодрость и излечить половое бессилие. Он нажил на всем этом большое состояние, а затем разбогател еще больше, начав издавать журналы под лозунгом «назад к природе».

Во время своих лекционных турне Бернару Макфаддену пришлось выслушать, — так он теперь рассказывает, — сотни, если не тысячи, исповедей доверившихся ему мужчин и женщин: они искали у него руководства или просто желали облегчить свою совесть. Тогда изобретательному мистеру Макфаддену пришло на мысль, что весь мир, должно быть, полон людей, жаждущих случая излить свою душу, — и он решил основать «True story Magazine» — «Журнал правдивых рассказов», который должен был бы служить каналом для оттока чувств страждущего и кающегося человечества. Успех журнала был очень велик. Чтобы вместить весь поток признаний, устремившийся к мистеру Макфаддену, ему пришлось основать еще несколько журналов такого же типа и, между прочим, заработать еще несколько лишних миллионов на объявлениях. Другие издатели не замедлили последовать его альтруистическому примеру. Правильность теории Макфаддена, повидимому, подтверждается тем, что у «правдивых» журналов никогда не бывает недостатка в материале, хотя все они помещают огромное количество подробнейших исповедей. Когда же больший чем обычно приток объявлений в журнал заставляет увеличивать размер номера, то и приток исповедей каким-то чудесным образом увеличивается ровно настолько, насколько это необходимо.

В чем же сознаются все эти люди, кающиеся с той откровенностью, какая всегда присуща анонимным признаниям? Их грехи — не такие грехи, которые можно замолить, прочитав несколько раз «Отче наш» или поставив одну-две свечки в церкви. Нет. Те исповеди, какими торгуют, почтенные издатели имеют дело с грехами самыми черными: с насилием, убийством, грабежом, растратой и т. п. Но прежде и больше всего

торгуют они тем родом исповедей — запас их неограничен и неисчерпаем,— в которых идет речь о запретной любви.

Я открываю наугад «True story Magazine» («Правдивые рассказы), и с его страниц на меня глядит бледное страдальческое лицо женщины: она смотрит на меня из-за тюремной решетки. В тексте — исповедь, озаглавленная: «Ее двойная измена», — и тут же аппетитный подзаголовок, намекающий о тех двусмысленных подробностях, какие можно ожидать от самой исповеди: «Он упал на колени и посмотрел на меня, и взгляд его, казалось, говорил: «Неверная! Неверная!» Я хотела крикнуть: «Нет! Нет!», но хотя губы мои шевелились, я не в силах была произнести ни слова». Самый рассказ начинается — как начинаются и все другие, — следующим криком страдающей души: «Только вчера я была женой и матерью... У меня был хорошенький маленький домик, увитый виноградом, двое самых прелестных детей, каких когда-либо посылал на землю господь бог, и нежно любящий муж. А теперь... теперь все изменилось!..»

Насчет перемены — сомнений, конечно, нет: вместо увитого виноградом домика — тюремная камера. И каждый искушенный читатель тотчас же сообразит, что женщина осуждена за убийство и это — ее печальная история. Но не думайте, что она пишет из пустой прихоти или из суетного тщеславия. Нет, ей предстоит смерть, и перед смертью ею движет последнее желание — помочь человечеству. «Я никогда не смогла бы заставить себя писать обо всем том ужасе, который я пережила, если бы не надежда, что мой кошмарный опыт, может быть, послужит предостережением другой неосторожной женщине...»

Этот великодушный мотив — показать себя во всем своем отталкивающем нравственном безобразии и тем самым предостеречь других от греха — красный нитью проходит через всю литературу исповедей. Девушка (реже — юноша) согрешила и увидала, как скверно она поступипила. Тогда, раскаявшись, она рассказывает свою историю, чтобы предостеречь других девушек. Такова схема большей части исповедей. А между всегда одинаковым началом (раскаянием) и концом (поучением) автор исповеди, не жалея никаких красок, подробнейшим образом описывает самый «черный грех», причем никогда не бывает забыт ни один «долгий пламенный поцелуй», ни одна «безумная ночь любви», ни один двусмысленный намек. Если сами грешники хоть наполовину так наслаждались, вкушая запретный плод, как они теперь смакуют рассказ о своем прегрешении, то судьба не была так жестока к ним, как они уверяют.

Вот слово в слово оглавление одного выпуска журнала «I confess» («Я сознаюсь»). Заглавие каждого рассказа сопровождается еще особым подзаголовком, — он должен убедить читателя в том, что его ждут и «страстные поцелуи» и «безумные ночи». «Д е в у ш к и, к о т о р ы е л ю б я т б о л ь ш е о д н о г о р а з а. Она не любила сына богача, но она хотела выйти за него замуж»... «Р а з б и т ы е ж и з н и. Трагедия девушки и двух мужчин, — опустошающая любовь, точно электрический ток, пронзила их жизни...» «О п е к у н е е д о ч е р и. К позорному столбу человека, надсмеявшегося над браком! А бедная мать проводила долгие томительные часы в ожидании дочери...» «О н а н е д о л ж н а л ю б и т ь е г о... Жалкая и исстрадавшаяся, она жила только теми минутами, когда они были вместе, — она и мужчина, который никогда не мог принадлежать ей!» «Е е л ю б о в ь — з а п у т а н н ы й к л у б о к. Может ли возродиться исчезнувшее чувство?» «Е с л и б т о л ь к о ж е н щ и н ы з н а л и! Сердце мужчины было для нее загадкой до тех пор, пока...» «Л е г к а я р у ч к а. История прекрасной воровки и ее борьба за то, чтобы снова стать на путь честной

жизни.» «Ее тайный брак. Весь город презирал ее, но она слепо любила его. И вот в один прекрасный день она узнала...» «Она лгала ради любви к нему...» «Если бы мне нравился мужчина, я бы во что бы то ни стало заполучила его», сказала она. А затем...» «Женщины—прочь от меня!» Одна, совсем одна, беспомощная, она осталась с мужчиной, ненавидевшим женщин...» «Поведайте мне все ваши горести». Отдел добрых советов, руководимый Нэн Уинтропп».

Еще больше правдоподобия придают исповедям иллюстрации — не рисунки, порожденные фантазией художника, а фотографии живых героев в таких трагических позах и с такими необыкновенно печальными лицами, что сочувствие читателя заранее обеспечено. Разумеется, на многих фотографиях фигурируют одни и те же физиономии, и это действует несколько расхолаживающе на читателя, который иначе целиком отдал бы им свои симпатии.

Но раз речь зашла о таком предмете, как исповедь, я должен быть правдивым до конца, и мне придется открыть секрет, до сих пор неизвестный читателям журналов Херста и Макфаддена: вся тяжесть этих ужасных преступлений и мучительного раскаяния ложится на совесть не десятков тысяч грешников, а всего только каких-нибудь нескольких сот. Эти исповеди фабрикуются наемными писаками, зарабатывающими себе на кусок хлеба. В конторах издательств Херста и Макфаддена сидят мужчины и женщины и безостановочно стучат на пишущих машинках. Человек несведущий примет их за обыкновенных журнальных работников, готовящих очередные статьи. Но посвященные знают, что все это — грешники, которые без устали каются в своих прегрешениях и еще получают за это жалованье. Вот тот невинный с виду молодой человек за ремингтоном — в эту минуту не молодой человек, а павшая женщина, рассказывающая историю своей жизни; а на прошлой неделе он был неверным мужем, двумя изменившими женами, бросившим бомбу анархистом и тремя девушками из мюзик-холла, имеющими каждая по нескольку любовников. Кроме того десятки других бумагомарателей «исповедуются» у себя дома, но по сдельной цене. Последняя категория «грешников» получает от 1 до 3 центов за слово.

Эти бесчисленные «правдивые» истории, очень грубо загримированные под «истину», приобрели сочувствие миллионов простодушных читателей. Американцы в подлинность переживаний героев исповедей верят и принимают их ближе к сердцу, чем обыкновенную беллетристику. Читатели их преимущественно девушки и женщины; они стремятся хотя бы посредством чужих страстей и второсортных любовных историй других людей обогатить отраженными переживаниями свою бесцветную, однообразную жизнь. Они совершенно искренно верят, что все эти рассказы — сущая правда, и проливают горькие слезы над судьбой их героинь. Тысячи писем от читателей с признаниями в настоящих или выдуманных преступлениях и грехах действительно получаются в конторах издательств. Но они всегда плоски, неинтересны и плохо изложены. Ни одно из тысяч, как говорили мне редакторы подобных журналов, не годится для печати. У молодого человека за пишущей машинкой всякие трагедии и жизненные драмы выходят куда как более складно, чем у самой жизни.

V. Разные журналы.

Родственен по духу «исповедям» и другой вид американской периодической литературы — «истории о жизненном успехе». Эти рассказы предназначены для рядовых деловых людей и играют ту же роль, что «исповеди»

для сентиментальных девушек и женщин, для которых весь смысл существования заключается в романтической любви. О том, как люди достигают успеха в жизни, рассказывается с увлечением и пафосом, — все с целью поднять дух читателя и окрылить его верой в собственный успех. Подобно исповедям, «истории об успехе» преподносятся читателю под видом «правдивых» рассказов. Но в противоположность первым в них все же есть хоть небольшая доля правды. Счастливцы, которые повествуют о своих успехах в жизни, существуют на самом деле и действительно занимают то положение, какое предполагается, что он или она достигли. Но рассказ о том, как им удалось добиться этого положения, повествование о самом процессе достижения «успеха» — фальсифицировано и овеяно сентиментальным духом. И это, конечно, делается с целью показать, что обладание богатством есть знамение свыше и господь бог удостаивает им лишь добродетельных и благородных людей.

Иногда эти истории написаны в виде автобиографий. Однако приобретение капитала далеко не всегда означает и приобретение хорошего литературного стиля. По большей части все эти «истории моей жизни», подписанные фамилиями известных пуговичных фабрикантов, банкиров или местных политических деятелей, дают заработок трудолюбивым «привидениям», — так называется многочисленный разряд литераторов, статьи которых подписывают те, кому по карману заплатить за них. Но чаще всего «истории об успехе» поданы как биографии или в виде интервью.

Тема — всегда одна и та же тема, любезная сердцам целых поколений американцев, исполненных радужных надежд. В самом лирическом тоне описывается, как мистер Джонс или мистер Смит начали свою карьеру с низших ступеней общественной лестницы, как их сталкивали вниз встречавшиеся им на пути бесчисленные препятствия и как они снова начинали свое восхождение и, наконец, достигали вожделенной цели и завоевывали успех. Все это представлено в таком освещении, что читатель не может не видеть прямой связи между удачами героя и теми основными добродетелями, какими он блистает, — а именно его честностью и трезвостью, трудолюбием и терпением. Таким образом герой каждой биографии может служить достойным примером молодым, начинающим жизнь людям и горьким укором старым неудачникам.

Почти все американские журналы и газеты время от времени помещают подобные биографии. Но есть целый ряд журналов — «American magazine», «Success» («Успех») и другие, — специализировавшихся только на их производстве.

Нечего и говорить, что ни в одной «истории об успехе» никогда не ставится вопрос: стоит ли всех затраченных усилий самый успех. Обладание деньгами и видное общественное положение (оно может измеряться масштабом какой-нибудь ассоциации фабрикантов костылей или провинциального клуба — это все равно) — единственные мерила успеха, достойные преклонения независимо от того, что они в дальнейшем принесут своему обладателю. «Неудачник-миллионер» — даже самое сочетание этих двух слов кажется американцу нелепым. Пусть миллионы не принесли радости богачу, пусть совесть его никогда не бывает спокойна, а больной желудок отказывается варить, пусть он несчастен, — раздумывать об этом — дело романистов или других таких же чудаков, — в глазах массы он все равно счастливец, нравится ему это или нет. Специальные журналы занимаются тем, что восхваляют подобный жизненный успех. Так, «American magazine» ежемесячно преподносит своим подписчикам целую коллекцию коротких биографий. Достаточно прочи-

тать их — и сразу становится совершенно ясно, что всякий американец, а особенно подписчик «American Magazine», — в настоящую минуту, увы, тянущий скучную лямку в конторе или на фабрике, — может достигнуть успеха в жизни. Для этого он должен только усердно работать, копить каждое пенни, слушаться своих хозяев, аккуратно ходить в церковь и верить в свою собственную решимость в нужный момент (а такой момент, конечно, непременно представится) — «захотеть и сделать».

Биографии акробатов, боксеров, начальников полиции, директоров высших учебных заведений, владельцев больших ресторанов и т. д. и т. д. фигурируют в виде неоспоримых доказательств, что Америка все еще остается страной неисчерпаемых возможностей. Героям всех этих «историй об успехе» совсем не надо быть Эдиссонами, Фордами или Рокфеллерами. Чаще всего это мужчины и женщины, незнакомые со славой, но имеющие в банке достаточно солидные текущие счета, чтобы доказать свое право на место в демократическом пантеоне успеха.

Эти журналы, естественно, самые лучшие проводники для рекламирования рецептов, «как скоро и легко разбогатеть», а в Америке таких рецептов, предназначенных для доверчивых людей, превеликое множество. Большое число всевозможных «институтов», «университетов на дому» и отдельных «профессоров» предлагает путем корреспонденции научить вас всему на свете, — начиная от дающего сказочные прибыли ремесла и кончая элегантными манерами, необходимыми в великосветском обществе. Все они находят своих самых доверчивых жертв среди читателей рассказов о том, «как я достиг успеха». Они гарантируют, что в течение 6 недель, при затрате всего лишь 15 минут в день, сделают из вас образованного человека; что за 10 легких уроков наградят вас «личным магнетизмом»; что в один прием вы овладеете новой профессией (инженера, сыщика, чревовещателя, заведующего конторой, — словом, какой только пожелаете), что «12 легких упражнений совершенно восстановят ваши физические силы». Все эти чудеса великолепно вяжутся с помещаемыми тут же в литературном отделе историями. Литературная часть и объявления — собственно лишь две стороны одной и той же медали. А вместе взятые они образуют то, что расчувствовавшиеся после обеда ораторы любят называть «движущей силой страны», — т. е. силу, направленную на производство безграничного американского оптимизма.

Здесь будет уместно сказать несколько слов о более серьезных на вид и подписанных известными именами исповедях, часто появляющихся в журналах более высокого разряда. Крупные гонорары, которые издатели платят различным знаменитостям за их интимные признания, побуждают людей искусства и литературы покинуть на время не только свои «башни из слоновой кости», но даже уют домашнего очага. Они широко раскрывают перед публикой как все тайны своей славы, так и интимные секреты семейной жизни. Популярные романисты пишут для журналов «откровенные признания» — и не о своей литературной деятельности, как естественно было бы предположить, а о том: «почему я развелся со своей женой после двадцати четырех лет счастливой супружеской жизни». Известные священнослужители пишут автобиографические признания под заглавием: «Моя большая любовь» — любовь, конечно, далеко не божественная — или «Почему я не женился». Прибавьте к этим излияниям груды всяких воспоминаний, — каждая их строчка раскрывает какой-нибудь нескромный факт из чужой жизни, — и перед вами во всей полноте то великое движение «самокритики», о котором я упоминал в начале этой статьи.

Я рассмотрел здесь в общих чертах ту литературную пищу, какую предлагают журналы массе американцев, — массе, лишь недавно ставшей грамотной и жадно набрасывающейся на всякое печатное слово. Есть, разумеется, и другие типы журналов, заслуживающие, быть может, не менее внимательного рассмотрения, но я позволю себе остановиться только не некоторых из них.

Я мог бы очень много рассказать о блестящих делах и непроходимой глупости журналов, издающихся специально для поклонников кино: тираж их достигает сотен тысяч, и занимаются они, главным образом, тем, что передают — или выдумывают — увлекательные сплетни о кинематографических звездах, об их роскошном образе жизни и любовных делах. Номер за номером «Photoplay magazine» (его тираж свыше полумиллиона) и подобные ему журналы развертывают ослепительную картину жизни прекрасных обитателей кинематографического Олимпа, жизни полной опасности и сильных ощущений. Эта картина может быть, и далека от истины, но зато отвечает тому идеалу, который создала себе публика.

Затем в мире периодической печати имеется такое своеобразное, чисто американское явление, как еженедельник «Literary Digest»; этот журнал совершенно не помещает оригинального материала. В нем просто собраны выдержки из передовых и различных других статей, всякие газетные новости и тому подобный материал, взятый изо всей периодической прессы. «Literary Digest», имеющий полтора миллиона читателей, путем выборки цитат о наиболее злободневных событиях пытается дать обзор всей жизни страны за неделю. Другими словами, в составлении этого журнала главную роль играют редакционные ножницы.

В таком же роде другой журнал «The Golden book» («Золотая книга»), тоже промышляющий товаром, полученным из вторых рук, но подвизающийся больше в области литературы, чем газетной информации. Каждый месяц «Золотая книга» перепечатывает ряд мелких рассказов, поэм и статей, уже где-то и когда-то напечатанных; тут можно найти как хорошо известных старых классиков, так и сравнительно новых, но уже забытых, американских и иностранных авторов. Редакция «Золотой книги» ставит своей целью выбрать подходящий материал из уже опубликованных литературных произведений, причем она предъявляет одно, основное требование — эти произведения должны быть незнакомы читателям. В Америке во всем и всегда хотят иметь только самое последнее и самое свежее, — поэтому нужна была немалая смелость, чтобы решиться издавать журнал, оперирующий уже появлявшимся в печати материалом. Однако тираж «Золотой книги» все растет, и литературный рынок уже наводнен другими журналами, составленными по тому же рецепту.

Один из самых последних видов периодической литературы — журналы, распространяющие изображения обнаженного человеческого тела. Одна или две статьи об «искусстве» и о «божественной красоте человеческих форм» служит прикрытием для коллекций фотографий артисток в таких соблазнительных позах и обнаженных до таких крайних пределов, до каких только дозволяет цензура. Этих так называемых «руководств по фотографическому искусству» существует около полдюжины, они выходят раз или два в месяц и по 20—25 центов за номер раскупаются, может быть, миллионом американцев.

Адам Мицкевич.

Роза Люксембург [1]).

Если бы Польша в своей литературе не могла назвать ни одного имени, кроме того поэта, столетие рождения которого она чествует 24 декабря, то и тогда она была бы вправе занять в области мировой литературы почетное место наряду с культурнейшими нациями.

Адам Мицкевич — не только величайший поэт Польши и один из величайших поэтов мира: с его именем самым тесным образом связана национальная и духовная история Польши. Имя Мицкевича означает в Польше целую эпоху.

Хотя разделы Польши и поставили страну в совершенно новые политические условия, ее духовная и культурная жизнь в течение первых десятилетий текущего столетия все-таки составляла по существу продолжение последнего периода старой дворянской республики. Дворянство остается господствующим классом, вельможи (магнаты) остаются духовными руководителями общества, барщинное земледелие остается его материальной базой. Духовная и политическая жизнь еще сосредоточивается не в городах, а в деревне, в старых дворянских поместьях.

Для польских крупных землевладельцев и магнатов в провинциях, присоединенных к России, это был период большого благополучия. Сохранилось большинство старых учреждений, — в частности, в Литве, сохранилось крепостное право; все общественные должности были заняты поляками. «Общественное мнение, — заявляет один из современников, Каетан Козмян, — высказывалось в следующем смысле: в некоторых отношениях нам теперь лучше, чем при существовании Польши; у нас, по большей части, осталось то, что нам давало отечество, но вместе с тем мы освобождены от бремени и от опасности крестьянских восстаний; без Польши мы все-таки в Польше, и мы — поляки». Дворянские усадьбы так и остались центрами духовной и литературной жизни. Магнат все еще остается меценатом искусства; само же искусство, — и в особенности литература — все еще остается отчасти роскошью, развлечением ясновельможного дилетанта со шпагой или в рясе, отчасти формой придворной службы.

Понятно, что при подобном положении дел не наблюдалось особенного увлечения национальным прошлым. Главным мотивом, характерной чертой духовной жизни было, напротив, подражание иностранцам. В особенности наполеоновская Франция была тогда тем источником, из

---

[1]) **Статья Розы Люксембург о Мицкевиче, извлечена из немецкой газеты «Лейпцигер Фольксцейтунг» от 24 декабря 1898 г. и на русском языке публикуется впервые.**

Редакция.

которого черпала свое вдохновение тогдашняя Польша. Во Франции, однако, в те времена царил напудренный, ходульный ложноклассицизм, и в Польшу был принесен бледный отзвук его, отличительными чертами которого были прилизанная, вычурная, пустопорожняя форма и полное отсутствие индивидуальности, внутреннего чувства и глубокой мысли.

Однако в лоне этого общества с первого момента назревал перелом. Проведенная в 1807 г. Наполеоном в великом княжестве Варшавском отмена крепостного права (без урегулирования барщины и отношений собственности в земледелии), введение гражданского кодекса, основание мануфактурной промышленности, переворот в сельском хозяйстве (переход к многопольной системе), новая бюрократическая система администрации, сильное повышение налогов и система фискальных монополий, — все это были элементы брожения, которые действовали в лоне общества и подготовляли почву для новых классовых боев. В то время, как магнаты, державшие в своих руках всю административную власть, и тогдашние представители капитала были верны существующему режиму, т. е. России, в массах мелкопоместного дворянства кипели оппозиционные стремления, которые, естественно, должны были принять национальный характер, ища своего идеала в прошлом. Назревало восстание 1831 г.

Одновременно с этим изменялись и условия духовной жизни. После разрушения старых жизненных форм мелкопоместное дворянство принуждено было искать новых путей. Новая бюрократическая система требовала специального образования; школа, журналистика приобретают для дворянства новое значение; в Польше возникает новый общественный слой — дворянская интеллигенция. Она занимается литературой уже не ради развлечения и не для придворной карьеры, как это делалось в кругу магнатов, а создает из литературы профессию. Сообразно различию в экономических и политических условиях и в стремлениях обоих слоев «благородного» общества идейное течение, представленное мелкодворянской интеллигенцией, носило совершенно иной характер. Если официальная литература господствующей аристократии питалась ложноклассическими мотивами Франции, то оппозиционная литература низшего дворянства апеллировала к национальным мотивам; если классическая литература прославляла настоящее, то национальная обратилась к прошлому, которое она видела в мистических красках, и нашла себе адэкватную форму и образец в немецкой романтике.

Классицизм и романтизм — таковы были перенесенные в сферу искусства противоречия, которые сталкивались в экономике и политике и вскоре после этого вылились в лязг стали и треск выстрелов в повстанческих боях. Но если на полях сражений при Грохо и на Праге победа досталась представителям господствовавшего порядка — русскому господству, — то в области духа эти силы потерпели поражение. В то время как «классики» сумели послать в бой лишь серую массу посредственностей, литературных ремесленников формы, романтизм изо дня в день вызвал к жизни из недр общества целую плеяду молодых, блестящих талантов, среди которых самым ярким огнем запылала звезда Адама Мицкевича.

Корифей и выразитель целого поколения, он был, сообразно тому направлению, которое он представлял, одновременно лириком и эпическим певцом, бардом национальной любви и тоски и в то же время объективным бытописателем национального прошлого.

Два главных произведения, которыми он создал себе нетленный памятник, — это «Поминки по усопшим» («Дзяды») и «Пан Тадеуш». Никогда, ни до того, ни после польская поэзия не говорила с такой силой чувства, глубиной ощущения, титанической отвагой духа, как в «Дзядах»,

где поэт в сознании мощи своего патриотизма вызывает на бой творца вселенной. И опять-таки никогда ни до этого, ни после старая дворянская Польша не была изображена в таких живых, сочных красках, как в поэме «Пан Тадеуш». В своей наивной скромности поэт думал создать нечто подобное поэме Гете «Герман и Доротея», которую он сначала и взял за образец. Это сравнение лишь может вызвать улыбку у осведомленного читателя, так как эпопея Гете так же мало может быть сравнена с «Паном Тадеушом», как, скажем, с «Илиадой». Напротив, произведение Мицкевича можно, без сомнения, поставить наряду с «Илиадой», хотя в нем есть нечто и от «Дон Кихота», ибо оно отражает в себе не пышущее здоровьем общество, развивающееся по восходящей линии и достигшее кульминационной точки своего развития, а напротив — общество разлагающееся, общество «погибающих». Поэтому наряду с мастерским объективизмом и классически спокойным тоном изложения мы видим здесь тонкий оттенок меланхолической иронии, сатирического и вместе с тем примиряющего юмора, словно озаряющего всю гигантскую картину розовыми лучами заходящего солнца.

Неудивительно, что выступление Мицкевича в поэзии подействовало на все польское общество как откровение. Тотчас же после его первых произведений, — в особенности после его великолепной «Оды к юности», в которой поэт с заражающим молодым энтузиазмом, в звучных, чеканных строфах зовет все свое поколение общими силами «толкнуть на новые пути заплесневелый земной шар», — он стал центром нового идейного движения, идолом, правда, только молодежи: но в руках молодежи находилось в тот момент кормило польской истории. Даже соседняя Россия находилась под таким обаянием его гения, что после его изгнания в Россию интеллигентные круги столиц носили его на руках, и он — особенно среди позднейших декабристов — приобрел себе много сердечных друзей.

Но в то время, как романтика прославляла прошлое, — действительность шла неуклонно своим путем, и этот путь все более удалялся от идеалов Мицкевича и его школы. Они поставили себе задачу, неудача которой была заранее предрешена историей. А так как реальная действительность наносила романтике все более сокрушительные удары, то последней оставалось только еще дальше бежать в мир фантазии, еще основательнее уничтожать действительность в мире фантазии. После разгрома национального движения необходимым логическим шагом от романтизма был мистицизм. Мицкевич, как и некоторые другие из его собратьев по Аполлону, кончил свой поэтический путь в пристани бесплодного, бестелесного религиозного мистицизма. Это было логическим исходом данного идейного направления, но вместе с тем и банкротством романтической поэзии как таковой. Вскоре после поражения восстания соловей польского национализма замолк, и приблизительно в течение двадцати последних лет своей жизни (он умер в 1855 г.) Мицкевич в области поэзии не дал уже ничего. «Пан Тадеуш» остался его последним доведенным до конца произведением.

Эта поэма была в то же время последним крупным памятником польского национализма. После второго разгрома (1863—1864 гг.) в Польше совершился переворот в области всей общественной жизни, вступлением к которому послужили упадок натурального хозяйства и появление крупной промышленности. Словно по мановению волшебного жезла, вся внутренняя и внешняя жизнь Польши изменилась до неузнаваемости. Польша настоящего имеет мало общего с той Польшей, в которой писал Мицкевич, и тем более — с той, которую он воспевал, — так же мало

общего, как и со всякой другой страной. Деревня, зеленые леса и луга, представлявшие собой «железный фонд» романтической поэзии, дворянство, доставлявшее ей действующих лиц, отошли на задний план. Современная Польша является буржуазной Польшей крупных городов. А сегодняшнее празднество открытия памятника Мицкевичу в Варшаве — памятника, воздвигнутого с «высочайшего» и «всемилостивейшего» разрешения «самодержца всероссийского» историческим могильщиком польского национализма — польской буржуазией — в промышленной, денационализированной Варшаве, должно наглядно показать всему миру, что для официального польского общества, для буржуазии, дворянства, массы мелкой буржуазии — национализм стал окончательно романтикой, политика, стремящаяся к независимой Польше, — поэзией. В Вильне, где вырос, где пел и действовал Мицкевич, — стоит статуя Муравьева; в Варшаве, где русский царь только что был принят на коленях и чествуем польским обществом, — статуя Мицкевича. «Так кончил последний поэт национализма»... — вот какой эпилог, перефразирующий рефрен Мицкевича, прибавляет история к двенадцати книгам «Пана Тадеуша».

В современной Польше, где немецко-еврейско-польская буржуазия представляет собой самый интернациональный и антинациональный тип класса капиталистов, где аристократия отчасти обуржуазилась, отчасти опустилась на ступень умственного варварства, где мелкое дворянство отчасти превратилось в городскую мелкую буржуазию, отчасти обмужичилось, где крестьянство сведено на ступень, лежащую ниже культурного уровня, — *сознательный промышленный пролетариат* представляет собой тот единственный социальный слой, который заинтересован и способен стать на страже того, что было *культурным* завоеванием политически обанкротившегося национализма. Среди польских социалистов вошло в обычай извлекать из произведений Мицкевича во что бы то ни стало доказательства его *социалистических* взглядов. Мы считаем эти попытки бесцельными и бесплодными. Ведь тот оттенок утопического социализма, который проявлялся у Мицкевича, был связан с тем роковым периодом его жизни, когда гений поэта уже был омрачен туманами религиозного мистицизма.

Сознательный пролетариат, по нашему мнению, дозрел духовно до того, чтобы любить и почитать великого поэта за его поэтический гений, и не нуждается в том, чтобы его подкупали неясными, мистическо-утопическими социальными воззрениями периода упадка Мицкевича как поэта. Класс, стремящийся обновить мир, такого тесного горизонта иметь не может. Правда, Мицкевич и в самый блестящий период своего творчества был искренним *демократом*, как это и соответствовало всей идеологии первого восстания; но представителем или предвестником современного рабочего класса он не был и быть не мог. Он был последним и величайшим певцом *дворянского национализма*, но как таковой вместе с тем и величайшим носителем и представителем польской национальной культуры. И как *таковой* он принадлежит теперь польскому рабочему классу, как таковой он делается его достоянием, только ему он и принадлежит по праву — как величайшее духовное наследие бывшей Польши. В Германии сознательный пролетариат является, по выражению Маркса, наследником классической философии. В Польше, вследствие другого стечения исторических обстоятельств, он является наследником романтической поэзии, а следовательно — и ее величайшего корифея, Адама Мицкевича.

ВОИНСТВУЮЩИЙ ХУДОЖНИК

Михаил Кольцов (Собрание сочинений: «Крупная дичь», «Поразительные встречи»).

В основе кольцовского фельетона — советская реальность. В сущности каждый его фельетон — показатель советской температуры, то выше, то ниже нуля. И это не только в союзном масштабе — этому посвящен сборник «Крупная дичь», — но и в международном: второй сборник «Поразительные встречи» — картины преимущественно заграничного быта — и все в том или другом отношении к Советскому Союзу (см. фельетон «Две силы»). Пробегая не одну сотню фельетонов, видишь весь советский мир последних лет во внутреннем и внешнем окружении. Ллойд-Джордж, «Пуанкаре—война», «бывшие люди»: Штюрмер, Струве; советские «деятели»: индивидуально — Борискин, Старков и «о. Братановский» и коллективно — «владимирцы», «ржевцы» и т. д. — целый калейдоскоп образов современности из разных областей — политики, быта, нравов, понятий, — всякая житейская «дичь» и «встречи» — объект писаний Кольцова. Итак, живой реальный факт — отправной пункт кольцовского фельетона, то как случайная встреча («Одесский гранит»), то как письмо в редакцию («Паспорт как таковой»), то как злободневный вопиющий факт («Педагогия»), то как материал острых наблюдений и неугомонной стремительности в его поисках («Стачка в тумане»), — вот что питает перо Кольцова. Учет реальности, постоянное ее взвешиванье, оценка сквозь призму живых фактов. В этом смысле Кольцов — хороший ленинский ученик, каким и должен быть всякий пытливый, внимательный и чуткий журналист. Без этой реальной основы в факте, в живой звучащей, порою в вопиющей действительности — нет журналиста как агента жизни, общественно ценного.

Материал кольцовского фельетона — факт особенный, типологически взятый. И художник в своем распоряжении имеет факты, но у журналиста в них дана широко взятая действительность. Это как бы ее сгусток, обобщение. Через них Кольцов смотрит на окружающий мир; в них — окраска жизни, ее живая физиономия. «Таблица умножения», изданная украинским издательством, превратилась в общий вопрос об «одесском граните науки», ленская фильма стала «кинококки», «услуги медведем» — в «медвежьи услуги», и судья стал достойным «председателем главного суда». Во втором томе еще больше таких картин-обобщений, синтетических зарисовок действительности. Вот это и есть самое важное — найти в факте не личное, частное, мелкое, а общее, основное, чем живет вокруг жизнь; приблизиться через это к научной точности — вот это и есть та «правда», которая в особенности нужна для оценки жизни. В этом — смысл названия «Крупная дичь». Сами по себе факты и люди, в них участвующие, мелки и ничтожны, но все это становится совсем иным в типологическом образе, в обобщенной действительности.

Соответственно этому Кольцов старается как можно богаче наполнить изображаемый факт живой реальностью. В сущности он лишь только остов, внешнее топографическое или персональное приурочение. Главное — что насыщает факт, образом какого бытия он служит, чье количество преобразует в качество. В этом и есть богатство типологической действительности, схваченной разносторонней наблюдательностью автора.

Вот, например, облик «строителей» социализма: «Черный двубортный сюртук

с красным кантом, на красной подкладке, высокий красный воротник с вышитыми на нем молотом и серпом. Пуговицы и лоб — медные. На пуговицах — тоже советская эмблема, а на лбу надпись: «Просят не мешать» («У - авторитеты»).

Или: «Но одно дело лес из деревьев, а другое дело — густой дремучий лес канцелярий, где на каждом шагу за письменными столами вразвалку сидят матерые волки в пиджаках. Пьют эти волки чай с лимоном, властно рычат в телефоны и щелкают зубами на случайного робкого посетителя. Если забредет к ним человек невзначай в глухую позднюю пору, после четырех часов дня, тогда и совсем загрызть могут» («Скушная история»).

Или картина обывательского быта: «В маленькой камере трудовой сессии было душно. Пахло дешевым табаком, потом и прочими нормальными испарениями трудовых организмов нашей переходной эпохи. Хмуро гудели, рассказывая друг другу разные беды, сокращенные лудильщики, члены завкомов, обсчитанные и рассчитанные уборщицы, лишенные выходного пособия железобетонщики, обманутые подрядчиками маляры» («Труженик в двенадцать сил»).

С неменьшей чуткостью и тонкостью развертываются типологические картины западной жизни. Вот яркий образ жизни: «Тсс! Офицер идет». Пан Пилсудский едва подошел к Неману... выкупаться, как «генералы свиты хмуро поправляют пальцами воротники и одергиваются. В чем дело? Пожалуйста! Они всегда готовы. Ведь не за ними остановка. В это же самое время на всех концах Польши все прочие генералы, полковники, капитаны, поручики тоже одергиваются, тоже воинственно поправляют воротники. Они все готовы, ведь не за ними остановка» («А дело в том, что по ту сторону Немана — Литва»).

Хорош также в мелких подробностях образ «победителей», свергнувших рабочее правительство в Англии...

Итак, опора на факт, но лишь на такой, сквозь который видны миллионы таких же фактов, вся вглубь и вширь взятая типологическая действительность, — такова первооснова литературного мастерства Кольцова. В этом его поучительное руководство — уметь видеть вокруг себя и в широком кругозоре стягивать, сцеплять, в типологическом образе представлять жизненные явления.

Этому помогает новая черта рисунка Кольцова — его эмоционально-социологическая устремленность. Не внешне бесстрастрастное или обывательски личное открывают нам фельетоны Кольцова. Действительность в них дана эмоционально приподнятой, всегда определенно окрашенной, направленной к утверждению советского строя и порядков. Все фельетоны Кольцова, можно сказать, кипят. Самые холодные, с виду объективные, с эпическими описаниями скрывают под собою поток одушевления, эмоциональной силы, которая прорывается, наконец, чаще всего в конце, ярким каскадом.

Приведем несколько примеров: «Чебоксарцы, протестуйте! Кологривцы, не давайте себя в обиду! Краснококшайцы, подымите перчатку! Довольно разговоров о провинциальной пошлости и мещанстве. Это добро есть повсюду» («Стоматология»). «Нам кажется, ударить товарища Старкова надо сильнее, и не только по левой ноге. По партбилету надо ударить!» («Левая нога»). «Убийцы! Перестаньте в упоении считать тысячи мертвецов перед вашими пушками. Начните считать сотни миллионов живых, гневно подымающихся на пролитой крови. Задумайтесь и над этими числами! Ассистенты Колчеданова льстиво хихикали, а над притихшим классом шелестела смерть» («Таланты пропадают»).

Журналистику часто сравнивают с ораторским искусством. Сила последнего — в убедительности, в воздействии на массы, во власти над слушателем. Нечто подобное в журнальной деятельности, в которой фельетон — довольно видная ораторская трибуна. Его задача — призывать, убеждать, объяснять, будить, толкать... Не то же ли делают фельетоны Кольцова?

Образом их работы может служить следующий отрывок из фельетона «Полный ход»: «Какими таранами надо расшибить эти твердыни? (Речь идет об Англии.) Таранам — время не пришло. Но сверлами буравят непрестанно, настойчиво рабочий класс и коммунистическая партия Англии недвижные силы темницы».

Ясно, фельетон тогда хорош, когда в нем каждая строка буравит жизнь.

Но сказанное — пока все в области содержания и разных тематических задач. От всего этого неотделима форма выражения. У Кольцова она имеет вид миниатюры. Это преимущественный жанр автора, быть может как газетного работника. Даже довольно большие его статьи, вроде «Стачка в тумане», «Полный ход», легко распадаются на ряд отдельных миниатюр. Факт дается в сжатом, законченном, цельном виде. И в этом есть своя поучительность, — как не надо разбрасываться, как нужно извлекать из факта все, что можно. Фельетоны Кольцова — это как бы простейшие единицы письма с очень определенным заданием. Но это все количественная сторона. Качественно фельетоны Кольцова — выдержанный литературный жанр. Новелла. Они напоминают чеховские рассказы. Какие же черты кольцовской новеллы? Во-первых, тонкость, оригинальность литературного изображения. Фельетон «Времена меняются» сделан под Гоголя, «Скучная история» — в виде дневника, «В окопах у Пскова» — в виде оперативной сводки, «Миропольский правопорядок» — в виде сценария кинофильмы. Оригинальны и заглавия: «Лопни», «Про белого бычка», «Уважают, черти», «Красивая смерть и десять червонцев». Фельетон непременно должен быть подан как-то интересно, оригинально. Во-вторых, фельетоны Кольцова всегда проникнуты тонкой иронией, скрытым или явным юмором. То это легкая шутка вроде «Даешь тюрьму», то горькая усмешка: «Отойдем в сторонку: человеку тяжело. Автор плачет. И семьдесят тысяч — тоже» («Кинококки»), то бичующая сатира («Ученый лакей» — Питирим Сорокин). В-третьих, фельетон в кольцовском рисунке всегда имеет долю анекдота. Его ударность — в вопиющем факте, злободневность которого и острота сами по себе привлекают, как интрига в пьесе:

«...Вам не смешно?

«— Н-нет... Это правда?

«— Правда, хотя похоже на анекдот. Надо надеяться, что разве теперь, после того как союзная РКИ выудила эту историю, все это отойдет к числу старых анекдотов» («Разговор о рыбе»).

И много фактов, похожих на анекдоты, разбросаны по фельетонам Кольцова. Возьмете ли случай с «Одесским гранитом» или «Вечер черной кошки», «Густой быт» или педагога Босина.

В-четвертых, характерна композиционная манера Кольцова в обработке фельетона—это взаимоотношение факта и его типологического окружения. Обычно фельетон начинается с общего рисунка, в рамку которого вставляется автором интересующий факт. Получается как бы род силлогизма: общее, частное и заключительный вывод, итог.

Все это лишь самые общие черты кольцовской новеллы; в отдельных случаях можно отметить свои характерные подробности.

Остается сказать еще о словесном одеянии фельетонов Кольцова. Его литературная деятельность (и в этом отношении в особенности) была предметом специального рассмотрения в сборнике «Мастера современной литературы». Читателя, интересующегося стилистическими приемами Кольцова, можно направить к помещенным в сборнике статьям. В данном же случае для нас интересен более общий вопрос: какой поучительный урок дает богатый стилистический мир Кольцова? Этот урок— свободы стилевого выражения. Искусство фельетона требует легкого, непринужденного, живого слова. Перо Кольцова словно какая мастерская игра не знает никаких затруднений. Он владеет самыми разнообразными жанрами речи — от отвлеченной деловой научности до вульгарной обывательщины. Эта свобода речи позволяет Кольцову часто такое, что могло бы быть неуместным в других случаях. При случае он может выдумать, сочинить свое словцо:

«А мы, молодые, разбитные, энергичные боевые революционные бодрячки» («Страна должна их знать».)

«Многие убеждены, что деревнино дело только слушать» («Весьма срочно»).

«В двадцать минут английская артиллерия растерла в порошок две тысячи худущих, грязнющих китайцев» («Кровать в клетке»).

Он может при случае играть, словно щеголяя, словами: «С каждой минутой нарастала в них возмущенная радость, радостное возмущение против тех клеветников»... и т. д. «Трафальгарский сквер... масштабами цоколей у памятников Нельсону и Гордону, сфинксовой надменностью стальных львов в два человеческих роста говорит о безнадежном спокойствии, спокойной безнадежности» («Полный ход»).

Он может создать самые изысканные оригинальные обороты речи. Пример их можно найти в любом фельетоне.

Но вся эта свобода, легкость и непринужденность речи покоятся на одном прочном основании. Это основание — чуткость к слову. Без этого регулятора, без этой опоры в законах русской речи вряд ли возможно это свободное владенье, распоряженье словом.

А. М. Смирнов-Кутаческий.

Ю. Либединский, Поворот, роман, книга 1-я, М. — Л., «Московский рабочий», 1929, стр. 230, ц. 1 р. 75 к.

Роман Либединского «Поворот» еще только начинается, и надо говорить лишь о самых общих линиях, намечающихся в развитии вещи. Здесь прежде всего возникает одна характерная проблема. Новый роман Либединского является произведением, пассивность, созерцательность, своеобразная инертность которого подчеркнуты. Кажется, это и есть первое качество начинающегося «Поворота».

Уже первая глава романа, дающая экспозицию одной из основных фигур вещи — коммуниста Зевелева, ставит нас перед очень характерным взаимодействием: Зевелев получает справку в секретариате Ленина, Зевелев покупает пару белья на толкучке, Зевелев моется в бане, — все эти явления рассматриваются художником в очень своеобразном аспекте. Ничто здесь не достигается просто, — каждый поступок, даже обычнейший, сопряжен с преодолением тормозящих препятствий. Можно сказать, что и покупку белья герой осмысливает как мировую проблему. Перед нами обстановка какой-то странной размагниченности, все здесь тяготеет к внутренней замкнутости, все окрашено нездоровой рефлексией. К кропотливому рассуждательству художник возвращается крайне настойчиво, что и делает его вещь чрезвычайно инертной. В этой своеобразной дезактивизации произведения автор видит некий значительный смысл. Это превращается в цель повествования.

Ну хорошо бы, один Зевелев был таким вот рассуждателем, такой студенистой, разъедаемой внутренними противоречиями индивидуальностью, — можно было бы думать, что художник строит этот образ как негативный, что он стремится оттолкнуться от него, раскрывает этот образ только затем, чтобы обратиться к каким-то иным взаимодействиям. Но не так обстоит дело, — и Зевелев, своеобразная зевелевщина, оказывается основной почвой романа.

Вот Ольга, томящаяся «бездумной и уверенной тоской». Вот Шорохов, любящий раздумывать, рисуя мудреные завитушки на деловых докладах, — всегда «поднималась в нем тревога». Вот Калинский и Варвара Косихина, — под внешней оболочкой «общественных» людей тлеют в них следы «индивидуальной» драмы, и люди эти оказываются болезненно раздвоенными.

Вот замечательная характеристика рабочего собрания, как видим, вполне принадлежащая ряду представлений, с которыми имеет дело художник: «Эти лица спокойные и как будто сонные, невнимательные к тому, что говорит оратор, и точно прислушивающиеся к самим себе». Все складывается в достаточно цельный и тесный комплекс. Генеральная линия вещи намечается с отчетливой полнотой.

Вот Вихров, тоже тоскующий, в нем раздвоенность даже обнажена [1], — чело-

[1] «Сам он издавна разделил себя на две части: в одной были мысли и чувства, достойные совершеннейшего человека — коммуниста, с другой — все остальное, и между этими двумя половинками своего существа Вихров разжигал постоянную борьбу, то оправдывая себя, то мучась и порицая, то торжествуя» (стр. 100).

век этот является наиболее развернутым выражением пассивистской, рассуждательской стихии «Поворота». И к этому центру тяготеют все действующие лица романа. Вот Епифанов, тревожащийся бесконечно, вот «теряющийся» Румянцев, — положительно это довлеет над всеми, и ни один из образов романа не свободен от воздействия липкой рассуждательской психологии. В романе много внимания уделено изображению рабочего митинга, и характерно, что кульминация этого эпизода дана как картина массового психоза. «Что это происходит со всеми? Что этот странный, возбуждающий жалость, малопонятный человек делает со всеми нами», думал тревожно Румянцев, оглядывая собрание и замечая те непроизвольные движения лиц, которые свойственны людям, когда они, поглощенные чем-либо, забывают о себе» (стр. 147).

Итак, новый роман Либединского начинается очень характерной демонстрацией: тяготение к инертному, углубленно-созерцательному психологизму здесь очевидно. Это проявляется не только в характере образов романа, но и во всех слагаемых повествованиях. Рассказ течет с несколько сонной медлительностью, он влечется едва-едва; очень показательно здесь употребление периодов (было бы нетрудно вскрыть связь этого со всем направлением романа), целеустремленность произведения вуалируется, изображение перестает быть активным, превращаясь в замкнутую, инертную систему.

Автор вводит в действие ряд фигур, хотя и понятых в той же рассуждательско-психологической перспективе, как и все действующие лица романа, но сделанных с плакатной резкостью, с грубоватой прямолинейностью. Теляковский, меньшевик-рабочий, здесь особенно характерен, — проекция взята та же, как и для Вихрова или Румянцева: перед нами человек рефлексирующий, но рядом с этим стоит плакатная схематичность. Это делает Теляковского более активным, как бы нейтрализует в нем элементы созерцательного психологизма, но зато это — фигура плакатная. Еще более плакатными являются Азриэль и Мерц, тоже меньшевики. Здесь намечается характерная противоречивость вещи: образы, интерпретация которых дана углубленно, все сплошь окрашены пассивностью, инертностью. В образах же, которые менее заражены этой инертностью, проявляется плакатная упрощенность изображения.

Куда, к какому завершению, к каким итогам влечется этот роман, говорить еще рано. Но кажется, что далеко уклониться от своего начала «Поворот» не может. Мы получим лишь новые свидетельства, новые факты того же ряда, с которым мы имеем дело в первой части романа. Тогда можно будет подвести окончательный итог и поставить со всей полнотой вопрос о социальной детерминированности произведения.

Федор Иванов.

***Я. Шведов*, Ю р - б а з а р, роман**, изд-во «Московский рабочий» (Российская ассоциация пролетарских писателей), «Новинки пролетарской литературы», 1929, стр. 208, ц. 1 р. 25 к.

Юр-базар — это окраина Москвы, где ютятся мещане, кустари, рабочие-металлисты и воры с проститутками. В ряде образов персонифицируя эти слои обитателей Юр-базара, Шведов не развивает эти ряды параллельно, — начав линию этих образов он развивает их до пункта пересечения типологических рядов. Этот пункт — Юр-базар. Шведов стягивает ряды образов-характеров к образу-объекту, к широко развернутому изображению рабочей окраины. Его герои живут в романе лишь как обитатели Юр-базара, их связь с последним — основная причинность их художественного бытия; разрыв с Юр-базаром равносилен их выпадению из романа. В центре романа не жизнь отдельных лиц, хотя Шведов и пытается связать биографические концы и начала своих героев, — внимание художника устремлено на жизнь некоего единства людей и вещей. Но это единство — не необходимое, коллектив Юр-базара есть чисто механическое соединение различных групп людей и укладов; этому механическому единству в романе противостоит единство классовое и экономическое — завод. Юр-базар — мещанский, люмпен-пролетарский, вонючий и грязный, пьяный и разгульный — неизбежно должен рас-

сыпаться, ибо его захлестнула эпоха революции. Пролетарский писатель Шведов не закрепляет неподвижного бытия Юрбазара, он упорен в своем разоблачении «романтики» московских тихих переулков и тупичков, он видит в них, как и в Юрбазаре, прежде всего препятствие на пути к новым формам жизни. Вполне закономерен поэтому финал романа: рабочие покидают свои лачуги, поселяются в новых домах, ветхие домишки сносятся, на месте Юр-базара раскидывается сквер, а в последнем прибежище былых обитателей Юрбазара — каменушке — доживают свой недолгий век религиозная ханжа, бывший вор, проститутка и босяк.

Беря старую тему, Шведов дает ей новое и верное разрешение. Обратившись от стихов к прозе, он показывает, что возможности роста у него есть, что в советской литературе у него есть свое, хотя и не очень широкое, но зато своеобразное, место.

С. Намов.

Дмитрий Четвериков. Солнечные рассказы, изд. «Прибой», Ленинград, стр. 295, тир. 4 000 экз., ц. 2 р. 25 к.

Дмитрий Четвериков очень любит брать слово по личному вопросу. В лирических отступлениях, которые в обильном числе введены в рассказы, он выступает обвинителем современной литературы: «В то время как умные писатели в круглых роговых очках выдумывают у себя за письменными столами положительного героя и выписывали, как пряничных дел мастера, сусального рабочего и ходульного коммуниста, — румяная рабфаковка Нюрка, хорошая, здоровая поросль, бегает с лекции на заседание. Таково наше предубеждение, что мы положительного героя представляем или в терновом венце или болеющего падучей» (стр. 251, разрядка везде моя. *В. К.*). Читатель вправе ожидать — наконец-то это проклятое предубеждение будет стерто с лица земли, Дм. Четвериков покажет «здорового, дельного, работящего человека, с непосредственностью дикаря, действенностью американца, мудростью монгола, доверчивостью славянина»; даст такие произведения, которые нельзя будет перелистать «в вагоне на второй полке, между станцией, на которой ел отбивные котлеты, и станцией, на которой пил кофе».

Есть поговорка, ставшая по вине Гоголя бессмертной: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», — она стопроцентно покрывает прокурорскую речь Четверикова. Почти все «Солнечные рассказы» (исключая рассказы «Хорошая жизнь» и «Человек») — вагонное чтиво, их нельзя читать, можно перелистывать. Вот историйка крымской любви («Солнце виновато»): «голос рассудка, видимо, не выдерживает солнечного жара», они месяц курортной жизни наслаждаются любовью... богов и разъезжаются — через неделю ничего не остается, кроме «приятных воспоминаний» о физиологической близости. «Старинная сказка, но вечно останется» пошлой она! Пикантное признание из «собственных» женских уст в рассказе «Национализация женщин»: спасающая от большевиков «девичество», девушка рассудительно отдается кондуктору поезда и через несколько дней попадает в город к красным для того, чтобы там убедиться в анекдотизме «национализации». Конечно, трудно ожидать, что героями адюльтерных историй Четверикова окажутся его гипотетические «здоровые, дельные, работящие люди». При ближайшем рассмотрении животно-разнузданное выражение их лица достаточно ярко иллюстрирует мещанскую сущность.

В рассказах «Хорошая жизнь» и «Человек», хотя они и не предназначены для вагонного чтения, — увы! — опять нет обещанного «здорового, работящего человека». Напрашивается вывод (особенно, если вспомнить другие книги Четверикова — «Любань», сборник рассказов, «Матлет» и др.) о банкротстве автора. Банкротство будет вполне понятно, если взять на учет такую характеристику гражданской войны, которая мелькает на стр. 67: «в годы Великого дележа крох» (так говорит Четвериков, а не его герой), если понять социальную природу следующих образов: «сыплются лиловые широкие

лепестки (мака! *В. К.*), похожие на ж е н с к и е п а н т а л о н ы»; «горячее, как примус, солнце»; «улицы теплые, как щека». Четвериков принадлежит к писателям той интеллигенции, в которой процесс крушения старых идеалов привел пока к бравированию разрушением, еще не сменившись причалом к берегам марксистского мировоззрения. Отсюда имажинизм (все позволено, — вплоть до сравнения мака с «женскими панталонами») и неудачи в показе «н о в о г о человека» современности.

Виктор Красильников.

Танисаки Сэйдзи, Г е й ш а Э й к о, перевод с японского А. Лейферта, «Прибой», 1929, стр. 219.

О переводной макулатуре писалось уже так много, что вопрос этот стал почти общим местом. Роман Танисаки Сэйдзи «Гейша Эйко», переведенный с японского А. Лейфертом, вносит в него некоторое разнообразие, которому, однако, никак не приходится радоваться: потому что, если до сих пор эта макулатура поставлялась только с Запада, то этим романом открыт для нее новый источник — японская литература.

И это вдвойне обидно и вдвойне непростительно. Обидно, что при полном, при вопиющем незнакомстве с японской литературой (всего на русский язык переведено 4 произведения новой литературы — 4 вещи из богатейшей и интереснейшей литературы целой страны!) тратятся силы и средства на издание никчемного романа, представляющего собой пустое место и в смысле художественном и для того, кто захотел бы по нем узнать что-либо о самой стране. И непростительно потому, что именно ввиду незнакомства с японской литературой выбор произведений для перевода — дело сугубо ответственное: плохой немецкий роман не дискредитирует в глазах нашего читателя всей немецкой литературы. Но десяток романов, подобных «Гейше Эйко», пожалуй, способны «отшибить» от литературы японской, а разрушать предубеждение будет неизмеримо трудней, чем попросту его не создавать.

«Гейша Эйко» (кстати сказать, по-японски роман носит название «Огонь любви»)— произведение третьеразрядного писателя Сэйдзи (имя) Танисаки (фамилия) — пережевывает трафаретный для японской литературы сюжет о гейше, которая сходится с женатым человеком и страдает от ревности к его жене. И как пережевывает! «Психология» такого рода: «Правду говоря, до сих пор она сама не могла хорошо разобраться в своих чувствах к ним обоим. Когда она встречалась с Кигурэ, ей казалось, что любит его. Когда была с Кийоми, казалось, что любит Кийоми. Иногда же напротив, при встрече с Кигурэ думала о Кийоми, а когда сидела с Кийоми, тосковала по Кигурэ» (стр. 21); или: «Ты не любишь меня так, как любит Кийоми. Я хочу бросить его только потому, что сама тебя люблю. Право же, он меня сильнее любит» (стр. 25). Образы: «Из их шутливой любви разгорелась, как пламя, пылкая страсть, сильная, как буря» (стр. 13); «как летняя бабочка, которая любит огонь, прилетел он теперь к Эйко, забыв обо всем на свете» (стр. 122). Нудно развитие действия до 112-й страницы (а всего страниц 219), когда героиня заболевает на почве ревности манией преследования, на чем собственно следовало бы закончить роман, потому что дальше не последует решительно ничего нового. И, наконец, слезы — обильные, нескончаемые, «тихие», «жгучие», «безумные» и всякие иные, которые обильно орошают все страницы романа...

И в довершение всего — опять гейша! Гейша, — кажется, единственное, что знает о Японии каждый обыватель, гейша, фигура, которая поистине приняла какие-то гиперболические размеры и заслоняет от наших глаз всю Японию. На этот истасканный в японской литературе сюжет следовало бы наложить veto: ни одного перевода романа о гейше! П о т о м у ч т о н а д о ж е, н а к о н е ц, в о с с т а н о в и т ь п р а в и л ь н у ю п е р с п е к т и в у, п е р е с т а т ь в о с п р и н и м а т ь Я п о н и ю к а к с п л о ш н у ю И о с и в а р у, о т р е ш и т ь с я о т в е ч н ы х п о и с к о в э к з о т и к и, п о к а з а т ь в с е м н о г о о б р а з и е е е с о ц и а л ь н о й и п о л и т и ч е с к о й ж и з н и и в с е р ь е з п о з н а к о м и т ь с п е с т р о т о й е е б ы т а.

Но если уж неизбежно переводить такие романы — к сожалению, всегда найдется достаточно падких на такие сюжеты читателей, — то по крайней мере надо давать их в правильном освещении. Вероятно, безнадежное дело исправлять десятилетиями укоренившуюся ошибку в словоупотреблении, — ошибку, заключающуюся в том, что слово «гейша» понимается у нас исключительно как «проститутка», тогда как «гейша» значит только артистка, проститутки же именуются по-японски совсем иначе. Но следует всячески рассеивать ложное представление, распространяемое, главным образом, досужими туристами, о каком-то исключительном отношении к проституции в Японии и чуть ли не о священном положении «гейши». Непростительно, что предисловие к рецензируемому роману усиливает это нелепое заблуждение, уверяя, что японцы смотрят на проститутку как на «жрицу древних богов». Хотя в отношении к проституции в Японии нет того ханжества, которое процветает на Западе, и эта профессия не кладет на женщину несмываемого пятна, тем не менее проституция как таковая считается в Японии и позорным и тяжелым занятием. Все это элементарные истины, но как их не повторять, когда нас серьезно хотят уверить, что Япония — такая диковинная страна, где, например, европейские посетители чайных домиков, беспутные моряки и туристы... явились «провозвестниками европейской единобрачной семьи» (предисловие, стр. 6). Неудивительно, что у автора предисловия нехватило духу подписать под ним свое имя!

Н. Фельдман.

Г. Рыклин, С подлинным верно, Госиздат, Ленинград — Москва, 1929, стр. 266, ц. 1 р. 90 к., тир. 3 000.

Книга представляет собою сборник фельетонов на самые разнообразные темы дня, написанные автором главным образом за 1927—1928 гг. Фельетоны скомпанованы по признаку однородности трактуемых вопросов и фактов.

Первая группа рассказов посвящена безымянным героям 1921 г., которые вынесли на своих плечах борьбу с контрреволюцией на самом опасном и трудном участке пролетарской диктатуры.

Не развертывая сложного сюжетного строения, не пытаясь изобразить законченные характеры, автор максимально скупо, почти в оголенных схемах, показывает то основное и важнейшее, что бросает свет на изображаемое и является импульсом для творческого дополнения образов и событий самим читателем.

Под пером автора простое и будничное возвышается до необыденного и героического, а героическое и исключительное кажется простым и естественным в жизни и борьбе пролетария-революционера.

Группа фельетонов, об'единенных под общими названиями «Шиворот-навыворот» и «Делишки и людишки», не всегда с одинаковой художественной силой и блеском остроумия бичует уродливые явления быта, политики, искусства и т. д., но автор иногда сумеет мелочь довести до принципиальной высоты серьезного вопроса и тем самым ставит свои фельетоны в общий ряд с более высокими жанрами художественной литературы.

Группа фельетонов «Дунька в Европе» — острая и злая сатира на белоэмигрантов; однако временами блеск злой карикатуры ослабевает, и автор больше чем следует отягощает свои фельетоны дидактическими выводами.

В pendant к последней группе фельетонов — группа «За пограничным столбом» зло осмеивает дикие сплетни и обывательские рассуждения иностранцев о том, что делается в СССР.

Написанные на быстротекущую злобу дня, фельетоны Г. Рыклина потеряли свежесть и остроту в сборнике.

Стремление издателя сделать из разнообразных по тематике фельетонов нечто органически цельное в сущности не достигло полного успеха.

Едва ли найдется такой читатель, который смог бы сохранить до конца значительный интерес ко всем фельетонам, читая их по сборнику. Определенно выпирающая злободневность неизбежно стирает эмоциональную впечатляемость фельетонов по мере отдаления читателя от событий, которые были темами писателя.

Г. Федосеев.

Голос рабочего читателя. Современная советская художественная литература в свете массовой рабочей критики. Составили Брылов и др. Ленинград, 1929, «Красная газета», тир. 10 000, ц. 1 р. 50 к.

Изучение литературы в ее действии, в социальной функции — несомненно одна из важнейших задач марксистского литературоведения. Методологически неправильно сводить науку о литературе к исследованию генезиса произведений, к уяснению тех социальных основ, на которых выросли данные литературные явления. Это лишь часть работы литературоведа - марксиста, — часть основная, но еще не вся работа. При изучении той или иной машины нельзя ограничиться рассмотрением ее конструкции, связи входящих в нее механизмов; нужно посмотреть машину в работе. Аналогично этому и в отношении литературных явлений нужно выяснить не только их происхождение, но и их жизнь. Одно и то же художественное произведение в различных общественных группах действует поразному. Если одних оно оставляет спокойными, ничего им не дает, то у других это же произведение пользуется значительной популярностью, нередко становится своего рода знаменем (вспомним есенинщину). Только зная обе стороны литературного процесса — происхождение поэтических фактов и их жизнь, — можно иметь предпосылки для овладения этим процессом, для его регулирования. Это регулирование должно итти, с одной стороны, по линии воздействия на писателя. Исходя из познанной социальной детерминированности писателя, можно способствовать развитию его в определенном направлении. С другой стороны, чрезвычайное значение имеет и регулирование по линии связей читателя и писателя. Это и выдвигает на передний план исследование того, как воздействуют поэтические произведения на читателя.

Естественно, что наибольший интерес вызывает современный читатель и в первую очередь — читатель-рабочий.

До сих пор предпринимался ряд попыток изучения современного рабочего читателя. По большей части эти попытки не давали сколько-нибудь серьезных результатов. Обычный метод, которым пользуется большинство изучающих читателя, сводится к тому, что подсчитываются цифры, показывающие читабельность того или иного автора в библиотеке, расположенной в рабочем районе, приводятся две-три цитаты из анкеты, кое-как составленной и совершенно случайно распределенной, — и выводы готовы! С полным «знанием» автор обычно еще сообщает о том, что ждет рабочий читатель от современной литературы.

Совершенно очевидно, что такого рода импрессионистское изучение не только никому не нужно, но и просто вредно.

Выпустившие в свет книжку «Голос рабочего читателя» не ставили перед собой задачи дать исследование рабочего читателя. Они ограничились тем, что привели в известную систему отзывы читателей относительно крупных современных произведений. И тем не менее без боязни преувеличить, можно сказать, что этот сборник стоит очень многих книг и статей, посвященных рабочему читателю. Как сообщается в предисловии к сборнику, он составился из тех отзывов металлистов Ленинграда, которые печатались в библиографическом листке «Ленинградского металлиста», из отзывов кружков читательского актива, и, наконец, частично были использованы материалы вечеров рабочей критики. Отзывы читателей предваряются автобиографиями писателей и затем краткими, обобщающими эти отзывы замечаниями составителей. Большинство из писателей откликнулось на рецензии рабочих, собранные библиотеками союза металлистов, специальными письмами, которые и напечатаны в сборнике.

В рецензиях металлистов обращает на себя внимание прежде всего то исключительно острое классовое чутье, с которым актив читателей-металлистов разбирается в сложных поэтических произведениях. Неизощренные в критической мудрости читатели часто дают очень глубокие, меткие характеристики как произведения в целом, так и отдельных его

типов. Вот, например, один из отзывов о «Форде» Берзина: «когда я читал это произведение, мне казалось, что главная задача пролетарского писателя — это вызвать определенное чувство, которое побудило бы к определенному действию, и это чувство, с одной стороны, должно вызвать ненависть, а с другой — волю к победе, чувство, располагающее к борьбе, к работе. — Читая данное произведение, видишь врага пролетариата, нэпмана и никакого, хотя бы вскользь, противопоставления нэпманам здоровых сил! Читая, я получаю впечатление, что нэп, выведенный в романе, не только не вызывает ненависти, но наоборот — автор симпатизирует герою... я пришел к выводу, что у автора был непролетарский подход, когда он писал это произведение». Анализируя отзывы, соглашаешься с Бахметьевым, что «среди отзывов есть такие, которые не только не уступают, но и в некоторых отношениях превосходят толкования присяжной критики».

Уже в том сравнительно небольшом охвате современной литературы, который дан в сборнике (приведен разбор всего 14 произведений), обнаруживается очень любопытное явление. Критика почти обошла вниманием таких писателей, как Карпов, Лавренев. Рабочий же читатель единодушно принимает этих писателей. «Пятая любовь» Карпова и «Ветер» Лавренева получили у рабочего читателя очень высокую оценку. Давая высокую оценку этим произведениям, читатели исходят из четко формулированного классового критерия. Нашим критикам многому можно поучиться у рецензентов-металлистов — и, в частности, умению выбирать в громадной литературной продукции то ценное, что должно быть использовано широким кругом читателей.

Составители сборника имели в виду использование собранных ими рецензий в качестве «средства для руководства чтением» рабочих. Такую задачу сборник выполнит с успехом. Сжатые характеристики, написанные в большинстве ясным и выразительным языком, дадут начинающему читателю толчок для осмысливания определенных литературных явлений. «Голос рабочего читателя» явится очень полезным пособием в работе библиотек.

Нам хочется подчеркнуть особое значение сборника как материала для изучения социальной функции литературы. Несомненно, что никакие цифровые выкладки о том, на каком месте стоит тот или иной писатель в этой или иной библиотеке, кто его больше читает — взрослые или молодежь, — нисколько не подвинут вперед изучения литературы в ее действии. Необходимо исследование того, в каком направлении воздействуют те или иные произведения, те или иные писатели. Отзывы читателей являются в этом отношении основным материалом. Собирание рецензий читателей определенных слоев населения, опубликование их — задача, имеющая большой научный смысл и вместе с тем актуальное практическое значение. Очень важно изучение отношения современного читателя к классической литературе. Вопрос о культурном наследстве и, в частности, наследстве в области литературы — стоит и будет еще значительное время стоять на повестке дня. Правильное решение всей совокупности проблем, связанных с этим вопросом, находится в определенной зависимости от изучения характера восприятия этого литературного наследства. Сборник «Голос рабочего читателя» — одна из первых попыток показать литературные явления в их социальной функции. Он должен привлечь внимание всякого интересующегося вопросами литературы.

Необходимо отметить и недочеты сборника. Основной из них в том, что рецензии читателей даются не в цельном виде, а частями к отдельным пунктам плана, принятого составителями, например типы, язык и т. д. Это не дает возможности проследить всю сумму аргументов данного читателя; получается большая клочковатость. Кроме того и самые пункты плана не всегда удачно намечены.

М. Храпченко.

В. Чешихин-Ветринский, Глеб Иванович Успенский, биографический очерк, редакция и вводная статья П. Н. Сакулина, изд-во «Федерация», М. 1929, стр. 380, тир. 3 000, ц. 3 р. 75 к.

Книга Чешихина-Ветринского выходит через шесть лет после смерти автора.

В предисловии сказано, что книга «является первым опытом сколько-нибудь полной картины и оценки жизни и деятельности знаменитого писателя». Редактор П. Н. Сакулин уже отмечает в вводной статье, что «биографический очерк» Чешихина-Ветринского «по методу довольно старомоден: нет картины социальной и литературной жизни эпохи; книга представляет цену со стороны своего фактического содержания, опирающегося на обильный подбор первоисточников».

В основном верное замечание редактора требует некоторого уточнения. Книга Чешихина-Ветринского выросла из его статей, в свое время напечатанных в «Русской мысли». Они были задуманы как статьи чисто биографического порядка. После биографических работ Васина, Рабакина, Михайловского работа Чешихина — уже тогда — представляла значительный интерес свежестью привлеченного материала. Включенные после в книгу Чешихина-Ветринского эти чисто биографические статьи его сильно дополнены и переработаны, потому представляют несомненный интерес и научную ценность. Это относится к главам: I, V, VIII—XIII. В этой части можно лишь посетовать на отсутствие более точных указаний на местонахождение тех или иных архивных источников, которыми пользовался Чешихин-Ветринский. Указывать на отдельные пропуски тех или иных фактических сведений мало целесообразно, так как они с лихвой покрываются обилием того свежего материала, который представляется именно Чешихиным-Ветринским впервые.

Дальнейшие главы книги—XIV—XXX, затрагивающие по преимуществу вопросы литературной деятельности Успенского, — за исключением немногих страниц — появляются почти впервые.

В этих главах — слабая, а в некоторых частях неудовлетворительная сторона книги. «Старомодность» метода не особенно мешала полноте фактической части биографического очерка, но «старомодность» отомстила за себя на этой второй части книги. Отомстило за себя здесь и почти полное отсутствие учета того, что сделано за последнее время для изучения литературной деятельности Успенского.

Жаль, что П. Н. Сакулин не счел необходимым вмешаться своей редакторской «властью» в эти главы. Можно было, не посягая на «метод, концепцию и основные взгляды автора», дать в том или ином виде основные руководящие исправления.

Прежде всего старомодность метода бросается здесь в глаза механическим сцеплением глав, посвященных исключительно литературным вопросам, с главами исключительно биографического значения.

Дальше — отмеченный уже П. Н. Сакулиным дефект: полный отрыв характеристики литературного народничества от социально-экономического процесса. Странно и непонятно, как можно давать характеристику литературного народничества, да еще в 1922 г. (если взять даже дату до смерти автора), и не использовать ряд классических работ Ленина и Плеханова по народничеству! А работы эти абсолютно игнорируются Чешихиным-Ветринским. Статья Плеханова об Успенском лишь отмечена в библиографическом списке, но в тексте никакого следа ее использования нет. Не в методе тут даже дело, а в недоучете капитальных работ, прямо к теме автора относящихся (книга, например, Богучарского «Активное народничество 70-х годов» указана в списке и использована в тексте).

В значительной мере вследствие полного игнорирования социально-экономических фактов освещение литературной деятельности Успенского в целом у Чешихина-Ветринского получается неправильное. Иллюстрирую мое утверждение на нескольких узловых проблемах творчества Успенского.

Одна из крупных тем в творчестве Успенского — «больная совесть» — освещается Чешихиным-Ветринским чисто идеалистически и совершенно не так, как эта «больная совесть» представлялась самому Успенскому. Чешихину-Ветринскому представлялось, что сильные страницы Успенского на эту тему «сродни мистически безумной потребности самоистязания, потребности до конца пить свою долю из чаши общей виновности в мировом зле», здесь-де «совершенно особая психологическая форма восприятия жизни — преимущественно под знаком страдания»

(стр. 180). Объяснение идеалистическое и неверное. «Больная совесть» у Успенского всегда противопоставлялась жесткой правде и твердой совести западноевропейских буржуа. «Больной совестью» у Успенского страдает русская интеллигенция, а не крестьянин. «Больная совесть» русской интеллигенции объясняется Успенским колебанием русской интеллегенции между народным строем крестьянства, обусловленным «властью земли», и нарождающейся буржуазией. «Больная совесть» у Успенского всегда разрабатывается именно на фоне борьбы двух начал — капиталистической культуры и власти земли (рассказы «Больная совесть», «Неплательщики» и др.). Успенский прямо это так и формулировал в статье о Карле Марксе, оставшейся неизвестной Чешихину-Ветринскому.

«Мистически безумная потребность самоистязания», «особая форма восприятия жизни преимущественно под знаком страдания» самого Успенского, как это освещает Чешихин-Ветринский, есть не что иное, как действительно чрезвычайно мучительное для писателя непонимание исторического процесса капитализма на протяжении 60-х и 70-х и первой половины 80-х гг., при его основной задаче уяснить себе основы русской жизни, которые он усматривает в первобытном крестьянстве.

Здесь вторая проблема, которую Чешихин-Ветринский освещает несколько сбивчиво.

Чешихин-Ветринский неоднократно подчеркивает, что Успенский «до начала 80-х гг. вовсе не был народником» (стр. 207, 214). Ну, конечно, это неверно. Верно будет, что народничество Успенского «критическое», что он «свободен от всех программ, тезисов народничества», но Успенский в период 1878—1882 гг. делает в эпоху сильного роста промышленного капитала ставку на крестьянскую власть земли. В этом он — народник. А после 1882 г. — приблизительно с 1885 г. и до конца жизни — Успенский в полной мере осознает, что его идеалы разрушает «г. Купон», и целиком в с е последующие годы своего творчества отдает на изучение процесса капитализации страны и тем самым процессов разрушения власти земли. К тому же Успенский знакомится с «Капиталом» Карла Маркса.

Вся эта большая, интереснейшая и органическая полоса творчества Успенского — полоса действительного отхода от своего народничества — Чешихиным-Ветринским не выяснена. Это — результат игнорирования социально-экономических факторов и незнания материала. Чешихину в 1922 г. попрежнему неизвестна статья Успенского о Карле Марксе «Горький упрек» (на что указывает в примечании и редактор), он не использует чрезвычайно важные фельетоны Успенского, вошедшие в собрание сочинений, изображающие константинопольскую поездку. Чешихину-Ветринскому непонятно, что «мистические страдания» Успенского в рассказе «Квитанция» происходят потому, что «народник» занят пересмотром дорогих для него «народнических» убеждений: рассказ «Квитанция» входит в серию рассказов «Живые цифры», а эти последние являются не чем иным, как очерками, задуманными Успенским под заглавием «Власть капитала» — в противоположность своей же собственной «Власти земли».

Неизвестны и непонятны Чешихину-Ветринскому и ряд других очерков и материалы этого периода (1885—1890 гг.), использованных уже мною в моих работах об Успенском. Чешихину-Ветринскому все это можно поставить в упрек, потому что архив Успенских был ему широко открыт для пользования (если эту часть книги Чешихин-Ветринский предполагал выпустить в том виде, в каком она выпущена).

Итак, если в освещении народнической полосы творчества Успенского у Чешихина-Ветринского ошибки, то эпоха «власти капитала» освещена совершенно неверно, а отсюда, следовательно, и общее искажение всей перспективы литературной деятельности Успенского.

Последнее замечание — о библиографическом списке работ об Успенском. Он весьма подробный, хотя и неполный. Но, думается, недопустимо, чтобы книга, издающаяся в 1929 г., доводила библиографию до 1922 г.

В. Буш.

Новое начинание в области изучения читателя.

При Главполитпросвете Наркомпроса организован рядом издательств (Гиз, «Зиф», «Московский рабочий») совместно с Федерацией советских писателей и ВЦСПС Кабинет по изучению читателя художественной литературы.

Задача кабинета — выявить отношение широких читательских масс (в первую очередь — рабочего и крестьянского читателя) к художественной литературе.

Кабинет ставит своей целью сосредоточить в одном центре материал, разбросанный по разным местам; собрать новый по определенному, заранее намеченному плану; собранный материал подвергнуть систематической научной обработке и в результате получить обоснованные выводы по вопросам изучения читателя. Одна из основных задач кабинета — разработка методических вопросов в области изучения читателя.

Путем выявления читательских интересов кабинет должен содействовать работе библиотекарей, издательств, писателей, критиков, литературоведов и других работников с художественной книгой.

Кабинет не ограничивается в своей работе чисто теоретическими задачами, а стремится откликаться на наиболее важные вопросы литературной современности.

В настоящее время кабинетом предпринято единовременное обследование спроса городского и деревенского читателя по всем библотекам политпросветской и профсоюзной сети. Массовое обследование (намечены 4 000 городских и 2 000 деревенских библиотек) поможет выяснить читательские интересы различных социальных групп и таким путем получить руководящие данные как для комплектования библиотек, так и для составления издательских планов.

В дальнейшем кабинет рассчитывает периодически повторять подобные обследования и таким образом следить за изменением читательских вкусов и интересов.

Из других более крупных работ в ближайшее время кабинетом намечено провести организованное собирание отзывов рабочего читателя на ряд книг по художественной литературе. Отзывы будут собираться только о книгах спорных в отношении их оценки читателями. Для проверки выделены более или менее характерные образцы старой и новой русской и иностранной литературы. Выбраны произведения различных литературных стилей и литературных жанров. Выясняется отношение читателей не только к данному произведению в целом, но и к различным компонентам его содержания и формы.

Эта работа по собиранию отзывов будет производиться только в тех библиотеках, которые выразят свое желание принять в ней участие.

Организованное собирание отзывов по определенному плану так же, как и обследование читательского спроса, должно производиться из года в год, охватывая все новые круги читателей и новые группы книг.

В настоящее время кабинет прорабатывает среди библиотекарей пятилетний перспективный план издания классиков Гиза. После известной подготовительной работы кабинет провел обсуждение этого плана на собраниях представителей профсоюзных и политпросветских (стационарных и передвижных) библиотек г. Москвы и получил интересные данные.

В ближайшее время намечен созыв конференции московских библиотекарей, организуемый Гизом совместно с кабинетом.

Кроме перечисленных работ в кабинете в настоящее время производится анализ предисловий и комментариев к художественной книге для массового читателя, прорабатывается вопрос о связи писателя с читателем.

Путем личных бесед и переписки с иногородними писателями кабинет выясняет отношение современных писателей различных литературных группировок к вопросам изучения читателя. Ряд писателей уже откликнулся на призыв кабинета и поделился своими интересными замечаниями о связи писателя с читателем.

В план работы кабинета входит установление связи с литературными рецензентскими кружками; кроме того кабинет привлекает для своей работы матери ал рабочих диспутов, вечеров рабочей критики и в случае надобности оказывает методическую помощь в организации этих литературных вечеров. Живая связь с массовыми рабочими организациями подобного типа является одной из задач кабинета.

Попутно с собиранием нового материала производится методическая обработка уже имеющегося в кабинете материала (составляются предметный каталог, указатели, сводки-таблицы и т. д.).

Кабинет в настоящее время располагает около 7 000 отзывов (1 500 отзывов рабочих, около 4 500 — крестьян и около 1 000 — служащих и прочих социальных групп) на произведения русской и иностранной литературы (около 700 авторов). Кроме того в кабинете имеется ряд протоколов рабочих диспутов, рецензентских литературных кружков и т. д.

С материалами кабинета можно знакомиться два раза в неделю: по понедельникам от 9 ч. 30 м. до 12 ч. и по четвергам от 10 ч. до 3 ч.

Два раза в месяц по четвергам (от 1 ч. до 2 ч. дня) в кабинете дается специальная консультация библиотекарям по вопросам методики изучения читателя.

Адрес кабинета: Москва, Чистые пруды, дом 6, Главполитпросвет, комнате 360. Кабинет по изучению читателя художественной литературы.

Список книг, полученных редакцией на отзыв.

ГОСИЗДАТ.

Пильняк Б., Мать-мачеха, стр. 226, ц. 2 р. 25 к.

Труды Толстовского музея, Лев Николаевич Толстой, юбилейный сборник, редакция Гусева Н. Н., стр. 437, ц. 3 р. 75 к.

Степняк-Кравчинский С., Андрей Кожухов, роман, стр. 316, ц. 50 к.

Феддерс Г., *Цветаев В.*, Гражданская война в художественной литературе, сборник, стр. 182, ц. 1 р. 20 к.

Луначарский А. В. и Пиксанов Н. К. (редакция), Песнь о Роланде, перевод де ла Барта Ф. Г., стр. 199, ц. 90 к.

Вассерман Якоб, Золото Кахамалки, перевод с немецкого Лялина, стр. 77, ц. 20 к.

«ПРИБОЙ».

Венус Георгий, Последняя ночь Петра Герике, рассказы, стр. 231, ц. 1 р. 25 к.

Айзман Д., Земляки, рассказы, стр. 244, ц. 1 р. 40 к.

Шилин Георгий, Страшная Арват, сборник, стр. 218, ц. 1 р. 20 к.

Елпатьевский С. Я., Воспоминания за пятьдесят лет, стр. 397, ц. 3 р. 50 к.

Казаков Михаил, Полтора хама, повести и рассказы, стр. 357, ц. 2 р. 40 к., пер. 30 к.

Федин К., Рассказ об одном утре, стр. 53, ц. 20 к.

Танидзаки-Дзюнитиро, Любовь глупца, роман, стр. 288, ц. 1 р. 50 к.

Рот И., Циппер и сын, роман, перевод с немецкого Крестинской Р. А., стр. 206, ц. 1 р.

«ФЕДЕРАЦИЯ».

Лапин Борис, Повесть о стране Памир — от верховьев Пянджи к верховьям Инда, стр. 187, ц. 1 р. 10 к., пер. 30 к.

Луговской Владимир, Мускул, вторая книга стихов, стр. 119, ц. 1 р. 60 к., пер. 15 к.

Павленко Петр, Азиатские рассказы, стр. 221, ц. 1 р. 35 к., пер. 20 к.

Марков Сергей, Голубая ящерица, рассказы, стр. 123, ц. 75 к.

Бурмантов С. Б., Смерть Уара, последний царевич, исторический роман, стр. 391, ц. 2 р. 70 к., пер. 25 к.

Соколов-Микитов Иван, Повести и рассказы, Собр. соч., т. II, стр. 322, ц. 2 р., пер. 30 к.

Перегудов А., Половодье, рассказы, стр. 179, ц. 1 р. 15 к., пер. 15 к.

«ЗИФ».

Неверов Александр, Полн. собр. соч., т. I, Авдотьина жизнь, стр. 303, ц. 1 р. 75 к.

То же, т. II, Черное и белое, стр. 282, ц. 1 р. 75 к.

То же, т. III, Лицо жизни, стр. 302, ц. 1 р. 75 к.

То же, т. IV, Голод, рассказы, стр. 230, ц. 1 р. 70 к.

То же, т. VII, Гуси-лебеди, роман, стр. 247, ц. 1 р. 70 к.

Верн Жюль, Собр. соч., т. II, Гектор Сервадак, роман, стр. 328, ц. 2 р. 50 к.

То же, т. IV, Золотой вулкан, стр. 316, ц. 2 р. 25 к.

То же, т. XI, Ледяной сфинкс, стр. 303, ц. 2 р. 20 к.

То же, т. XII, Великолепное Ориноко, стр. 294, ц. 2 р. 25 к.

Яковлев Александр, Октябрь, рассказы, стр. 144, ц. 1 р.

Гладков Федор, Собр. соч., т. I, Огненный конь, повести и драмы, стр. 357, ц. 2 р. 50 к.

То же, т. II, Пьяное солнце, Кровью сердца, повести и рассказы, стр. 393, ц. 3 р. 25 к.

Новиков-Прибой А., Собр. соч., т. I, Морские рассказы, стр. 211, ц. 1 р.

Новиков Прибой А., Соб. соч., т. V, Две души, стр. 267, ц. 2 р.
То же, т. VI, Соленая купель, роман, стр. 208, ц. 1 р. 70 к.
Эренбург Илья, Полное собр. соч., т. IV, В Проточном переулке, роман, стр. 195, ц. 1 р. 35 к.
Ляшко Н., Доменная печь, роман, стр. 342, ц. 1 р.
Никулин Л., Вокруг Парижа, Воображаемые прогулки, стр. 166, ц. 1 р. 25 к.
Зощенко Мих., Над кем смеетесь, рассказы, стр. 259, ц. 1 р. 35 к.
Свирский А. И., Полн. собр. соч., т. IX, Записки босяка, рассказы, стр. 261, ц. 1 р. 80 к.
Мак-Хей-Клод, Домой в Гарлем, перевод с английского Волосова Марка, стр. 240, ц. 1 р. 50 к.
Штейгей В., Батрачка, перевод с украинского Гладуна А., стр. 45, ц. 10 к.
Золя Эмиль, Полн. собр. соч., Проступок аббата Муре, перевод с французского Пяста Вл., стр. 455, ц. 2 р. 25 к.
Бахметьев Вл., Собр. соч., т. III, Преступление Мартына, стр. 311, ц. 1 р. 95 к.
Гелсуорси Джон, Под тяжестью, драма, перевод с английского Сумароковой М., стр. 210, ц. 1 р. 25 к.
Кушнер Борис, Южное сияние (Суховей), 16 фотографий, стр. 124, ц. 1 р. 20 к.
Шишков Вячеслав, Полн. собр. соч., т. X, Ягодки и Шутейные рассказы, стр. 250, ц. 1 р. 80 к.
То же, т. XII, Пурга, стр. 263, ц. 2 р.
«Земля и Фабрика», альманах № 5.
Шулятиков В., Избранные литературно-критические статьи, ред. и прим. Гебель В., вступительная статья Совсуна В., стр. 238, ц. 2 р.
Гольдберг, Путь, не отмеченный на карте, рассказ, стр. 290, ц. 2 р. 25 к
Келлерман Бернгардт, По персидским караванным путям, стр. 173, ц. 1 р. 50 к.
Дроздов Александр, На мосту, роман, стр. 240, ц. 1 р. 80 к.
Франс Анатоль, Книга моего друга Пьера Нозьер, перевод с французского под редакцией Лившица Бенедикта, стр. 293, ц. 2 р.
Алтаев Ал., Бунтари в Сибири, роман, стр. 265, ц. 2 р.
Касаткин Иван, На барках, рассказы, стр. 40, ц. 10 к.
Вольнов Иван, В работниках, рассказы, стр. 71, ц. 15 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».

Альманах, книга вторая, Молодость, стр. 334, ц. 2 р. 75 к.
Стонов Дмитрий, Семья Раскиных, роман, стр. 276, ц. 2 р. 25 к.
Келлер Б. А. (профессор), По Швеции и Норвегии (впечатления путешественника), 31 рисунок и 1 карта, стр. 66, ц. 45 к.
Гийу Луи, Народный дом, роман, перевод с французского, стр. 118, ц. 1 р.
Бах А., Записки народовольца, предисловие Анатольева А., стр. 253, ц. 1 р. 65 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ».

Безыменский А., Удары солнца, сборник стихов, стр. 78, ц. 75 к.

«МОСК. ТОВ. ПИСАТЕЛЕЙ».

Крептюков Даниил, Пух-перо, роман, стр. 436, ц. 3 р. 50 к.
Сергеев-Ценский С., Валя, роман, стр. 257, ц. 2 р. 10 к.
Дроздов А., Укравший могилу, рассказы, стр. 179, ц. 1 р. 60 к.
Алешин Александр, Квартира номер последний, рассказы, стр. 156, ц. 1 р. 50 к.
Смирнов Николай (*Путешественник*), Изумруд севера, рассказы, стр. 278, ц. 2 р.

«ACADEMIA».

Бельчиков Н., Теория археографии, стр. 73, ц. 85 к.
Тучкова-Огарева Н. А., Воспоминания, «Памятники литературного быта», вступительная статья, ред. и прим. Переселенкова С. А., стр. 544, ц. 2 р., пер. 10 к.
Керн А. П., Воспоминания, «Памятники литературного быта», предисловие Новицкого П. И., вступительная статья, ред. и прим. Верховского Ю. Н., стр. 473, ц. 2 р. 90 к., пер. 60 к.

ИЗД. «ПОЛИТКАТОРЖАН».

Якимова-Диковская А. В., *Фроленко М. Ф.*, *Попова И. И.*, *Ракитников Н. И.*, *Леонович-Ангарский В. В.*, Труды кружка народовольцев, сборник статей и материалов, стр. 214, ц. 2 р.
Козьмин Б. Н., Революционное подполье в эпоху белого террора, стр. 191, ц. 1 р. 90 к.
Чужак Н., Идея вооруженного восстания и большевистская работа в армии (по документам и по памяти участников), стр. 129, ц. 1 р. 10 к.
Кон Ф. Я., *Плосков В.* и *Чужак Н.* (ред.), В царской тюрьме (статьи и воспоминания участников движения), стр. 221, ц. 1 р. 65 к.

Фигнер Вера, Полн. собр. соч., т. IV, Шлиссельбургские узники и Стихотворения, стр. 330, ц. 2 р. 50 к.

Кропоткин П., Записки революционера, т. I, перевод с английского Дионео, предисловие Брандеса Георга, ред. и прим. Лебедева Н. К., стр. 407, ц. 3 р.

«КРАСНАЯ ГАЗЕТА».

Степняк-Кравчинский С. М., Подпольная Россия. Приложение.

Доброхотов Ф. П., Куда ехать туристу (Справочник), стр. 104, ц. 50 к.

Ежегодник 1929 г., стр. 688, ц. 3 р. 50 к., пер. 1 р.

Берман Л., Трамвай, роман, стр. 71, ц. 35 к.

Степняк-Кравчинский С. М., Собр. соч., т. II, Домик на Волге, Сказка о копейке, Новообращенный, стр. 159 (приложение).

Мандельс Л. (д-р), Нервность и борьба с ней, стр. 39, ц. 15 к.

Дубянская М., Всей ватагой, пионерский песенник, стр. 50, ц. 50 к.

Шелавин К., Авангардные бои западноевропейского пролетариата, очерки германской революции 1918—1919 гг., стр. 292, ц. 1 р. 80 к.

Шмидт П. Ю. (профессор), Элементарная биология, книга 2-я стр. 38, ц. 40 к.

«БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ».

Большая советская энциклопедия, т. XIII стр. 806.

«ТЕАКИНОПЕЧАТЬ».

Всеволожский - Гернгросс, История русского театра, т. I, предисловие и общая редакция Луначарского А. В., стр. 576, ц. 6 р

«НЕДРА».

Гофман, Э. Т. А., Собр. соч., т. I, Серапионовы братья, роман, перевод с немецкого под редакцией Вершининой З. А., стр. 341, ц. 2 р. 50 к.

«ЖИЗНЬ И ЗНАНИЕ».

Попов А. С., Грибоедов в Персии—1818—1823 гг. (по новым документам), стр. 115, ц. 1 р. 50 к.

«АРП».

Денисенко Н., Завещание мистера Гуча, стр. 95, ц. 55 к.

ПОПРАВКА.

По техническому недосмотру в № 5 «КРАСНОЙ НОВИ» в списке книг, полученных редакцией на отзыв, книги, выпущенные издательством «Московский рабочий»: 1) Платошкин М., «В дороге», роман, стр. 384, ц. 2 р. 25 к., 2) Ставский В., «Станица», кубанские очерки, стр. 199, ц. 95 к., 3) Алтаузен Джек, «Безусый энтузиаст», поэма, стр. 80, ц. 75 к. — ошибочно отнесены к издательству «Московское товарищество писателей».

Редакц. коллегия: Вл. Васильевский. Б. Волин. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников.

Ответственный редактор: Ф. Раскольников.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4, тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

КНИГА О ЛЕРМОНТОВЕ

П. Е. ЩЕГОЛЕВ

Выпуск первый — „ПРИБОЙ". Стр. 328. Ц. 3 р. 20 к

Предисловие: Детство, отрочество и юность (1814—1832). Молодость в Петербурге (1832—1836). Стихи на смерть Пушкина и первая ссылка (1837).

Лермонтов в жизни, Лермонтов — человек и поэт, как он рисуется в представлении современников, в официальных свидетельствах и документах, на фоне подлинных исторических материалов эпохи. Восстановить этот образ в воображении современного читателя — вот задача настоящей книги.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и не является ученым исследованием, но предлагает результаты научного изучения биографических материалов о Лермонтове.

П. Щеголев. Из предисловия.



ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

В автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики

Составил Н. АШУКИН

„ФЕДЕРАЦИЯ". Стр. 403. Ц. 2 р. 50 к., в пер. 2 р. 80 к.

Книга имеет своей целью дать сводку био-библиографических материалов о Брюсове. Мозаически составленная из автобиографических записей поэта, воспоминаний его современников и отзывов современной ему критики, она является летописью его жизни, главным образом в плане литературном. Книга стремится представить облик Валерия Брюсова — поэта и литературного деятеля — таким, каким он запечатлен в памяти и в оценках его современников.

В книге многое появляется в печати впервые.

Н. Ашукин. Из предисловия.



ОСТРОВСКИЙ, А.

ТУРГЕНЕВ

В записях современников

Вступительная статья Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

ИПЛ. Стр. 14 + 447. Ц. 4 р. 15 к., в пер. 4 р. 45 к.

ОСТРОВСКИЙ, А.

МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ

В записях современников

Редакция и вступительная статья Б. М. ЭЙХЕНБАУМА

ИПЛ. Стр. 498. Ц. 3 р., в пер. 3 р. 50 к.